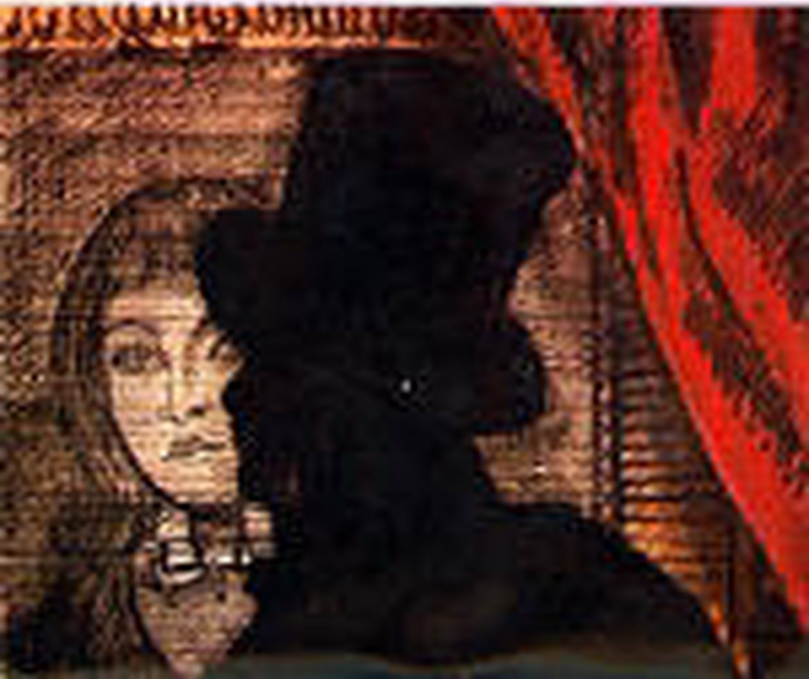
ОСКАР УАЙЛЬД
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ
ТЮРЕМНАЯ ИСПОВЕДЬ•
РЕДЬЯРД КИПЛИНГ
СТИХОТВОРЕНИЯ • РАССКАЗЫ•



Рассказы

Редьярд Джозеф Киплинг

Аннотация
ДЕЛО ОБ ОДНОМ РЯДОВОМ
«ВОРОТА СТА ПЕЧАЛЕЙ»
ЖИЗНЬ МУХАММЕД-ДИНА
СВИНЬЯ
БИМИ
АГАСФЕР
МОТИ-ГАДЖ, МЯТЕЖНИК
ДЖОРДЖИ-ПОРДЖИ
ВСЕГО ЛИШЬ СУБАЛТЕРН
МЭ-Э, ПАРШИВАЯ ОВЦА…
  МЕШОК ПЕРВЫЙ
  МЕШОК ВТОРОЙ
  МЕШОК ТРЕТИЙ
ПОДГУЛЯВШАЯ КОМАНДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ НА РОДИНЕ
В НАВОДНЕНИЕ
КАК ГОЛОСОВАНИЕМ ПРИЗНАЛИ ЗЕМЛЮ ПЛОСКОЙ
«ЖЕНА МОЕГО СЫНА»
ВОИНСКИЕ ПОЧЕСТИ
БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

«ОНИ»
СТРАТЕГИЯ ПАРА
МИССИС БАТЕРСТ
007
«ХЛЕБ, ОТПУЩЕННЫЙ ПО ВОДАМ»
СЛОВАРЬ ИНДИЙСКИХ СЛОВ К РАССКАЗАМ Р. КИПЛИНГА

Аннотация

Сборник рассказов.

ДЕЛО ОБ ОДНОМ РЯДОВОМ[1]

Перевод И. Бернштейн

Ура! — мы грянем дружно.
И снова.
И еще.
Да здравствует солдатское
Веселое житье![2]

Очевидцы утверждают, что нет более поразительного проявления человеческой слабости, чем массовая истерика в женской школе. Она разражается внезапно, большей частью в жару, среди старших учениц. Какая-нибудь барышня ни с того ни с сего вдруг начинает хихикать, потом на нее нападает безудержный смех, и вот уже она, запрокинув голову, гогочет по-гусиному, и смех ее смешивается со слезами. Если у воспитательницы хватит ума, она строгим голосом одернет ее в эту минуту, и тем дело и кончится. Если же воспитательница мягкосердечная и пошлет кого-

[1] notes: 1
Рассказ опубликован впервые в 1888 г., вошел в сборник «Три солдата».

[2] notes: 2
Эпиграф придуман Киплингом в стиле солдатской песни.

нибудь принести водички, очень может быть, что другая барышня начнет тем временем смеяться, глядя на первую, и с ней случится то же. Зараза быстро распространится и может привести к тому, что с добрых полкласса станут смеяться и гоготать дружным хором. Достаточно одной устойчиво жаркой недели, двух чинных прогулок в день, да еще ежедневно баранины с рисом на обед и какой-нибудь особенно придирчивой учительницы, и результат может получиться поистине удивительный.

Конечно, и мать — настоятельница монастыря, при котором воспитываются девочки, и командир британского пехотного полка, оба возмутились бы, услышав, что кто-то осмелился сопоставить их паствы. А между тем в некоторых условиях Томас Аткинс может быть доведен до самой обыкновенной буйной истерики. Он, правда, не проливает слез, но симптомы его болезни не вызывают сомнения, а результаты попадают в прессу, и добропорядочные граждане, не умеющие по большей части отличить винтовку от карабина, требуют: «Отнять у хама оружие!»

Томас — не хам, а по роду своей деятельности, состоящей в охране добропорядочных граждан, должен всегда иметь оружие при себе. Конеч-

но, он не ходит в шелковых чулках и, честно сказать, давно нуждается в новом имени прилагательном взамен того, которым мажет, точно дегтем, без разбора все, чего касается в разговоре; но при всем том он — великий человек. Если сегодня вы величаете его «героическим защитником чести нации», а завтра именуете «грубой и распущенной солдатней», он, естественно, немного теряется и начинает относиться к вам с подозрением. У Томаса нет заступников, кроме всевозможных «теоретиков», нет у него и сочувствующих, если не считать его самого, а сам он не понимает, что с ним происходит.

Это все был пролог. Рассказ же начинается здесь.

Капрал Слейн готовился сыграть свадьбу с мисс Джэнси Мак-Кенна, чья история хорошо известна как в полку, так и вне его. Разрешение полковника было уже получено, солдаты капрала Слейна любили, и были приняты все меры к тому, чтобы придать предстоящей брачной церемонии, как выражался рядовой Ортерис, «шик и блеск». Знаменательное событие было назначено на самый разгар жаркого сезона, после чего молодые уезжали в горы. Но Слейну этого было мало. Карета у них был наемная, а в наемной карете,

он считал, какой уж там «шик и блеск». Невесту это не особенно беспокоило. С помощью жены сержанта она шила себе подвенечный наряд и была занята по горло. В те дни капрал Слейн оставался единственным мало-мальски довольным жизнью человеком на все казармы. Остальным было тошно на свет смотреть.

Да и откуда было взяться веселью? Работы у них кончались к восьми часам утра, и весь день до вечера им только и оставалось, что лежать кверху брюхом, курить армейский табак да клясть на чем свет стоит туземную прислугу. В полдень они получали сытный мясной обед, а потом валились на койки и, подмокая от пота, спали, покуда спустится хоть какая-то прохлада и можно будет прошвырнуться с земляком, чей словарь не превышает шестисот слов, включая пресловутое прилагательное, и чьи мнения по любому вопросу известны давным-давно.

Имелась еще, конечно, солдатская столовая и при ней — «безалкогольный» буфет, где лежали старые журналы; но к какой бы ты ни принадлежал профессии, все равно невозможно читать по восемь часов в день, когда жара — 35, 36 градусов в тени, а к полуночи иной раз набежит и 40. Мало найдется таких, кто способен, даже если разжить-

ся котелком мутного, теплого, стоялого пива и спрятать у себя под койкой, пить по шесть часов кряду каждый божий день. Один попробовал, да помер, и на похороны к нему явился весь полк в полном составе, потому что все-таки занятие. Для холеры или лихорадки время еще не приспело. И людям только и оставалось, что ждать, ждать, ждать и смотреть, как тень от казармы ползет через плац по ослепительно-белому песку. Веселенькая жизнь!

Солдаты слонялись по военному городку — было слишком жарко для игр и даже слишком жарко для того, чтобы предаваться порокам, — и накачивались пивом, и набивали желудки калорийной, богатой азотом пищей, которую для них готовили, и чем больше ели, тем меньше двигались и день ото дня становились взрывоопаснее. Портились характеры, люди подолгу переживали всякие обиды, настоящие и мнимые. Больше-то им думать было не о чем. Изменился тон обычных «обменов любезностями»; если раньше солдат солдату преспокойно говорил, что сейчас расквасит ему дурацкую харю, то теперь лишь делалось утрированно-вежливое замечание, что двоим в военном городке стало тесно и надо бы кому-то одному убраться в такое место,

назвать которое не позволяют приличия.

Может быть, конечно, все это были козни Дьявола, но известно, что Лоссон долгое время бессмысленно изводил Симмонса. Какое-никакое, а развлечение. Симмонс с Лоссоном спали рядом и, бывало, целыми днями сидели друг против друга и переругивались. Но при этом Симмонс боялся Лоссона и не отваживался довести дело до драки. Жаркими безветренными ночами он перебирал в памяти обидные слова соседа и половину своей ненависти срывал на бедном уборщике.

А Лоссон купил на базаре попугая, посадил в клетку и спускал ее в прохладную глубину колодца, а сам садился на край и кричал попугаю разные ругательства. Так он научил птицу говорить: «Симмонс, ты — *суур*», что означает «свинья», и еще кое-какие слова, совершенно не подходящие для печати. Был он крупный, рыхлый и, смеясь, весь трясся, как желе, когда попугай правильно повторял его выражения. Симмонс тоже трясся, но от злости, потому что над ним потешалась вся казарма — этот жалкий пук зеленых перьев так забавно ругался по-человечески. Лоссон садился к себе на койку, болтая толстомясыми ногами, и спрашивал попугая, какого он мнения о Симмонсе. Попугай отвечал:

«Симмонс, ты — *суур*!» — «Молодчина, попка!» — хвалил Лоссон и почесывал ему хохолок. «Что, Сим, слышал?» А Симмонс переворачивался на живот и отвечал: «Я-то слышал. Да смотри ты не услышь чего».

Мучительными, бессонными ночами, проспав перед этим весь день, Симмонс грезил о том, как он разделается с Лоссоном, и весь дрожал от приступов бешеной ярости. Он то воображал, как забьет его насмерть тяжелыми армейскими сапогами, то думал, что лучше будет проломить ему лицо прикладом, а может быть, прыгнуть ему на спину и тянуть голову назад, покуда не переломится шея. И во рту у него становилось горячо и сухо, и рука тянулась под койку за котелком с пивом.

Но чаще и дольше всего ему мечталось о толстой складке сала у Лоссона под правым ухом. Она привлекла его внимание однажды светлой лунной ночью и с тех пор всегда стояла перед глазами. За эту складку можно было ухватиться и оторвать пол-лица и шеи; а можно было вдавить в нее дуло винтовки и одним выстрелом разнести всю голову. По какому праву Лоссон так пыжится самодовольством и благополучием, когда над ним, Симмонсом, потешается вся казарма? Он

еще покажет им всем, которые смеются шутке про Симмонса — свинью! Он не хуже других и запросто может отправить, кого захочет, на тот свет одним нажимом пальца на спусковой крючок. А когда Лоссон храпел, Симмонс ярился еще сильнее. Почему это Лоссон спит в свое удовольствие, когда он, Симмонс, часами ворочается, не смыкая глаз, пьет воду и мучается от боли в правом боку, а в висках у него стучит и голова трещит после вечерней выпивки? В подобных размышлениях он провел много ночей, и жизнь утратила для него всякую прелесть. Даже его всегда хороший аппетит притупился от пива и табака. И все время попугай Лоссона продолжал болтать и делать из него посмешище.

А жара все не спадала, и люди день ото дня становились вспыльчивее и раздражительнее. Ночью от апоплексического удара умерла жена одного сержанта, и прошел слух, будто началась холера. Солдаты открыто радовались в надежде, что разразится эпидемия и их переведут в лагеря. Но тревога оказалась ложной.

Это случилось во вторник поздно вечером. Солдаты маялись на галерее в ожидании последней смены караула. Симмонс ушел внутрь казармы, вынул трубку из своего ящика в ногах койки и с

силой захлопнул крышку, так что стук раздался в пустых стенах, точно винтовочный выстрел. При обычных обстоятельствах никто бы не обратил на это внимания; но теперь нервы у всех были натянуты, как струны. Люди повскакали на ноги, и двое или трое вбежали в комнату.

— А-а, это ты! — сказали они с глупым смехом, увидев Симмонса на коленях перед ящиком. — А мы было подумали…

Симмонс медленно поднялся с колен.

Случайный звук произвел такое действие, а что получится, если в самом деле?..

— Подумали? А кто вас просил думать? — огрызнулся Симмонс, распаляя себя. — Нашлись тоже думальщики, шпионы чертовы!

— Симмонс, ты — *суур*, — сонно хмыкнул на галерее попугай, отзываясь на звуки знакомого голоса. И это все, больше ровным счетом ничего не было.

Струна лопнула. Симмонс попятился, нарочно упал спиной на стойку с ружьями — остальные солдаты находились на другом конце помещения — и выхватил свою винтовку и пачку патронов.

— Не валяй дурака, Сим, — проворчал Лоссон. — Поставь все на место. — Но голос его при этом дрогнул.

Другой солдат нагнулся, снял с ноги сапог и швырнул Симмонсу в голову. В ответ сразу раздался выстрел, он был сделан без прицела, наобум, но пуля угодила в горло Лоссону. Тот без единого звука упал; остальные разбежались.

— Подумали? — орал Симмонс. — Вы меня сами доводите! Это вы меня довели, слышите? Вставай, Лоссон, нечего прикидываться, это все ты со своим вшивым попугаем натворил!

Но в позе лежащего Лоссона была какая-то неподдельность, она убедила и Симмонса. На галерее шумели солдаты. Захватив две пачки патронов, Симмонс выбежал на залитый луною плац, думая вслух: «Ну, погодите! Хоть ночь, да моя. Тридцать патронов — и последний для себя. Вы у меня узнаете, собаки».

Он опустился на одно колено и выстрелил в группу солдат на галерее, но пуля пошла выше и вбуравилась в кирпичную кладку, просвистев у них над головами, и от этого зловещего посвиста кое-кто из молодых солдат стал белее полотна. Ибо, как утверждают специалисты по стрелковому делу, когда в тебя стреляют, это совсем не то, что стрелять самому.

И тогда в них вспыхнул инстинкт преследования. Весть пронеслась от барака к бараку, и

солдаты высыпали беглым шагом ловить этого зверя Симмонса, который бежал через кавалерийский плац, время от времени оборачиваясь, чтобы послать пулю и ругательство своим преследователям.

— Я вам покажу, как за мной шпионить! — задыхаясь, кричал он на бегу. — Я вас научу обзываться! Давайте, давайте все сюда, сколько вас там есть! И полковник Джон Антони Дивер, кавалер ордена Бани[3]! — Симмонс оглянулся на офицерскую столовую и потряс винтовкой. — Думаете, вы такой франт и хват, дальше некуда? А я вам говорю, только высуньте свою чертову рожу из этой двери, я вас так изукрашу, во всей армии красивее не найдется. А ну, выходите, полковник Джон Антони Дивер, кавалер ордена Бани! Выходите, полюбуйтесь на стрелковые ученья! Я в нашем батальоне лучший стрелок! — И в доказательство Симмонс выстрелил по освещенным окнам офицерской столовой.

— Рядовой пятой роты Симмонс на кавалерийском плацу, сэр, имеет при себе тридцать патронов, — пресекающимся голосом доложил

---

[3] notes: 3

Орден Бани — один из старейших и почетнейших английских орденов, названный так по обряду омовения, совершавшемуся при посвящении в рыцари.

полковнику сержант. — Палит направо и налево, сэр. Застрелил рядового Лоссона. Что будем делать, сэр?

Полковник Джон Антони Дивер, кавалер ордена Бани, попробовал совершить вылазку, и сразу же у него из-под ног выбился фонтанчик каменной крошки.

— Не надо, полковник, — сказал его помощник. — Мне бы не хотелось таким образом получить ваше место. Он опасен, как бешеный пес.

— Вот и пристрелить его, как бешеного пса, — в сердцах проговорил полковник, — раз он никого не слушает. Подумать только, в моем полку! Будь это Ирландцы, я еще понимаю.

Рядовой Симмонс занял надежную позицию под прикрытием колодца на дальнем конце плаца и вызывал свой полк на продолжение военных действий. Полк не слишком-то рвался исполнить его призыв, ибо мало чести солдату пасть от пули своего же товарища. Один капрал Слейн с винтовкой в руке пополз по плацу на животе в сторону колодца.

— Не стреляйте, — велел он своим солдатам. — За милую душу в меня попадете. Возьму голубчика живым.

Когда Симмонс сделал передышку и перестал

стрелять и орать, стало слышно, что через поле к военному городку едет рессорная двуколка. Это возвращался со штатского обеда командир конной батареи майор Олдайн, по своей всегдашней привычке гоня лошадь во весь опор.

— А! Офицер едет! — закричал Симмонс. — Офицер, чтоб ему подавиться! Ладно, сделаем пугало огородное из этого офицера!

Двуколка подкатила и остановилась.

— В чем дело? — строго спросил артиллерист. — Эй, вы там! Бросьте винтовку!

— Да это Джерри Черт! Проезжай подобру-поздорову, Джерри Черт, я тебя не трогаю, и ты меня не тронь.

Но Джерри Черт вовсе не собирался проезжать подобру-поздорову мимо опасного преступника. Как изощренно и любовно клялись солдаты его батареи, он не ведал страха, а уж кому и судить, если не им, ведь, как известно, когда батарея выезжала в поход, их майор всякий раз лично убивал хоть одного противника.

Он пошел прямо на Симмонса в намерении наброситься на него и сбить с ног.

— Не вынуждайте меня, сэр, — предостерег его Симмонс. — Мне с вами делить нечего. А-а, ты свое? — Майор перешел на бег. — Так вот тебе!

Майор упал, получив пулю в плечо, и Симмонс встал над ним. Он упустил случай расправиться с Лоссоном так, как ему мечталось, но вот теперь перед ним лежало беззащитное тело. Дослать еще один патрон и снести ему голову или расквасить прикладом белое лицо? Он встал в нерешительности, а на другом конце плаца раздался крик: «Он убил Джерри Черта!» Но под прикрытием колодца Симмонс был в безопасности, пока не высовывался, чтобы произвести выстрел. «Я снесу тебе голову с плеч, Джерри Черт, — думал вслух Симмонс. — Шесть да три — девять, да один — десять, значит, у меня еще девятнадцать и последний для меня». И он распечатал вторую пачку патронов. Из-под насыпи колодца на яркий лунный свет выполз капрал Слейн.

— Вижу тебя! — крикнул Симмонс. — Иди, иди сюда, я тебя ухлопаю.

— Иду, — коротко отвечал Слейн. — Натворил ты дел, Сим. Выходи оттуда, и пошли со мной.

— Иди ты знаешь куда, — засмеялся Симмонс, загоняя патрон большим пальцем. — Мне надо сначала разделаться с тобой и с Джерри Чертом.

Капрал лежал, распластавшись во весь рост на земле. Винтовка была под ним. Издали, забывшись, кто-то крикнул: «Стреляй, Слейн!

Стреляй!»

— Шевельни только рукой или ногой, Слейн, — проговорил Симмонс, — и я расквашу сапогом лицо Джерри Черту, а потом пристрелю тебя.

— Я и не шевелюсь, — сказал Слейн, подымая голову. — Ты небось сам же струсишь, если человек будет стоять на ногах. Ты вот оставь Джерри Черта и выходи со мной на кулаки. Давай, ну? Боишься, собачья душа?

— Не боюсь.

— Врешь, кровосос несчастный! Врешь, мясник жидовский, все врешь! Гляди! — Слейн отбросил винтовку и встал во весь рост под дулом Симмонса. — А ну?

Искушение было сильнее Симмонса. Капрал в белой рубахе представлял собою превосходную мишень.

— А, ты обзываться? — заорал Симмонс и нажал спуск. Выстрел не пришелся в цель, и стрелок, в слепой ярости швырнув оземь винтовку, выскочил из своего укрытия и бросился на капрала. С разбегу он занес ногу, целя Слейну в живот, но долговязый капрал знал слабости своего солдата и владел убийственным приемом защиты от такого удара. Он наклонился навстречу Симмонсу и, высоко поджав согнутую в колене правую ногу,

встретил его удар, стоя на одной ноге, — так стоят гонды, когда они заняты медитацией. Раздался возглас — капрал повалился на левый бок, в падении захватив ногу Симмонса, голень скрестилась с голенью, и солдат очутился на земле с переломанной берцовой костью.

— Надо было знать этот прием, Сим, — сказал Слейн, поднимаясь и выплевывая землю. И крикнул товарищам: — Эй, идите берите его. Я сломал ему ногу! — что, строго говоря, было неверно, рядовой Симмонс сломал себе ногу сам, вся хитрость этого защитного приема как раз в том и состоит, что чем сильнее бьешь, тем хуже тебе же приходится.

Плачущего от боли Симмонса унесли, а Слейн подошел к Джерри Черту и склонился над ним с подчеркнутой озабоченностью.

— Надеюсь, вы не очень пострадали, сэр? — спросил он. Но майор был без сознания, и в плече у него зияла большая рваная рана. Слейн опустился на колени и в растерянности пробормотал:

— Да он, никак, помер, ей-богу! Вот дьявольщина, везет же мне.

Однако майору написано было на роду еще много дней, не дрогнув душой, водить в походы свою батарею. Его увезли и выходили, окружив

любовью и заботой, а батарейские солдаты всерьез раздумывали, не захватить ли им Симмонса, не привязать ли его к жерлу пушки, а потом выстрелить. Они боготворили своего майора, и, когда он наконец снова появился на смотру, произошла сцена, отнюдь не предусмотренная армейским уставом.

И Слейну тоже досталось немало славы. Пушкари готовы были поить его допьяна трижды в день в течение полумесяца. Даже сам командир полка похвалил его за хладнокровие, а местная газетенка провозгласила его героем. Но капрал нисколько не зазнался. Когда майор предложил ему свою благодарность и денежное вознаграждение, он скромно отвел первую и принял второе. Но со своей стороны у него была просьба к майору, и он ее высказал, предварив несколькими «Прошу прощения, сэр»: не сочтет ли майор возможным, чтобы свадьбу Слейна — Мак-Кенна украсили своим присутствием четыре батарейские лошади и чтобы именно они везли карету с молодоженами? Майор счел это возможным. Солдаты его батареи тоже. Еще бы! Свадьба получилась на славу.

* * *

— Зачем мне все это надо было? Да из-за лошадей, понятное дело, — объяснял капрал Слейн. — Джэнси с лица не так чтобы красавица, но все равно, куда это годится, — наемные лошади. Джерри Черт? Да не будь у меня своего интереса, по мне, пусть бы Сим расквасил ему голову в манную кашу. Пожалуйста.

И рядового Симмонса повесили — высоко, как Амана[4], — на пустом полковом плацу; полковник сказал, что всему виною пьянство, а полковой капеллан уверял, что это козни Диавола, а Симмонс считал, что и того и другого понемногу, но точно сказать не мог и только надеялся, что его пример послужит наукой другим, а с полдюжины «проницательных журналистов» настрочили шесть прекрасных очерков на тему о распространении преступности в армии.

И никому не пришло в голову сравнивать «кровожадного Симмонса» и закатывающуюся, визжащую школьницу, с которой начинается наш рассказ.

---

[4] notes: 4

Аман — по Библии, коварный царедворец, понесший ту казнь, которую готовил своему врагу (из книги Есфирь, стих 710).

Это прозвучало бы так нелепо!

«ВОРОТА СТА ПЕЧАЛЕЙ»[5]

Перевод М. Клягиной-Кондратьевой

Что вам завидовать мне, если я могу достичь небес ценою одной пайсы?

Поговорка курильщиков опиума

Это не мое сочинение. Мой приятель метис Габрал Мискитта рассказал мне обо всем этом в часы между закатом луны и утром, за шесть недель до своей смерти, а я только записывал его ответы на мои вопросы.

Итак:

Они находятся между улицей медников и кварталом торговцев трубочными чубуками, ярдах в ста по прямой от мечети Вазир-Хана. Я готов кому угодно сообщить эти сведения, но ручаюсь — ни один человек не найдет «Ворот», даже если он уверен, что отлично знает город. Можете хоть сто раз пройти по тому переулку, где они находятся, все равно вы их не найдете. Этот переулок

---

[5] notes: 5

Вошло в сборник «Простые рассказы с холмов», в заглавии которого противопоставлена видимая простота стиля и сложность («холмистость») проблем.

мы прозвали улицей Черного Курева, но настоящее его название, конечно, совершенно иное. Навьюченный осел не смог бы пролезть между его стенами, а в одном месте, как раз перед тем, как поравняешься с «Воротами», один из домов выступает вперед, вынуждая прохожих протискиваться боком.

На самом деле это вовсе не ворота. Это дом. Пять лет назад им владел старик Фун Чин — первый его хозяин. Он раньше был сапожником в Калькутте. Говорят, что там он спьяну убил свою жену. Вот почему он бросил пить базарный ром и взамен его пристрастился к черному куреву. Впоследствии он переселился на север и открыл «Ворота», иначе говоря — заведение, где можно покурить в тишине и спокойствии. Имейте в виду, эта курильня опиума была *пакка* — солидное заведение, не то что какая-нибудь жаркая, душная *чандухана*, из тех, что попадаются в городе на каждом шагу. Нет, старик отлично знал свое дело и для китайца был очень опрятен.

Это был маленький одноглазый человек, не более пяти футов росту, и на обеих руках у него не хватало средних пальцев. И все же он, как никто, умел скатывать черные пилюли. Казалось также, что курево ничуть на него не действует, хотя он

курил днем и ночью, ночью и днем невероятно много. Я занимался этим пять лет и с кем угодно могу потягаться в курении, но в сравнении с Фун Чином я был просто младенцем. Тем не менее старик очень любил деньги, очень, и вот этого я и не могу понять. Я слышал, что при жизни он успел накопить порядочное состояние; оно теперь досталось его племяннику, а старик вернулся в Китай, чтобы его похоронили там.

Большую комнату наверху, где собирались его лучшие клиенты, он держал чистенькой, как новая булавка. В одном углу стоял Фун Чинов идол — почти такой же безобразный, как и сам Фун Чин, — и под носом у него всегда тлели курительные свечки, но когда трубочный дым густел, запаха их не было слышно. Против идола стоял гроб Фун Чина. Хозяин потратил на него добрую часть своих сбережений, и когда в «Воротах» впервые появлялся свежий человек, ему всегда показывали гроб. Он был покрыт черным лаком и расписан красными и золотыми письменами, и я слышал, будто Фун Чин вывез его из самого Китая. Не знаю, правда это или нет, но помню, что, когда я под вечер приходил первым, я всегда расстилал свою циновку около него. Здесь, видите ли, был спокойный уголок и в окно иногда веяло легким

ветерком с переулка. Если не считать циновок, в комнате не было никакой обстановки — только гроб да старый идол, весь синий, зеленый и пурпурный от времени и полировки.

Фун Чин никогда нам не говорил, почему он назвал свое заведение «Воротами Ста Печалей». (Он был единственный знакомый мне китаец, употреблявший неприятно звучащие названия. Большинство склонно давать цветистые имена, в чем вы можете убедиться по Калькутте.) Мы старались догадаться об этом сами. Если вы белый, ничто не сможет вас так захватить, как черное курево. Желтый человек устроен иначе. Опиум на него почти не действует, а вот белые и черные, те страдают жестоко. Конечно, есть и такие, на которых курево влияет не больше, чем табак, когда они впервые начали курить. Они только подремлют немножко, как бы заснув естественным сном, а наутро уже почти способны работать. И я был таким, когда начал, но я занимался этим весьма усердно целых пять лет, а теперь я уже не тот. Была у меня старуха тетка, которая жила близ Агры, и после ее смерти мне досталось небольшое наследство. Около шестидесяти рупий дохода в месяц. Шестьдесят рупий — это не очень много. Вспоминается мне время — кажется, что с тех пор

прошло много-много сотен лет, — время, когда я получал триста рупий в месяц да еще кое-какие доходы, работая по крупной поставке строевого леса в Калькутте.

На этой работе я пробыл недолго. Черное курево не допускает других занятий, и хотя на меня оно влияет очень слабо, я даже ради спасения своей жизни не смог бы проработать целый день, как работают другие люди. Впрочем, шестьдесят рупий — это все, что мне требуется. Пока старик Фун Чин был жив, он обычно получал эти деньги вместо меня, давал мне из них половину на жизнь (я ем очень мало), а остальное забирал себе. Я мог свободно приходить в «Ворота» в любое время дня и ночи, курить там и спать, если хотел, и потому не спорил. Я знал, что старик хорошо на мне заработал, но это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения; к тому же деньги продолжают поступать из месяца в месяц.

Когда заведение впервые открылось, в «Воротах» нас встречалось всего десять человек. Я, двое *бабу* — они тогда служили в государственном учреждении где-то в Анаркали, но потом их уволили, и они уже не могли платить за себя (ни один человек, обязанный работать днем, не

может регулярно предаваться черному куреву в течение долгого времени); китаец — племянник Фун Чина; уличная женщина, каким-то образом добывшая кучу денег; бездельник англичанин — кажется, фамилия его начиналась на «Мак», впрочем, не помню, — который курил без передышки и как будто ничего не платил (говорили, что в бытность свою адвокатом в Калькутте он на каком-то судебном разбирательстве спас жизнь Фун Чину); другой евразиец, как и я, родом из Мадраса; женщина-метиска и двое мужчин, говоривших, что они переехали сюда с севера. Должно быть, это были персы, или афганцы, или что-то в этом роде. Теперь из всех нас осталось в живых не более пяти человек, но зато приходим мы постоянно. Не знаю, что сталось с обоими *бабу*, а уличная женщина умерла после того, как полгода посещала «Ворота», и я подозреваю, что Фун Чин присвоил ее браслеты и носовое кольцо. Но не уверен. Англичанин — тот пил так же много, как и курил, и наконец перестал приходить. Одного из персов давно уже убили в драке ночью у большого колодца близ мечети, и полиция закрыла колодец, — говорили, что оттуда несет гнилью. Его нашли мертвым на дне колодца. Так вот, значит, остались только я, китаец, метиска, которую

мы прозвали *мем-сахиб* (она жила с Фун Чином), другой евразиец да один из персов. Теперь *мем-сахиб* очень постарела. Когда «Ворота» впервые открылись, она была молодой женщиной, но уж коли на то пошло, все мы давно состарились. Нам много-много сотен лет. В «Воротах» очень трудно вести счет времени, к тому же для меня время не имеет значения. Каждый месяц я все вновь и вновь получаю свои шестьдесят рупий. Давным-давно, когда я зарабатывал триста пятьдесят рупий в месяц да вдобавок еще кое-что на крупной поставке строевого леса в Калькутте, у меня было что-то вроде жены. Теперь ее нет в живых. Люди говорили, что я свел ее в могилу тем, что пристрастился к черному куреву. Может, и правда свел, но это было так давно, что уже потеряло всякое значение. Когда я впервые начал ходить в «Ворота», мне иной раз бывало жаль ее, но все это прошло и кончилось уже давно, а я каждый месяц все вновь и вновь получаю свои шестьдесят рупий и вполне счастлив. Счастлив не так, как бывают счастливы пьяные, а всегда спокоен, умиротворен и доволен.

Как я к этому пристрастился? Это началось в Калькутте. Я пробовал покуривать у себя дома — просто хотелось узнать, что это такое. Я еще

не очень этим увлекался, но, должно быть, жена моя умерла именно тогда. Так или иначе, но я очутился здесь и познакомился с Фун Чином. Не помню точно, как все это было, но он мне рассказал про «Ворота», и я стал туда ходить, и как-то так вышло, что с тех пор я уже не покидал их. Не забудьте, что в Фун Чиновы времена «Ворота» были очень солидным заведением, где вам предоставлялись все удобства, — не чета какой-нибудь там *чандухане*, куда ходят черномазые. Нет, здесь было чисто, спокойно и не людно. Конечно, кроме нас десятерых и хозяина, бывали и другие посетители, но каждому из нас всегда давалось по циновке и по ватной подушечке в шерстяной наволочке, сплошь покрытой черными и красными драконами и всякими штуками, точь-в-точь как на гробе, стоявшем в углу.

После третьей трубки драконы начинали двигаться и драться. Я смотрел на них много-много ночей напролет. Так я определял меру своему курению, но теперь уже требуется не меньше дюжины трубок, чтобы принудить их зашевелиться. Кроме того, все они истрепались и загрязнились не хуже циновок, а старик Фун Чин умер. Он умер года два назад, подарив мне трубку, которую я теперь всегда курю, — серебряную, с причудливы-

ми зверями, ползущими вверх и вниз по головке под чашечкой. До этого у меня, помнится, был длинный бамбуковый чубук с медной чашечкой, очень маленькой, и мундштуком из зеленой яшмы. Он был чуть потолще тросточки для гулянья, и курить из него было приятно, очень приятно. Очевидно, бамбук всасывал дым. Серебро не всасывает, так что мне время от времени приходится чистить трубку, а с этим много возни, но я курю ее в память о старике. Он, должно быть, хорошо на мне нажился, но он всегда давал мне чистые подушки и циновки и товар, лучше которого нигде не достанешь.

Когда он умер, племянник его Цин Лин вступил во владение «Воротами» и назвал их «Храмом Трех Обладаний», но мы, завсегдатаи, по-прежнему называем их «Воротами Ста Печалей». Племянник очень прижимисто ведет дело, и мне кажется, что *мем-сахиб* поощряет его в этом. Она с ним живет, как прежде жила со стариком. Оба впускают в заведение всякий сброд — черномазых и тому подобных типов, и черное курево уже не такого хорошего качества, как бывало. Я не раз и не два находил в своей трубке жженые отруби. Старик — тот умер бы, случись это в его времена. И еще: комнату никогда не убирают, все циновки

рваные и обтрепались по краям. Гроба нет, он вернулся в Китай со стариком и двумя унциями курева внутри — на случай, если мертвецу захотелось бы покурить в дороге.

Под носом у идола уже не горит столько курительных свечек, как бывало, а это, бесспорно, недобрый знак. Да и сам идол весь потемнел, и никто за ним больше не ухаживает. Я знаю, всему виной *мем-сахиб*: ведь когда Цин Лин захотел было сжечь перед ним золотую бумагу, она сказала, что это пустая трата денег, и еще — что курительные свечки должны только чуть теплиться, так как идол все равно не заметит разницы. И вот теперь в свечки подмешивают много клея, так что они горят на полчаса дольше, но зато скверно пахнут. Я уже не говорю о том, как воняет сама комната. Никакое дело не пойдет, если вести его таким образом. Идолу это не нравится. Я это вижу. Иногда поздно ночью он вдруг начинает отливать какими-то странными оттенками цветов — синим, и зеленым, и красным, совсем как в те времена, когда старик Фун Чин был жив; и он вращает глазами и топает ногами, как демон.

Не знаю, почему я не бросаю этого заведения и не курю спокойно в своей собственной комнатушке па базаре. Скорей всего потому, что, уйди

я, Цин Лин убил бы меня, — ведь теперь мои шестьдесят рупий получает он, — да и хлопот не оберешься, а я мало-помалу очень привязался к «Воротам». Ничего в них нет особенного. Они уже не такие, какими были при старике, но покинуть их я бы не смог. Я видел столько людей, приходивших сюда и уходивших. И я видел столько людей, умиравших здесь, на циновках, что теперь мне было бы жутко умереть на свежем воздухе. Я видел такие вещи, которые людям показались бы довольно странными, но если уж ты привержен черному куреву, тебе ничто не кажется странным, за исключением самого черного курева. А если и кажется, так это не имеет значения. Фун Чин — тот был очень разборчив: никогда не впускал клиентов, способных перед смертью наделать неприятностей. Но племянник далеко не так осторожен. Он повсюду болтает, что держит «первоклассное заведение». Никогда не старается тихонько впускать людей и устраивать их удобно, как это делал Фун Чин. Вот почему «Ворота» получили несколько большую известность, чем прежде. Само собой разумеется — среди черномазых. Племянник не смеет впустить белого или хотя бы человека смешанной крови. Конечно, ему приходится держать нас троих: меня, и *мем-*

сахиб, и другого евразийца. Мы тут укоренились. Но он не даст нам в долг и одной трубки; ни за что на свете.

Я надеюсь когда-нибудь умереть в «Воротах». Перс и мадрасец теперь здорово сдали. Трубки им зажигает мальчик. Я же всегда это делаю сам. Вероятно, я увижу, как их унесут раньше, чем меня. Вряд ли я переживу *мем-сахиб* или Цин Лина. Женщины дольше мужчин выдерживают черное курево, а Цин Лин — тот хоть и курит дешевый товар, но он стариковой крови. Уличная женщина за два дня до своего смертного часа знала, что умирает, и она умерла на чистой циновке с туго набитой подушкой, а старик повесил ее трубку над самым идолом. Мне кажется, он всегда был привязан к ней. Однако браслеты ее он забрал.

Мне хотелось бы умереть, как эта базарная женщина, — на чистой, прохладной циновке, с трубкой хорошего курева в зубах. Когда я почувствую, что умираю, я попрошу Цин Лина дать мне то и другое, а он пусть себе все вновь и вновь получает мои шестьдесять рупий в месяц. И тогда я буду лежать спокойно и удобно и смотреть, как черные и красные драконы бьются в последней великой битве, а потом…

Впрочем, это не имеет значения. Ничто не име-

ет для меня большого значения... Хотелось бы только, чтобы Цин Лин не подмешивал отрубей к черному куреву.

ЖИЗНЬ МУХАММЕД-ДИНА[6]

Перевод И. Бернштейн

Какой человек называется счастливым человеком?
Тот, у кого в доме бегают, падают
и плачут перепачканные малые дети.

***«Муничандра» в переводе профессора Питерсона*[7]**

Шар для игры в поло был старый, растрескан-ный и щербатый. Он лежал на каминной полке рядом с трубками, которые прочищал для меня Имам-Дин, мой слуга.

— Этот шар нужен Небеснорожденному? — по-чтительно спросил меня Имам-Дин.

Небеснорожденному шар для поло был в об-щем-то ни к чему, непонятно только, зачем он мог понадобиться Имам-Дину.

---

[6] notes: 6

Впервые рассказ опубликован в 1886 г., вошел в сборник «Простые рассказы с холмов».

[7] notes: 7

Эпиграф к рассказу — мистификация. «Муничандра» — вымысел; Вильям Питерсон — был известен исключительно переводами с латинского.

— С позволения вашей милости, у меня есть малютка сын. Он видел этот шар и хотел бы поиграть им. Я не для себя прошу.

Никому бы и в голову не пришло, что дородный, пожилой Имам-Дин хочет поиграть в поло. Он вынес обшарпанный шар на веранду, и тотчас же послышался бурный, радостный писк, топот маленьких ног и глухой стук дерева об землю.

Значит, малютка сын дожидался вожделенного сокровища за дверью. Но каким образом он его углядел?

Назавтра я вернулся из конторы на полчаса раньше обычного и застал у себя в столовой маленького человечка — крохотного, пухлого человечка в несуразно короткой рубашонке, едва ему до пупа. Человечек сосал палец и разглядывал картины по стенам и при этом тихо то ли напевал, то ли мурлыкал себе под нос. Это, без сомнения, и был малютка сын.

Находиться в моей комнате ему, конечно, не полагалось, но он был так поглощен созерцанием, что даже не услышал, как я открыл дверь. Я вошел и перепугал его до полусмерти. Он охнул и сел прямо на пол. Глаза у него широко раскрылись, рот тоже. Я знал, что за этим последует, и поспешил вон. Вслед мне понесся протяжный,

громкий плач, который достиг ушей моих слуг гораздо быстрее, чем любое мое приказание. Через десять секунд Имам-Дин уже был в столовой. Оттуда послышались горькие рыдания, я вернулся и застал Имам-Дина отчитывающим юного грешника, который вместо носового платка пользовался своей куцей рубашонкой.

— Этот мальчик, — укоризненно произнес Имам-Дин, — настоящий *бадмаш*. Большой *бадмаш*. Он, несомненно, попадет в тюрьму за свое дурное поведение.

Раздались новые рыдания обвиняемого и церемонные извинения Имам-Дина.

— Скажи малышу, — ответил я, — что *сахиб* не сердится. И уведи его.

Имам-Дин сообщил преступнику о прощении, и тот, собрав всю рубашонку хомутом вокруг шеи, перестал рыдать, только еще всхлипывал. Отец и сын направились к двери.

— Его зовут Мухаммед-Дин, — объяснил мне Имам-Дин, словно имя тоже входило в состав преступления. — И он большой *бадмаш*.

Мухаммед-Дин, избавленный от страшной опасности, обернулся ко мне, сидя на руках у отца, и серьезно сказал:

— Это правда, *сахиб*, что меня зовут Мухаммед-

Дин. Но я не *бадмаш*. Я мужчина.

Так началось мое знакомство с Мухаммед-Дином. В столовой у меня он больше не появлялся, но на нейтральной территории сада мы часто встречались и церемонно приветствовали друг друга, хотя он только и произносил, что «*Салам, сахиб*», и «*Салам*, Мухаммед-Дин» — только и отвечал ему я. Каждый день, возвращаясь со службы, я видел пухлого человечка в белой рубашонке, подымающегося мне навстречу из тени увитой виноградом беседки; и каждый день я на этом месте придерживал лошадь, чтобы не смазать, не испортить нашей торжественной встречи.

Малыш всегда играл один. Он часами копошился в кустах клещевины и сновал по саду, занятый какими-то своими таинственными заботами. Однажды в глубине сада я напал на его произведение. У моих подошв, врытый до половины в песок, лежал шар для игры в поло, а вокруг были кольцом натыканы шесть завядших бархатцев. Снаружи этого кольца был квадрат, выложенный битым кирпичом вперемешку с черепками фарфора. А квадрат, в свою очередь, окружал низенький песчаный вал. Водонос у колодца решился замолвить слово за маленького

строителя: это всего лишь детская забава и моему саду не будет от нее ущерба.

Видит бог, у меня и в мыслях не было портить его работу — ни тогда, ни потом; но в тот же вечер, прогуливаясь по саду, я сам не заметил, как наступил на нее и нечаянно растоптал и бархатцы, и песчаный вал, и черепки от разбитой мыльницы и все безнадежно испортил. Утром мне попался на глаза Мухаммед-Дин, тихо проливающий слезы над причиненными мною разрушениями. Кто-то безжалостно сказал ему, что *сахиб* рассердился на беспорядок в саду, страшно ругался и самолично разбросал все его хозяйство. И Мухаммед-Дин целый час трудился, чтобы уничтожить все следы песчаного вала и ограды из черепков. Он поднял мне навстречу голову, произнося свое обычное: «*Салам, сахиб*», — и личико у него было заплаканное и виноватое. Устроили расследование, и Имам-Дин объявил Мухаммед-Дину, что по моей величайшей милости ему разрешается делать в саду все, что он пожелает. Малыш воспрянул духом и занялся разбивкой сооружения, которое должно было затмить конструкцию из бархатцев и деревянного шара.

Несколько месяцев это толстенькое диво тихо вращалось по своей орбите в песке и кустах кле-

щевины, неустанно возводя роскошные дворцы из завялых цветов, выкинутых уборщиком на свалку, гладких речных голышей, каких-то стеклышек и перьев, добытых, наверное, у меня на птичьем дворе, — всегда в одиночестве и всегда то ли напевая, то ли мурлыча себе под нос.

Однажды рядом с его очередной постройкой очутилась как бы ненароком пестрая морская раковина; и я стал ждать, чтобы Мухаммед-Дин возвел на таком основании что-нибудь особенно великолепное. Ожидания мои не были обмануты. Добрый час Мухаммед-Дин провел в размышлениях, и вот мурлыкание его зазвучало как победная песнь. Он стал чертить на песке. Да, то должен был получиться сказочный дворец, ведь он имел в плане целых два ярда в длину и ярд в ширину. Но величественному замыслу не суждено было осуществиться.

На следующий день, возвращаясь со службы, я не увидел Мухаммед-Дина на дорожке и не услышал его приветствия: «*Салам, сахиб!*» Я успел к нему привыкнуть, и перемена встревожила меня. А еще через день Имам-Дин сказал мне, что малыша слегка лихорадит и неплохо бы дать ему хинин. Хинин он получил, а заодно с хинином и доктора-англичанина.

— Никакой сопротивляемости у этой публики, — сказал доктор, выходя от Имам-Дина.

Спустя неделю я встретил Имам-Дина (хотя дорого бы дал, чтобы избежать этой встречи) на дороге к мусульманскому кладбищу. В сопровождении еще одного человека он шел и нес на руках белый полотняный сверток — все, что осталось от маленького Мухаммед-Дина.

СВИНЬЯ[8]

Перевод В. Марковича

Затравишь оленя за целый день,
Убьешь, если ты не калека!
Но разве сравнить эту дребедень
С охотой на человека?
Как славно загнать человека в капкан,
Как славно травить человека!
Старая охотничья песня[9]

Пожалуй, весь сыр-бор разгорелся из-за норовистой лошади. Пайнкоффин продал ее Нэффертону, и она едва не пришибла покупателя. Впрочем, для обиды могли быть и какие-то другие причины, потому что лошадь вроде бы была ученая. Нэффертон ужасно разозлился. Пайнкоффин же умирал со смеху и твердил, что никаких гарантий относительно манер животины не давал. Нэффертон тоже, правда, смеялся, но в душе поклялся расквитаться, пускай через пять лет. Да, горец

---

[8] notes: 8

Впервые рассказ опубликован в 1887 г., вошел в «Простые рассказы с холмов».

[9] notes: 9

Перевод Э. Шустера.

из-за Скиптона[10] так же способен простить оскорбление, как Стрид — пощадить человека, а уроженец Южного Девона раскисает, как дартмурское болото. Фамилия «Нэффертон» звучит поблагороднее, чем «Пайнкоффин»; кстати, и кровь у Нэффертона явно поголубее. Человек он был не такой, как все, и шутки у него были злые. Он научил меня новому и, надо сказать, очаровательному виду *шикара*. Он охотился за Пайнкоффином от Митанкота до Джагадри и от Гургаона до Абботабада — вдоль и поперек Пенджаба, провинции немалой, и в местах невероятно засушливых. Он заявил, что не позволит этим помощникам комиссаров, всяким там деревенским пройдохам, водить его за нос; он уж им-де покажет.

У большинства помощников комиссаров, стоит им пожариться под здешним солнцем, возникает склонность к необычным занятиям. Парни себе на уме имеют дальний прицел и дерутся за такие богом забытые места, как Банну и Кохат. Желчные личности пролезают в Секретариат, который,

---

[10] notes: 10

…горец из-за Скиптона… — Один из героев рассказа, Нэффертон, — уроженец северной части Англии, где возле городка Скиптон между опасных скал Стрид протекает река Уорф. Пайнкоффин с юга, где климат и характеры мягче.

кстати, дурно влияет на печень. Другие помешаны на работе в Округе, газнивидских монетах или персидской поэзии. А те, у которых в жилах течет крестьянская кровь, чувствуют, как после дождей запах земли пронизывает их до мозга костей и зовет «возделывать нивы Провинции». Эти люди — энтузиасты. К их породе принадлежит Пайнкоффин. Он знает уйму всякой всячины — сколько стоят волы, и временные колодцы, и скребки для опия, и что случается, если перестараться с пожогом травы и сушняка на полях, удобряя истощенную почву. Все Пайнкоффины — исконные землевладельцы, а земля просто-напросто получает обратно то, что принадлежит ей. Но несчастьем, самым большим несчастьем для Пайнкоффина было то, что он был не только фермером, но и Гражданином. Нэффертон наблюдал за ним и все время думал о лошади. Он мне сказал: «Погоняю-ка я, пожалуй, этого парня, пока он себе шею не сломает». Я возразил: «Вы не имеете права измываться над помощником комиссара». Нэффертон на это заявил, что я ничего не смыслю в провинциальном управлении.

Правительство наше не без причуд. Оно заваливает всех уймой сельскохозяйственной и другой информации, а уж человека, достаточно уважае-

мого, снабдит любыми видами «экономической статистики», если тот к нему подобающе обратится. Вот вы, к примеру, интересуетесь промывкой золотоносных песков Сатледжа. Только дерните за веревочку, и вы сами убедитесь, что откликнется полдюжины департаментов и в конце концов вас свяжут, скажем, с вашим же коллегой по «Телеграфу», который когда-то где-то черкнул пару строк об обычаях золотопромывщиков, побывав на строительных работах в этой части Империи. Еще неизвестно, понравится ему или нет по указке выложить вам все, что он знает. Тут все зависит от темперамента. Чем значительней ваша персона, тем обширнее будут полученные вами сведения и тем больше поднятая суматоха.

Нэффертон не был большим человеком, но репутация у него была личности крайне «серьезной». Человек серьезный может себе кое-что позволить с правительством. Был однажды один такой серьезный человек, который чуть не погорел… да вся Индия наслышана про эту историю. Я лично не знаю, что такое истинная «серьезность». Под серьезного человека, кстати, вполне сносно можно подделаться — одевайтесь с нужной долей небрежности, слоняйтесь с отрешенным и мечтательным видом, забирайте деловые бумаги

домой, после того как уже просидели на службе до семи, и принимайте толпы местных джентльменов по воскресеньям — вот вам один из видов «серьезности».

Нэффертон долго думал, как сыграть на своей серьезности и как похлестче разыграть Пайнкоффина. Он убил двух зайцев одним ударом — этим ударом была Свинья. Нэффертон стал самым серьезным образом наводить справки о свиньях. Он сообщил правительству, что разработал план, который даст возможность с невероятной экономичностью прокормить свининой значительную часть британской армии в Индии. Затем он намекнул, что Пайнкоффин может предоставить ему разнообразную информацию, «столь необходимую для правильного подхода к делу». Правительство, в свою очередь, наложило резолюцию на обратной стороне письма: «Уведомляем мистера Пайнкоффина в необходимости сообщить мистеру Нэффертону все сведения, которыми он располагает». Правительство вообще чрезвычайно склонно делать всякие пометки на обороте писем, что приводит в конечном итоге лишь к беспорядку и путанице.

У Нэффертона не было ни малейшего интереса к свиньям, но он прекрасно знал, что Пайнкоф-

фин попадется в ловушку. Пайнкоффин был вне себя от возможности дать консультации по свиньям. В Индии свинья, собственно, не столь уж важный фактор в сельском хозяйстве. Но Нэффертон растолковал Пайнкоффину, что в этой области имеются резервы для развития, и попал прямо в точку.

Вы, видимо, думаете, что от свиньи нет особого проку. Все зависит от того, как поставить дело. Пайнкоффин был Гражданином и, стремясь делать все тщательно, начал с трактата о примитивной свинье, мифологии свиньи и о дравидской свинье. Нэффертон подшил эту информацию — двадцать семь листов отнюдь не малого формата — и пожелал узнать, как свинья распространена в Пенджабе и как она переносит жару в долинах. При дальнейшем чтении прошу вас помнить, что освещаю вам дело в самых общих чертах — это как бы отдельные ванты в паутине, которой Нэффертон оплел Пайнкоффина.

Пайнкоффин составил цветную карту распространения свиных популяций и собрал данные по сравнительной продолжительности жизни свиньи: (а) у подножья Гималаев и (б) в Рехна Доаб. Нэффертон подшил к делу и это, а затем спросил, какие люди смотрят за свиньями. Этот

вопрос дал толчок рассуждениям об этнологии свинопасов, и из Пайнкоффина посыпались бесконечные таблицы, показывающие число представителей данной касты на тысячу жителей в Дераджате. Нэффертон подшил и эту кипу и объяснил, что хотел бы располагать цифрами по штатам, расположенным за Сатледжем, где, по его разумению, были превосходные крупные свиньи и где было бы целесообразней всего развивать свиноводство. К этому времени люди в правительстве совсем забыли о своих распоряжениях мистеру Пайнкоффину. Они были как те джентльмены из поэмы Китса[11], которые ловко вращали жернова, чтобы ободрать кожу с других. Но Пайнкоффин уже с головой ушел в свиноискательство, на что Нэффертон и рассчитывал. У него была уйма своей работы, но он просиживал ночи напролет, переводя свиней в стотысячные дроби, дабы не ударить в грязь лицом. Он не собирался прослыть неосведомленным по такому ерундовому вопросу, как свинья.

---

[11] notes: 11

…джентльмены из поэмы Китса… — В поэме Китса «Изабелла», основанной на новелле Боккаччо, рассказывается об итальянских купцах, собиравших богатства по всему свету, в том числе с Цейлона. «Для них одних трудились тысячи людей в теснинах темных и глубоких. Не ведая зачем, они вращали послушное колесо, которым приводились в движение острые зубцы, сдиравшие кожу» (строфа пятнадцатая).

В это время правительство направило его со специальным заданием в Кохат, для того чтобы «ознакомиться» с большими, в семь футов, железными заступами. Этими мирными орудиями люди приканчивали друг друга, и правительство желало знать, «не мог ли какой-нибудь модифицированный тип орудия в опытном порядке и как временная мера быть введен в употребление среди земледельческого населения без ненужного и чрезмерного обострения существующих религиозных чувств крестьянства».

Пайнкоффин буквально разрывался между этими заступами и Нэффертоновыми свиньями.

Нэффертон опять принялся за свое: «(а) как обеспечить местных свиней кормами с расчетом на улучшение их мясообразовательных способностей; (б) как акклиматизировать привозных свиней, сохранив их отличительные особенности». Пайнкоффин исчерпывающе ответил, что чужеземная свинья сольется с местной породой; для доказательства он приводил статистику по выведению пород лошадей. Этот несущественный вопрос подробно и нудно обсасывался самим Пайнкоффином до тех пор, пока Нэффертон не признал, что был неправ, и не поставил предыдущий вопрос. Когда Пайнкоффин совсем исписался

на тему и о мясообразовании, и о фибрине, и о глюкозе, и об азотистых компонентах кукурузы и люцерны, Нэффертон поднял вопрос о затратах. Ко времени возвращения из Кохата у Пайнкоффина была разработана своя собственная теория о свиньях, которую он развивал на тридцати трех страницах in folio — все до одной были заботливо подшиты Нэффертоном, но ему и этого было мало.

Прошло десять месяцев, и интерес Пайнкоффина к потенциальному свиноводству стал вроде бы затихать, особенно с тех пор, как он стал развивать собственные воззрения. А от Нэффертона все продолжали сыпаться письма с вопросами «об общегосударственном аспекте этой проблемы, исходя из намерения легализовать продажу свинины, что может вызвать недовольство мусульманского населения Верхней Индии». Он догадывался, что после всех этих пустяков, занудств и мелочных ковыряний Пайнкоффину явно не хватает размаха, работы с развязанными руками. И действительно, Пайнкоффин расправился с последним вопросом мастерски и доказал, «что нет оснований опасаться взрыва народного гнева». Нэффертон ответил, что только Гражданин может так глубоко проникнуть в суть

дела, и походя искусил его «возможными выгодами, которые может получить правительство от продажи свиной щетины». По свиной щетине имеется огромная литература, а обувщики и торговцы щетками и красками различают гораздо больше разновидностей щетины, чем вы можете себе представить. Слегка поразившись Нэффертоновой страсти к информации, Пайнкоффин выслал монографию на пятидесяти одной странице: «Продукты, получаемые из свиньи». Тут уж его понесло, под чутким руководством Нэффертона, прямиком к фабрикам Канпура, где свиные кожи идут на седла, а оттуда к дубильщикам. Пайнкоффин написал, что лучшее средство для обработки свиных кож — семя граната, и заметил (минувшие четырнадцать месяцев изрядно измотали его), что Нэффертону «поначалу надо бы развести свиней, а уж потом дубить их кожу».

Нэффертон вернулся ко второму разделу пятого вопроса. Каким образом можно добиться, чтобы чужеземная свинья давала столько же свинины, сколько она дает на Западе, и при этом «приобрела бы ту же волосатость, что и ее восточный сородич»? У Пайнкоффина мороз пошел по коже, потому что он уже забыл все, о чем писал шестнадцать месяцев назад, и был близок к тому, чтобы

начать все сначала. Он слишком далеко зашел в дебри, чтобы отступиться, и в порыве минутной слабости написал: «Обратитесь к моему первому письму»; оно касалось дравидской свиньи. На самом деле Пайнкоффин должен был добраться до акклиматизации, а скатился на второстепенный вопрос о скрещивании видов.

Вот уж когда Нэффертон полностью раскрыл свои карты! Он величавым слогом выразил правительству недовольство «недостаточностью предоставленной помощи в моих серьезных намерениях положить начало предприятию, которое воздастся сторицей, и легкомысленным отношением к моим запросам об информации со стороны джентльмена, чья псевдоученость едва позволяет ему понять основные различия хотя бы между дравидской и беркширской разновидностью рода Sus.[12] Если следует понимать, что письмо, к которому он меня отсылает, содержит его серьезные воззрения на акклиматизацию этого ценного, хотя, возможно, и не слишком чистоплотного животного, то я с трудом вынужден поверить» и т. д. и т. п.

Во главе отдела жалоб был новый человек.

---

[12] notes: 12
Свинья (лат.).

Несчастному Пайнкоффину было заявлено, что Служба создана для Страны, а не Страна для Службы и что для него было бы лучше добросовестно предоставлять информацию о свиньях.

Пайнкоффин ответил, как безумный, что он написал все, что может быть вообще написано о свиньях, и что ему полагается отпуск.

Нэффертон получил копию этого письма и послал его вместе с опусом о дравидской свинье в центральную газету, которая напечатала и то и другое полностью. Опус был написан в довольно возвышенных тонах, но если бы редактор видел на столе Нэффертона груды бумаги, исписанные рукой Пайнкоффина, он бы не был так саркастичен насчет «расплывчатых разглагольствований и вопиющей самоуверенности современного карьериста, а также его крайней неспособности постичь практическую суть практического вопроса». Многие из знакомых вырезали эти заметки и послали их Пайнкоффину.

Я уже констатировал, что Пайнкоффин был человеком мягкотелым. Этот последний удар испугал и потряс его. Он ничего не мог понять, но чувствовал, что Нэффертон так или иначе одурачил его самым бессовестным образом. Он понимал, что сам без надобности влез в свиную

шкуру и уже не сможет вывести правительство из заблуждения. Все знакомые осведомлялись о его «расплывчатых разглагольствованиях» и «вопиющей самоуверенности», и это убивало его.

Он сел в поезд и отправился к Нэффертону, которого не видел с тех пор, как началось все это свинское предприятие. Он размахивал вырезкой из газеты, кричал что-то невразумительное и оскорблял Нэффертона, а потом сник и еле слышно промямлил: «Я-говорю-это-слишком-гадко-вы-знаете».

Нэффертон проявил необычайное участие.

— Боюсь, что задал вам порядочно хлопот, не правда ли? — сказал он.

— Хлопот! — прохныкал Пайнкоффин. — Хлопоты — это еще ничего, хоть радости мало… но меня возмущает, что это обнародовано. Эта история, как репей, пристанет ко мне на всю жизнь. А я-то делал все, что мог, для вашего неиссякаемого хряка. Гадко вы поступили, ей-богу!

— Не знаю, — сказал Нэффертон. — Вас когда-нибудь ударяла лошадь? Выброшенные деньги — это еще ничего, хоть радости мало, но меня возмущает, что надо мной смеются, причем смеется тот, кто меня же надул. Ну, я думаю, мы можем пойти на мировую.

Пайнкоффину только и оставалось, что крепко выразиться; а Нэффертон чрезвычайно приветливо улыбнулся и пригласил его к ужину.

БИМИ[13]

Перевод В. Голышева

Беседу начал орангутанг в большой железной клетке, принайтованной к овечьему загону. Ночь была душная, и, когда мы с Гансом Брайтманом прошли мимо него, волоча наши постели на форпик парохода, он поднялся и непристойно затараторил. Его поймали где-то на Малайском архипелаге и везли показывать англичанам, по шиллингу с головы. Четыре дня он беспрерывно бился, кричал, тряс толстые железные прутья своей тюрьмы и чуть не убил матроса-индийца, неосторожно оказавшегося там, куда доставала длинная волосатая лапа.

— Тебе бы не повредило, мой друг, немножко морской болезни, — сказал Ганс Брайтман, задержавшись возле клетки. — В твоем Космосе слишком много Эго.

Орангутанг лениво просунул лапу между прутьями. Никто бы не поверил, что она может по-змеиному внезапно кинуться к груди немца.

---

[13] notes: 13
Вошло в сборник «Жизнь не дает форы».

Тонкий шелк пижамы треснул, Ганс равнодушно отступил и оторвал банан от грозди, висевшей возле шлюпки.

— Слишком много Эго, — повторил он, сняв с банана кожуру и протягивая его пленному дьяволу, который раздирал шелк в клочья.

Мы постелили себе на носу среди спавших матросов-индийцев, чтобы обдавало встречным ветерком — насколько позволял ход судна. Море было, как дымчатое масло, но под форштевнем оно загоралось, убегая назад, в темноту, клубами тусклого пламени. Где-то далеко шла гроза: мы видели ее зарницы. Корабельная корова, угнетенная жарой и запахом зверя в клетке, время от времени горестно мычала, и в тон ей отзывался ежечасно на оклик с мостика впередсмотрящий. Внятно слышался тяжелый перебор судовой машины, и только лязг зольного подъемника, когда он опрокидывался в море, разрывал эту череду приглушенных звуков. Ганс лег рядом со мной и закурил на сон грядущий сигару. Это, естественно, располагало к беседе. У него был успокаивающий, как ропот моря, голос и, как само море, неисчерпаемый запас историй, ибо занятием его было странствовать по свету и собирать орхидеи, диких животных и этнологи-

ческие экспонаты для немецких и американских заказчиков. Вспыхивал и гас в сумраке огонек его сигары, накатывалась за фразой фраза, и скоро я стал дремать. Орангутанг, растревоженный какими-то снами о лесах и воле, завопил, как душа в чистилище, и бешено затряс прутья клетки.

— Если бы он сейчас выходил, от нас бы мало что оставалось, — лениво промолвил Ганс. — Хорошо кричит. Смотрите, сейчас я его буду укрощать, когда он немножко перестанет.

Крик смолк на секунду, и с губ Ганса сорвалось змеиное шипение, настолько натуральное, что я чуть не вскочил. Протяжный леденящий звук скользнул по палубе, и тряска прутьев прекратилась. Орангутанг дрожал, вне себя от ужаса.

— Я его остановил, — сказал Ганс. — Я научился этот фокус в Могун Танджунге, когда ловил маленькие обезьянки для Берлина. Все на свете боятся обезьянок, кроме змеи. Вот я играю змея против обезьянки, и она совсем замирает. В его Космосе было слишком много Эго. Это есть душевный обычай обезьян. Вы спите или вы хотите послушать, и тогда я вам расскажу история, такая, что вы не поверите?

— Нет такой истории на свете, которой бы я не поверил, — ответил я.

— Если вы научились верить, вы уже кое-чему научились в жизни. Так вот, я сделаю испытание для вашей веры. Хорошо! Когда я эти маленькие обезьянки собирал — это было в семьдесят девятом или восьмидесятом году на островах Архипелага, вон там, где темно, — он показал на юг, примерно в сторону Новой Гвинеи, — Майн Готт![14] Лучше живые черти собирать, чем эти обезьянки. То они откусывают ваши пальцы, то умирают от ностальгия — тоска по родине, — потому что они имеют несовершенная душа, которая остановилась развиваться на полпути, и — слишком много Эго. Я был там почти год и там встречался с человеком по имени Бертран. Он был француз и хороший человек — натуралист до мозга костей. Говорили, что он есть беглый каторжник, но он был натуралист, и этого с меня довольно. Он вызывал из леса все живые твари, и они выходили. Я говорил, что он есть Святой Франциск Ассизский, произведенный в новое воплощение, а он смеялся и говорил, что никогда не проповедовал рыбам. Он продавал их за трепанг — beche-de-mer.

И этот человек, который был король укротите-

---

[14] notes: 14
Боже мой! (нем.)

лей, он имел в своем доме вот такой в точности, как этот животный дьявол в клетке, — большой орангутанг, который думал, что он есть человек. Он его нашел, когда он был дитя — этот орангутанг — и он был дитя и брат и комише опера для Бертрана. Он имел в его доме собственная комната, не клетка — комната, — с кровать и простыни, и он ложился в кровать, и вставал утром, и курил своя сигара, и кушал свой обед с Бертраном, и гулял с ним под ручку — это было совсем ужасно. Герр Готт! Я видел, как этот зверь разваливался в кресле и хохотал, когда Бертран надо мной подшучивал. Он был не зверь, он был человек: он говорил с Бертраном, и Бертран его понимал — я сам это видел. И он всегда был вежливый со мной, если только я не слишком долго говорил с Бертраном, но ничего не говорил с ним. Тогда он меня оттаскивал — большой черный дьявол — своими громадными лапами, как будто я был дитя. Он был не зверь: он был человек. Я это понимал прежде, чем был знаком с ним три месяца, — и Бертран тоже понимал; а Бими, орангутанг со своей сигарой в волчьих зубах с синие десны, понимал нас обоих.

Я был там год — там и на других островах — иногда за обезьянками, а иногда за бабочками и

орхидеями. Один раз Бертран мне говорит, что он женится, потому что он нашел себе хорошая девушка, и спрашивает, как мне нравится эта идея жениться. Я ничего не говорил, потому что это не я думал жениться. Тогда он начал ухаживать за этой девушкой, она была французская полукровка — очень хорошенькая. Вы имеете новый огонь для моей сигары? Погасло? Очень хорошенькая. Но я говорю: «А вы подумали о Бими? Если он меня оттаскивает, когда я с вами говорю, что он сделает с вашей женой? Он растащит ее на куски. На вашем месте, Бертран, я бы подарил моей жене на свадьбу чучело Бими». В то время я уже кое-что знал про эта обезьянья публика. «Застрелить его?» — говорит Бертран. «Это ваш зверь, — говорю я, — если бы он был мой, он бы уже был застрелен».

Тут я почувствовал на моем затылке пальцы Бими. Майн Готт! Вы слышите, он этими пальцами говорил. Это был глухонемой алфавит, целиком и полностью. Он просунул своя волосатая рука вокруг моя шея и задрал мне подбородок и посмотрел в лицо — проверить, понял ли я его разговор так хорошо, как он понял мой.

«Ну, посмотрите! — говорит Бертран. — Он вас обнимает, а вы хотите его застрелить? Вот она,

тевтонская неблагодарность!»

Но я знал, что сделал Бими моим смертельным врагом, потому что его пальцы говорили убийство в мой затылок. В следующий раз, когда я видел Бими, я имел на поясе пистолет, и он до него дотронулся, а я открыл затвор — показать ему, что он заряжен. Он видел, как в лесах убивают обезьянки, и он понял.

Одним словом, Бертран женился и совсем забыл про Бими, который бегал один по берегу, с половиной человечьей душа в своем брюхе. Я видел, как он там бегал, и он хватал большой сук и хлестал песок, пока не получалась яма, большая, как могила. И я говорю Бертрану: «Ради всего на свете, убей Бими. Он сошел с ума от ревности».

Бертран сказал: «Он совсем не сошел с ума. Он слушается и любит мою жену, и если она говорит, он приносит ей шлепанцы», — и он посмотрел на своя жена на другой конце комната. Она была очень хорошенькая девушка.

Тогда я ему сказал: «Ты претендуешь знать обезьяны и этот зверь, который доводит себя на песках до бешенства, от того что ты с ним не разговариваешь? Застрели его, когда он вернется в дом, потому что он имеет в своих глазах огонь, который говорит убийство — убийство». Бими

пришел в дом, но у него в глазах не был огонь. Он был спрятан, коварно — о, коварно, — и он принес девушке шлепанцы, а Бертран, он повернулся ко мне и говорит: «Или ты лучше узнал его за девять месяцев, чем я за двенадцать лет? Разве дитя зарежет свой отец? Я выкормил его, и он мое дитя. Больше не говори эта чепуха моей жене и мне».

На другой день Бертран пришел в мой дом, помогать мне с деревянные ящики для образцов, и он мне сказал, что пока оставлял жену с Бими в саду. Тогда я быстро кончаю мои ящики и говорю: «Пойдем в твой дом, промочим горло». Он засмеялся и говорит: «Пошли, сухой человек».

Его жена не была в саду, и Бими не пришел, когда Бертран позвал. И жена не пришла, когда он позвал, и он стал стучать в ее спальня, которая была крепко закрыта — заперта. Тогда он посмотрел на меня, и лицо у него было белое. Я сломал дверь сплеча, и в пальмовой крыше была огромная дыра, и на пол светило солнце. Вы когда-нибудь видели бумага в мусорной корзине или карты, разбросанные по столу во время вист? Никакой жены увидеть было нельзя. Вы слышите, в комнате не было ничего похожего на женщина. Только вещество на полу, и ничего больше. Я поглядел на эти вещи, и мне стало очень плохо; но

Бертран, он глядел немножко дольше на то, что было на полу, и на стенах, и на дырка в крыше. Потом он начал смеяться, так мягко и тихо, и я понял, что он, слава Богу, сошел с ума. Совсем не плакал, совсем не молился. Он стоял неподвижно в дверях и смеялся сам с собой. Потом он сказал: «Она заперлась в комнате, а он сорвал крыша. Fi donc. Именно так. Мы починим крыша и подождем Бими. Он непременно придет».

Вы слышите, после того как мы снова превратили комната в комната, мы ждали в этом доме десять дней и раза два видели, как Бими немножко выходил из леса. Он боялся, потому что он нехорошо поступал. На десятый день, когда он подошел посмотреть, Бертран его позвал, и Бими побежал припрыжку по берегу и издавал звуки, а в руке имел длинный прядь черного волоса. Тогда Бертран смеется и говорит: «Fi donc!» — как будто он просто разбил стакан на столе; и Бими подходил ближе, потому что Бертран говорит с таким сладким нежным голосом и смеется сам с собой. Три дня он ухаживал за Бими, потому что Бими не давал до себя дотронуться. Потом Бими сел обедать с нами за один стол, и шерсть на его руках была вся черная и жесткая от… от того, что на его руках засохло. Бертран подливал

ему сангари, пока Бими не стал пьяный и глупый и тогда…

Ганс умолк, попыхивая сигарой.

— И тогда? — сказал я.

— И тогда Бертран убивал его голыми руками, а я пошел погулять по берегу. Это было Бертрана частное дело. Когда я пришел, обезьяна Бими был мертвый, а Бертран, он умирал на нем; но он все еще так немножко тихо смеялся, и он был совсем довольный. Вы ведь знаете формула для силы орангутанг — это есть семь к одному относительно человека. А Бертран — он убивал Бими тем, чем его вооружал Господь. Это есть чудо.

Адский грохот в клетке возобновился.

— Ага! Наш друг все еще имеет в своем Космосе слишком много Эго. Замолчи, ты!

Ганс зашипел протяжно и злобно. Мы услышали, как большой зверь задрожал у себя в клетке.

— Но почему, скажите, ради Бога, вы не помогли Бертрану и дали ему погибнуть? — спросил я.

— Друг мой, — ответил Ганс, поудобнее располагаясь ко сну, — даже мне было не слишком приятно, что я должен жить после того, что я видел эта комната с дыркой в крыше. А Бертран — он был ее муж. Спокойной вам ночи и приятного сна.



АГАСФЕР[15]

Перевод М. Клягиной-Кондратьевой

— Если вы объедете вокруг света в восточном направлении, вы выиграете один день, — говорили Джону Хэю люди науки. В последующие годы Джон Хэй ездил на восток, на запад, на север, на юг, делал дела, влюблялся и создавал семью, подобно многим людям, и вышеупомянутое научное сведение лежало забытым в глубинах его сознания вместе с тысячами других, столь же важных.

Когда один его богатый родственник умер, он оказался гораздо более состоятельным, чем мог ожидать этого от своей прежней деятельности, которая была разнородной и дурной. Однако еще задолго до того, как досталось ему это наследство, в мозгу Джона Хэя завелась маленькая тучка — мгновенное затемнение сознания, которое наступало и прекращалось, пожалуй, раньше даже, чем он сам замечал нарушение непрерывности мыслей. Так летучие мыши начинают порхать

---

[15] notes: 15

Впервые рассказ опубликован в сборнике «Жизнь не дает форы».

вокруг карнизов дома, предвещая наступление темноты. Он вступил во владение огромным состоянием, заключавшемся в деньгах, землях и домах, но за его радостью стоял призрак, кричавший, что не долго он будет наслаждаться этими вещами. Это был призрак богатого родственника, которому позволили сойти на землю, чтобы вогнать в гроб племянника. И вот, под острием этого постоянного напоминания, Джон Хэй, продолжая носить маску тяжеловатой, деловитой тупости, скрывавшей тень на его душе, обратил ценные бумаги, дома, земли в соверены — полновесные, круглые, червонные английские соверены стоимостью в двадцать шиллингов каждый. Земли могут упасть в цене, а дома взлететь к небу на крыльях алого пламени, но соверен до самого Судного дня останется совереном, то есть владыкой наслаждений.

Обладая этими соверенами, Джон Хэй охотно истратил бы их один за другим на грубые удовольствия, которые нравились его душе; но его преследовал неотвязный страх смерти; ибо призрак родственника стоял в прихожей его дома, рядом с вешалкой для шляп, и кричал у лестницы вверх, что жизнь коротка, что нет надежды умножить дни и что гробовщики уже обтесывают

гроб для его племянника. Джон Хэй обычно сидел один в своем доме, а если у него и собиралась компания, то ведь приятели его не могли слышать крикливого дядюшку. Тень в мозгу его ширилась и чернела. Страх смерти сводил Джона Хея с ума.

И вот из глубин его сознания, куда он прятал все ненужные сведения, вылез на поверхность научный факт о путешествии на восток. Когда дядя в следующий раз стал кричать ему вверх по лестнице, убеждая его торопиться и жить, некий еще более пронзительный голос крикнул:

— Кто один раз объедет вокруг света в восточном направлении, выиграет один день.

Растущая мнительность и недоверие к человечеству помешали Джону Хэю сообщить эту драгоценную весть надежды приятелям. Они, пожалуй, способны были заинтересоваться ею и проанализировать ее. Он был убежден в ее истинности, но мысль о том, что грубые руки будут ощупывать ее слишком бесцеремонно, причиняла ему острую боль. Он один из всех труждающихся человеческих поколений удостоился познать тайну бессмертия. Было бы нечестием, противным всем намерениям творца, заставить все человечество броситься на восток. Кроме того, пароходы оказались бы тогда пере-

полненными, что лишает путешествие удобств, а Джон Хэй превыше всего стремился к одиночеству. Если ему удастся объехать вокруг света в два месяца, — он читал, что какой-то человек, имя которого он не мог вспомнить, покрыл все расстояние в восемьдесят дней, — то он выиграет целые сутки, а если будет упорно продолжать это в течение тридцати лет, то выиграет сто восемьдесят дней, то есть почти полгода. Это не много, но с течением времени, когда цивилизация сделает шаг вперед и железная дорога пройдет по долине Евфрата, он сможет увеличить скорость.

Вооруженный многими соверенами, Джон Хэй на тридцать пятом году от рождения пустился в путь, и два голоса сопутствовали ему от самого Дувра, когда он плыл в Кале. Судьба ему благоприятствовала. Железная дорога Евфратской долины только что начала действовать, и он был первым человеком, взявшим билет прямого сообщения от Кале до Калькутты — тринадцать дней в поезде. Тринадцать дней в поезде плохо отзываются на нервах, но он вернулся в Кале через Америку, объехав мир в два месяца и двенадцать дней, и начал сызнова, выиграв двадцать четыре часа драгоценного времени. Три года прошло, а Джон Хэй упорно ездил вокруг земли в поисках лиш-

него времени, чтобы в течение его насладиться остатками своих соверенов. Его признали на многих линиях как человека, который стремится беспрерывно ездить. Когда люди спрашивали его, кто он такой и что делает, он отвечал:

— Я человек, решивший жить вечно, и я пытаюсь добиться этого.

Дни его были заняты тем, что он смотрел либо на белый след, тянувшийся за кормой самых быстроходных пароходов, либо на темную землю, летевшую за окнами самых скорых поездов, и он отмечал в своей записной книжке каждую минуту, исторгнутую им у безжалостной вечности.

— Это лучше, чем молиться о долгой жизни, — произнес Джон Хэй, обратив лицо к востоку и приступая к своему двадцатому путешествию. Годы сделали для него больше, чем он смел ожидать. Удлинение железнодорожной линии по долине Брамапутры, соединявшейся теперь с недавно построенной магистралью по Среднему Китаю, привело к тому, что по билету, взятому в Кале, можно было через Карачи и Калькутту проехать до Гонконга. Теперь кругосветное путешествие можно было совершить в сорок семь дней с небольшим, и тут, охваченный роковым ликованием, Джон Хэй поведал тайну своего

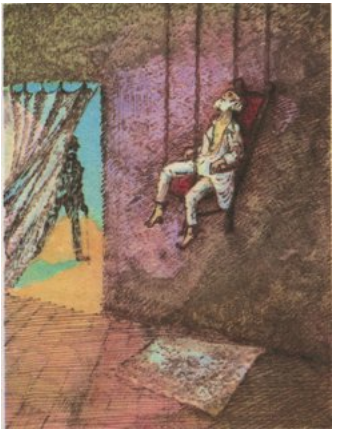
долголетия единственному своему другу — женщине, сторожившей его квартиру в Лондоне. Он высказался и уехал, но домоправительница была предприимчива и немедленно посоветовалась с юристами, впервые сообщившими Джону Хэю о его золотом наследстве. У него оставалось еще очень много соверенов, и другой Хэй жаждал истратить их на что-нибудь более дельное, чем железнодорожные билеты и пароходные каюты.

Погоня была очень долгой, ибо, когда человек путешествует буквально ради сохранения милой жизни, он не задерживается на дороге. Хэй снова обежал вокруг света и в Мадрасе нагнал посланного за ним в погоню истомленного доктора. Здесь он обрел награду за свои труды и уверенность в желанном бессмертии. В течение получаса доктор, не отрывавший глаз от его запекшихся губ, дрожащих рук и вечно устремленного на восток взора, убедил Джона Хэя отдохнуть в маленьком домике, стоявшем у самого мадрасского взморья. Все, что требуется Хэю, это — висеть на веревках, прикрепленных к потолку комнаты, и позволять круглой земле свободно вертеться под ним. Это лучше, чем пароход или поезд, ибо так он выиграет день на день, уподобляясь тем самым неумирающему солнцу.

Другой Хэй обязался оплачивать его расходы в течение вечности.

Мы, правда, все еще не можем брать билетов от Кале до Гонконга, хотя через пятнадцать лет это будет возможно, но говорят, что, если вы отправитесь бродить вдоль южного берега Индии, вы найдете в чисто выбеленном маленьком *бангала* на кресле, подвешенном к потолку, над тонким листом стали, — которая, как известно, так хорошо уничтожает земное притяжение, — старого дряхлого человека, чье лицо всегда обращено на восход солнца; с секундомером в руке он бежит наперегонки с вечностью. Он не может пить, он не курит, и расходы на его содержание вряд ли превышают двадцать пять рупий в месяц, но он Бессмертный Джон Хэй. Он слышит, как снаружи грохочет вращающийся мир, с которым, как он спешит объяснить, у него уже нет никаких сношений. Но если вы скажете, что это только шум прибоя, он горько заплачет, ибо тень в мозгу его исчезает, когда мозг прерывает свою работу, и он иногда сомневается в том, что доктор говорил правду.

Почему солнце не остается всегда у меня над головой? — спрашивает Джон Хэй.



МОТИ-ГАДЖ, МЯТЕЖНИК[16]

Перевод М. Клягиной-Кондратьевой

Жил-был некогда в Индии один плантатор, решивший расчистить участок леса под кофейные плантации. Когда он срубил все деревья и выжег подлесок, остались еще пни. Динамит дорог, медленный огонь действует медленно. Лучшее орудие для корчевания пней — владыка всех зверей слон. Он либо выкапывает пень из земли своими бивнями, если сохранил их, либо вытаскивает его при помощи канатов. Итак, плантатор стал нанимать слонов поодиночке, по два, по три и приступил к работе. Лучший из слонов принадлежал худшему из *махаутов*, и звали это великолепное животное Моти-Гадж. Он был неотъемлемой собственностью своего *махаута*, что было бы немыслимо при туземном самоуправлении, ибо Моти-Гадж был животным, достойным царей, а имя его в переводе значит «слон-перл». Но страной управляла Британия, и *махаут* Диса невозбранно владел своей собствен-

[16] notes: 16

Впервые опубликован в сборнике «Мой народ», затем вошел в сборник «Жизнь не дает форы».

ностью. Это был беспутный малый. Заработав много денег с помощью своего слона, он вдребезги напивался и бил Моти-Гаджа шестом от палатки по чувствительным ногтям передних ног. Моти-Гадж тогда не затаптывал Дису до смерти лишь потому, что знал: после побоев Диса будет обнимать его хобот, плакать и называть его своей любовью, и своей жизнью, и печенью своей души и напоит его каким-нибудь крепким напитком. Моти-Гадж очень любил спиртные напитки, особенно арак, но охотно пил и пальмовое вино, если ничего лучшего не предлагали. Потом Диса ложился спать между передними ногами Моти-Гаджа, обычно располагаясь поперек большой дороги, а Моти-Гадж сторожил его, не пропуская ни конных, ни пеших, ни повозок, поэтому все движение останавливалось, и пробка не рассасывалась, пока Диса не соблаговолял проснуться.

Днем на плантаторской вырубке спать не приходилось: нельзя было рисковать большим жалованьем. Диса сидел на шее Моти-Гаджа и отдавал ему приказания, а Моти-Гадж выкорчевывал пни — ибо он владел парой великолепных бивней, или тянул канаты — ибо у него была пара великолепных плеч, а Диса хлопал его по голове за ушами и называл царем слонов. Вечером Моти-

Гадж запивал свои триста фунтов свежей зелени квартой арака, а Диса тоже получал свою долю и пел песни, сидя между ногами Моти-Гаджа, пока не наступало время ложиться спать. Раз в неделю Диса уводил Моти-Гаджа вниз, на реку, и Моти-Гадж блаженно лежал на боку в мелком месте, а Диса прохаживался по нему с кокосовой шваброй и кирпичом в руках. Моти-Гадж прекрасно отличал тяжелый удар второго от шлепка первой, возвещавшего, что нужно встать и перевалиться на другой бок. Потом Диса осматривал его ноги и глаза и отвертывал края его огромных ушей, ища, нет ли где язв и не началось ли воспаление глаз. После осмотра оба «с песней вставали из моря», и Моти-Гадж, черный и блестящий, обмахивался сорванной с дерева двенадцатифутовой веткой, которую держал хоботом, а Диса закручивал узлом свои длинные мокрые волосы.

Мирная, выгодная работа продолжалась, пока Диса вновь не ощутил потребности напиться вдребезги. Он жаждал настоящей оргии. Скудные, тихие выпивки только расслабляли его.

Он подошел к плантатору и сказал, рыдая:

— Моя мать умерла.

— Она умерла на прежней плантации, два месяца назад, а еще раньше умерла, когда ты работал у

меня в прошлом году, — сказал плантатор, неплохо знакомый с нравами местного населения.

— Значит, это моя тетка, она была мне все равно что мать, — еще горше заплакал Диса. — Она оставила восемнадцать человек малолетних детей совершенно без хлеба, и я обязан наполнить их животики, — продолжал Диса, стукаясь головой об пол.

— Кто тебе сообщил об этом? — спросил плантатор.

— Почта, — ответил Диса.

— Почты не было уже целую неделю. Ступай обратно на свой участок!

— На деревню мою напала опустошительная хворь, и все жены мои умирают! — завопил Диса, теперь уже искренне заливаясь слезами.

— Кликните Чихана — он из той же деревни, что и Диса, — приказал плантатор. — Чихан, есть у этого человека жена?

— У него?! — воскликнул Чихан. — Нет. Ни одна женщина из нашей деревни на него и не взглянет. Они скорей выйдут замуж за слона.

Чихан фыркнул. Диса плакал навзрыд.

— Еще минута, и тебе плохо придется, — сказал плантатор. — Ступай на работу.

— Ну, теперь я скажу всю истинную правду,

— вдохновенно всхлипнул Диса. — Я уже два месяца не напивался. Я хочу уйти, чтобы выпить как следует вдали от этой райской плантации. Так я не причиню никакой неприятности.

По лицу плантатора пробежала улыбка.

— Диса, — начал он, — ты сказал правду, и я сейчас же отпустил бы тебя, если бы можно было справиться с Моти-Гаджем в твое отсутствие. Но ты знаешь, что он слушается только тебя.

— Да живет Сияние Небес сорок тысяч лет! Я уйду только на десять коротеньких деньков. А потом, клянусь моей верой, и честью, и душой, я вернусь. Ну а насчет того, что делать, пока я совсем недолго буду в отлучке, то не соизволит ли Небеснорожденный милостиво разрешить мне позвать сюда Моти-Гаджа?

Разрешение было дано, и в ответ на пронзительный крик Дисы величественный бивненосец выплыл из тени рощицы, где он обсыпал себя струей пыли в ожидании хозяина.

— Свет моего сердца, покровитель пьяниц, гора мощи, преклони ухо, — произнес Диса, становясь перед слоном.

Моти-Гадж преклонил ухо и в знак приветствия помахал хоботом.

— Я ухожу, — промолвил Диса.

Глаза Моти-Гаджа блеснули. Он не меньше хозяина любил прогулки. Ведь, гуляя, можно срывать с обочин всякие лакомства.

— Но ты, настырная старая свинья, ты останешься здесь и будешь работать.

Блеск глаз потух, хотя Моти-Гадж и старался казаться довольным. Он терпеть не мог таскать пни на плантации. От этого у него болели зубы.

— Я уйду на десять дней, о сладостный! Подними вот эту переднюю ногу, и я вдолблю тебе на ней мой приказ, бородавчатая жаба из высохшей грязной лужи.

Диса схватил шест от палатки и десять раз ударил Моти-Гаджа по ногтям. Моти-Гадж, ворча, переступал с ноги на ногу.

— Десять дней, — продолжал Диса, — ты должен будешь работать, таскать и вырывать с корнем деревья, как прикажет тебе вот этот человек, Чихан. Возьми Чихана и посади его себе на шею!

Моти-Гадж подвернул конец хобота, Чихан поставил на него ногу и взлетел на шею слона. Диса передал Чихану тяжелый анкуш — железную палку, которой погоняют слонов.

Чихан стукнул Моти-Гаджа по лысой голове, как мостильщик бьет по булыжнику.

Моти-Гадж затрубил.

— Тише, кабан из дремучего леса! Чихан будет десять дней твоим *махаутом*. А теперь попрощайся со мной, зверь моего сердца. О мой владыка, царь мой! Драгоценнейший из всех сотворенных слонов, лилия стада, береги свое почтенное здоровье, будь добродетелен! Прощай!

Моти-Гадж обвил хоботом Дису и дважды поднял его на воздух. Так он всегда прощался с хозяином.

— Он теперь будет работать, — уверял Диса плантатора. — Можно мне уйти?

Плантатор кивнул, и Диса нырнул в чащу леса. Моти-Гадж опять принялся вытаскивать пни.

Чихан обращался с ним очень хорошо, но, несмотря на это, слон чувствовал себя несчастным и одиноким. Чихан кормил его катышками из пряностей, после работы ребенок Чихана ласкался к нему, а Чиханова жена называла его милашкой, но Моти-Гадж, как и Диса, был убежденный холостяк. Он не понимал семейных чувств. Ему хотелось вернуть свет своей жизни — хмель, и хмельной сон, и дикие побои, и дикие ласки.

Тем не менее он, к удивлению плантатора, хорошо работал. А Диса — тот бродил по дорогам, пока не наткнулся на свадебную процессию чле-

нов своей касты, и тут он, пьянствуя, танцуя и кутя, понесся вслед за нею, потеряв всякое представление о времени.

Настал рассвет одиннадцатого дня, но Диса не вернулся. Моти-Гаджа отвязали, чтобы вести его на работу. Слон отряхнулся, огляделся, пожал плечами и пошел прочь, словно у него было дело в другом месте.

— Хай! Хо! Ступай назад, ты! — кричал ему вслед Чихан. — Ступай назад, недоношенная гора, и подними меня на свою шею. Вернись, о великолепие гор. Краса всей Индии, подними меня, не то я отобью тебе все пальцы на твоей толстой передней ноге!

Моти-Гадж мягко заворковал, но не послушался. Чихан помчался за ним с веревкой и поймал его. Моти-Гадж насторожил уши, а Чихан знал, что это значит, хоть и пытался еще настоять на своем при помощи ругательств.

— Не дури у меня! — кричал он. — Назад в загон, сын дьявола!

— Хррамп! — произнес Моти-Гадж и этим ограничился, если не считать настороженных ушей.

Приняв небрежный вид и жуя ветку, служившую ему зубочисткой, Моти-Гадж стал слоняться по вырубке, насмехаясь над другими слонами,

которые только что принялись за работу.

Чихан доложил о положении дел плантатору; тот вышел из дома с собачьей плеткой и в ярости защелкал ею. Моти-Гадж оказал белому человеку честь прогнать его чуть не четверть мили по вырубке и своими «хррампами» загнал его на веранду его дома. Затем он стал около этого дома и стоял там, смеясь про себя и, как все слоны, трясясь всем телом от смеха.

— Мы его выдерем, — решил плантатор. — Высечем так, как не секли еще ни одного слона. Дайте Кала-Нагу и Назиму по двенадцатифутовой цепи и велите им отвесить ему по двадцати ударов.

Кала-Наг — что значит «Черный змей» — и Назим были самыми крупными слонами на всем участке, и выполнение жестоких наказаний было их обязанностью, ибо ни один человек не может как следует побить слона.

Они взяли хоботами предназначенные для порки цепи и, гремя ими, двинулись к Моти-Гаджу, намереваясь стиснуть его с обеих сторон. Моти-Гаджа не секли ни разу за всю его тридцатидевятилетнюю жизнь, и он не желал приобретать новый опыт. Поэтому он стоял и ждал, покачивая головой справа налево и целясь на то самое место в жирном боку Кала-Нага, куда тупой бивень мог

проникнуть глубже всего. У Кала-Нага не было бивней, знаком его власти служила цепь; но в последнюю минуту он счел за лучшее отойти подальше от Моти-Гаджа и притвориться, будто он принес цепь только ради потехи. Назим повернулся и быстро ушел домой. В это утро он не был расположен драться, так что Моти-Гадж остался в одиночестве и стоял, насторожив уши.

Это заставило плантатора отступиться, а Моти-Гадж пошел прогуляться по вырубке. Когда слон не хочет работать и не привязан, с ним приблизительно так же легко справиться, как с корабельной пушкой весом в восемьдесят одну тонну, оторвавшейся во время сильной морской качки. Он хлопал старых приятелей по спине и спрашивал их, легко ли выдергиваются пни, нес всякую чепуху о работе и неотъемлемом праве слонов на долгий полуденный отдых и, бродя взад и вперед, успел перемутить все стадо еще до заката, а тогда вернулся в свой загон на кормежку.

— Не хочешь работать — не будешь есть, — сердито отрезал Чихан. — Ты дикий слон, а вовсе не благовоспитанное животное. Ступай в свои джунгли.

Крошечный смуглый ребенок Чихана, перекатываясь по полу хижины, протянул пухлые

ручонки к огромной тени в дверях. Моти-Гадж отлично знал, что Чихану это существо дороже всего на свете. Он вытянул вперед свой хобот с соблазнительно закрученным концом, и смуглый ребенок с криком бросился к нему. Моти-Гадж быстро обнял его хоботом, поднял вверх, и вот смуглый младенец уже ликовал в воздухе, на двенадцать футов выше головы своего отца.

— Великий владыка! — взмолился Чихан. — Самые лучшие мучные лепешки, числом двенадцать, по два фута в поперечнике и вымоченные в роме, будут твоими сию минуту, а кроме того, получишь двести фунтов свежесрезанного молодого сахарного тростника. Соизволь только благополучно опустить вниз этого ничтожного мальчишку, который для меня — как сердце мое и жизнь моя.

Моти-Гадж удобно устроил смуглого младенца между своими передними ногами, способными растоптать и превратить в зубочистки всю Чиханову хижину, и стал ждать пищи. Он съел ее, а смуглый ребенок уполз. Потом Моти-Гадж дремал, думая о Дисе. Одно из многих таинственных свойств слона заключается в том, что огромному его телу нужно меньше сна, чем любому другому живому существу. Ему довольно четырех

или пяти часов сна за ночь: два часа перед полночью он лежит на одном боку, два после часу ночи — на другом. Прочие часы безмолвия он заполняет едой, возней и долгими ворчливыми монологами.

Поэтому в полночь Моти-Гадж вышел из своего загона, ибо ему пришло в голову, что Диса лежит пьяный где-нибудь в темном лесу и некому присмотреть за ним. И вот он всю эту ночь напролет шлялся по зарослям, пыхтя, трубя и тряся ушами. Он спустился к реке и затрубил над отмелями, где Диса обычно купал его, но ответа не было. Дису он найти не смог, но зато переполошил всех слонов на участке и чуть не до смерти напугал каких-то цыган в лесу.

На рассвете Диса вернулся на плантацию. Он попьянствовал всласть и теперь ждал, что ему влетит за просрочку отпуска. Но увидев, что и хозяйский дом, и вся плантация целы и невредимы, он облегченно вздохнул (ведь он кое-что знал о характере Моти-Гаджа) и пошел доложить о себе, а докладывая, сопровождал свою речь многочисленными поклонами и безудержным враньем. Моти-Гадж ушел завтракать в свой загон. Он проголодался после ночной прогулки.

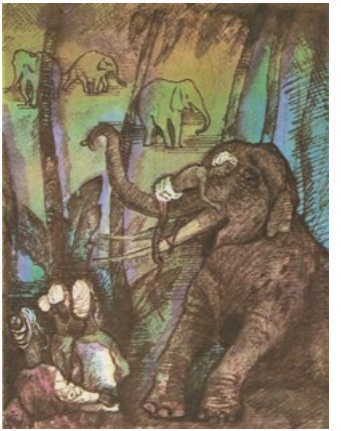
— Позови своего зверя, — приказал плантатор,

и Диса что-то выкрикнул на том таинственном слоновьем языке, который, как верят некоторые *махауты*, возник в Китае и распространился здесь еще в те времена, когда рождался мир и когда слоны, а не люди были господами. Моти-Гадж услышал его и пришел. Слоны не скачут галопом. Они передвигаются с места на место с различной скоростью. Если слон захочет догнать курьерский поезд, он не помчится галопом, но поезд он догонит. Итак, Моти-Гадж очутился у дверей плантатора чуть ли не раньше, чем Чихан заметил, что он ушел из загона. Тут слон упал в объятия Дисы, трубя от радости, и оба они — человек и животное — расплакались и принялись лизать и ощупывать друг друга с головы до пят, чтобы убедиться, что ничего худого с ними не случилось.

— Теперь мы пойдем на работу, — сказал Диса. — Подними меня, сын мой, радость моя.

Моти-Гадж вскинул его себе на шею, и оба они пошли на кофейную вырубку за трудными пнями.

Плантатор был до того изумлен, что даже не очень сердился.



ДЖОРДЖИ-ПОРДЖИ[17]

Перевод И. Бернштейн

Джорджи-Порджи, ну и нахал!
Всех девчонок целовал.
А девчонки — обижаться,
Да за Джорджи не угнаться.[18]

Если вы считаете, что человек не в праве войти рано утром в собственную гостиную, когда горничная наводит там порядок и стирает пыль, то имейте в виду, что понятия добра и зла, существующие у цивилизованных людей, которые едят на фарфоре и носят в нагрудном кармане визитные карточки, неприменимы в стране, где жизнь еще только входит в колею. Когда другие, высланные вперед на черную работу, все приготовят к вашему приему, тогда, в свой черед, можете приезжать и вы, захватив с собой светские нравы, Десять Заповедей и все прочие причиндалы в сундуках со своими пожитками. Там, куда не

[17] notes: 17
Впервые опубликовано в 1888 г., вошло в сборник «Жизнь не дает форы».

[18] notes: 18
английская считалочка из классической книги «Детская поэзия».

распространяются законы Ее Королевского Величества, бессмысленно ожидать соблюдения иных, менее великих предписаний. К людям, идущим впереди колесницы Приличия и Порядка, нельзя подходить с теми же мерками, что и к домоседам, достигающим известных степеней.

Не так давно область распространения законов Ее Величества[19] кончалась в нескольких милях к северу от населенного пункта Таемьо на реке Иравади[20]. Достигало сюда и Общественное Мнение, не очень могущественное, но достаточное, чтобы держать людей в рамках. Но потом Министерство объявило, что законы Ее Величества надо продвинуть до Бамо и китайской границы, войскам был дан приказ, и некоторые частные лица, всегда стремящиеся быть чуть впереди наступления цивилизации, двинулись на север вместе с нашими частями. Это были люди, в жизни не сдавшие ни одного экзамена и не годившиеся для службы в бюрократическом

---

[19] notes: 19

…законы Ее Величества… — Английская королева Виктория в 1877 г. была провозглашена императрицей Индии, после чего в результате третьей англо-бирманской войны в 1885 г. Бирма была включена в состав Индийской и, следственно, Британской империи.

[20] notes: 20

…Таемьо на Иравади… — город на крупнейшей реке Индокитайского полуострова.

аппарате старых колоний из-за своей излишней прямолинейности. Правительство поспешило прибрать к рукам и новую Бирму, сведя в ней жизнь к бесцветному среднеиндийскому уровню; но перед этим был короткий период, когда сильные мужчины были там остро необходимы и пользовались правом свободной инициативы.

Среди таких предтеч Цивилизации был некто Джорджи-Порджи, которого все знакомые признавали сильным мужчиной. К тому времени, когда пришел приказ нарушить границу, он служил в Нижней Бирме, а звали его так потому, что он умел, совсем как бирманцы, петь туземную песню, в которой первые слова звучат очень похоже на «Джорджи-Порджи». Кто бывал в Бирме, знает ее, в ней говорится про большую лодку, которая пыхтит: «Пуф! Пуф! Пуфф!» Джорджи пел ее, аккомпанируя себе на банджо, а слушатели восторженно кричали, и шум разносился далеко по тиковому лесу.

Потом он подался в Верхнюю Бирму — человек, не верящий ни в бога, ни в черта, зато умеющий внушить к себе уважение и успешно выполняющий сложные полувоенные обязанности, которые выпадали в те дни на долю многих. Он работал у себя в конторе и время от времени уго-

щал за своим столом молодых офицеров, когда измотанный лихорадкой карательный отряд забредал к нему на пост. Он и сам не давал спуску орудовавшим в тех краях бандитам, ведь земля еще дымилась под ногами, и в любую самую неожиданную минуту мог вспыхнуть пожар. Эти стычки с улюлюканьем и гиком доставляли ему большое удовольствие, но бандитам было отнюдь не до смеха. Все чиновные лица, посещавшие Джорджи-Порджи, выносили из своих встреч с ним убеждение, что он ценный работник и совершенно не нуждается в помощи, на этом основании ему предоставлялась полная свобода действий.

Но прошло несколько месяцев, и Джорджи-Порджи прискучило одиночество. Ему захотелось приятного общества, захотелось к себе душевного участия. Законы Ее Величества только-только начинали проникать в те края, не пришло туда еще и Общественное Мнение, которое могущественнее любых законов. Зато там был местный обычай, позволявший белым мужчинам за определенную плату брать в жены дщерей хеттовых[21]. Такой брак не очень связывал, в отличие

[21] notes: 21

…дщерей хеттовых… — то есть женщин другого народа (по Библии, иудеям разрешалось жениться на женщинах хеттского племени).

от мусульманского *никкаха*, но жена в доме — это всегда приятно.

Когда-нибудь, когда наши солдаты вернутся из Бирмы, они привезут с собой поговорку: «Бережлива, как бирманская жена», — и изящные английские дамы будут недоумевать: что бы это могло значить?

У старейшины ближайшей от Джорджи-Порджи деревни была миловидная дочь, она видела Джорджи-Порджи с большого расстояния, и он ей нравился. Когда стало известно, что англичанин, у которого тяжелая рука, ищет хозяйку в свой дом за частоколом, старейшина явился к нему и объяснил, что за пятьсот рупий наличными готов доверить ему свою дочь, дабы он содержал ее в чести и холе и наряжал в красивые платья, как велит обычай страны. Дело быстро порешили, и Джорджи-Порджи потом не раскаивался.

Благодаря этой сделке холостяцкое неустройство его домашнего уклада уступило место порядку и удобству, безалаберные хозяйственные расходы были урезаны наполовину и сам он был окружен заботой и поклонением молодой хозяйки, которая сидела у него во главе стола, пела ему песни и управляла его мадрасскими слугами, — словом, была во всех отношениях такой милой,

жизнерадостной, преданной и обворожительной женушкой, какую только может себе пожелать придирчивый холостяк. Знающие люди утверждают, что лучших жен и домоправительниц, чем бирманки, не встретить ни в одной стране. Когда очередной британский отряд брел мимо военной тропой, молодого лейтенанта угощала за столом Джорджи-Порджи приветливая женщина, которой он оказывал все знаки внимания и уважения, полагающиеся гостеприимной хозяйке дома. На заре, выстроив свой отряд, он снова углубился в джунгли, не без сожаления вспоминая о вкусном обеде и хорошеньком личике и завидуя Джорджи-Порджи до глубины души. У самого-то у него была невеста на родине, и так уж он был устроен, что — увы…

Имя бирманской жены Джорджи-Порджи было довольно неблагозвучное, но он быстро перекрестил ее в Джорджину и так исправил этот недостаток. Быть объектом внимания и нежной заботы ему понравилось, он считал, что употребил свои пять сотен рупий с несомненной пользой.

После трех месяцев счастливой семейной жизни Джорджи-Порджи пришла в голову блестящая мысль: пожалуй что, брак — настоящий англий-

ский брак — не такая уж плохая штука. Если так приятно, оказывается, жить здесь, на краю света, с этой бирманочкой, которая курит сигары, насколько же должно быть приятнее взять в жены милую английскую барышню, которая сигар в рот не берет и будет играть не на банджо, а на фортепьяно. И потом ему хотелось вернуться в общество себе подобных, услышать опять, как играет духовой оркестр, испытать еще раз, что чувствует человек, на коем фрак. Ей-богу, женитьба, наверно, неплохая вещь. Он всесторонне обдумывал эту тему по вечерам, пока Джорджина пела ему или озабоченно спрашивала, отчего он так молчалив и не обидела ли она его нечаянно. Думая, он курил и, куря, посматривал на Джорджину, сквозь табачный дым рисуя себе на ее месте белокурую, веселую и хозяйственную англичаночку со взбитой челкой и, в крайнем случае, с сигаретой во рту. Но, уж конечно, не с толстой бирманской сигарой, какие курит Джорджина. Он возьмет себе в жены барышню с такими же глазами, как у Джорджины, и вообще во всем на нее похожую. Или почти во всем. Кое-что в Джорджине оставляет желать лучшего. И Джорджи-Порджи, потягиваясь в кресле, пускал через нос густые кольца дыма. Да, надо ему

вкусить женатой жизни. Благодаря Джорджине у него скопилось немного денег, и в ближайшее время ему полагался шестимесячный отпуск.

— Вот что, моя красавица, — сказал он ей, — надо нам за будущие три месяца отложить побольше денег. Мне деньги нужны.

Это был прямой выпад против ее хозяйственных талантов, ведь она так гордилась, что экономно ведет его дом! Но раз у ее божества нужда в деньгах, она готова на все.

— Тебе нужны деньги? — с улыбкой переспросила она. — У меня есть немного денег. Смотри! — Она сбегала к себе в комнату и принесла мешочек рупий. — Я все время откладывала из того, что ты мне давал. Видишь? Сто семь рупий. Тебе ведь не больше нужно, чем сто семь рупий? Возьми их. Мне будет приятно, если я этим тебе помогу.

И она, разложив деньги на столе, подвинула их к Джорджи-Порджи своими быстрыми желтыми пальчиками.

Больше Джорджи-Порджи не заикался об экономии.

А еще через три месяца, отправив и получив несколько таинственных писем, непонятных и потому ненавистных Джорджине, Джорджи-Порджи сказал ей, что ему надо уехать, а она пусть

возвращается жить в дом отца.

Джорджина заплакала. Она готова ехать за своим божеством хоть на край света. Зачем же ей расставаться с ним? Она же его любит.

— Мне нужно только в Рангун, — ответил ей Джорджи-Порджи. — Я буду обратно через месяц, но тебе лучше пока пожить у отца. Я оставлю тебе двести рупий.

— Если ты едешь всего на месяц, зачем же двести? И пятидесяти за глаза хватит. Нет, тут что-то плохое. Не езди или хотя бы возьми меня с собой!

Эту сцену Джорджи-Порджи не любит вспоминать и поныне. В конце концов он отделался от Джорджины, сговорившись на семидесяти пяти рупиях. Больше взять она не соглашалась. А потом морем и железной дорогой он отправился в Рангун.

Посредством своей таинственной переписки Джорджи-Порджи выправил себе полагавшийся ему полугодовой отпуск. Самое бегство и сознание того, что он, быть может, совершает предательство, причинили ему немало боли, но как только большой пароход затерялся в безбрежной синеве, все стало казаться гораздо проще — лицо Джорджины, дом за частоколом, ночные нападения

завывающих бандитов, стон и агония первого человека, которого он убил собственными руками, и сотни других, так много значивших для него прежде вещей начали бледнеть в его памяти и отступать на задний план, и образ приближающейся родины вновь завладевал его сердцем. На пароходе было много таких же, как он, отпускников — все, как один, веселые ребята, отряхнувшие прах и пот Верхней Бирмы и беззаботные, точно резвящиеся школьники. Они помогли Джорджи-Порджи забыться.

А потом была Англия, уютная, щедрая и благопристойная, и Джорджи-Порджи, точно во сне, ходил по улицам, радостно узнавая почти забывшийся звук шагов по мостовым и диву даваясь, как может человек в здравом уме добровольно уехать из столицы. Он вкушал отпускные восторги как заслуженную награду за все свои труды. Но судьба уготовила ему еще более приятный подарок: скромную прелесть традиционного английского ухаживания, такого непохожего на беззастенчивые колониальные романы на глазах у почтеннейшей публики, когда половина зрителей сочувствует и заключает пари, а другая предвкушает скандал, который закатит миссис Такая-то.

Девушка была милая, лето — прекрасное, и был большой загородный дом близ Петворта, а вокруг — лиловые вересковые пустоши для прогулок и заливные луга, где так приятно бродить по пояс в сочном разнотравье. Джорджи-Порджи чувствовал, что наконец существование его обрело смысл, и поэтому, как полагается, предложил милой девушке разделить с ним его жизнь в Индии. Та по простоте душевной согласилась. На сей раз ему не пришлось заключать сделки с деревенским старейшиной. Вместо этого была добропорядочная английская свадьба, солидный папаша, и плачущая маменька, и шафер в костюме с фиолетовым отливом и белоснежной сорочке, и курносые девчонки из Воскресной школы, усеивающие розами путь между могилами от ворот до паперти. В местной газете опубликовали подробное описание всей церемонии и даже привели полностью текст исполнявшихся псалмов. Причиной тому, впрочем, был обычный редакционный голод.

Они провели медовый месяц в Аренделе, и маменька, пролив потоки слез, отпустила свою единственную дочку на пароходе в Индию в сопровождении новобрачного Джорджи-Порджи. Не подлежит сомнению, что Джорджи-Порджи

обожал свою молодую жену, а она видела в нем лучшего и величайшего из мужчин. Явившись в Бомбей, он счел себя морально вправе, ради жены, просить место получше; и поскольку он неплохо показал себя в Бирме и его начинали ценить, прошение его было почти полностью удовлетворено — его назначили на службу в поселение, которое мы будем называть Сутрейн. Оно было расположено на нескольких холмах и официально именовалось «санаторием», по той причине, что санитарное состояние там было никуда не годным. Здесь и поселился Джорджи-Порджи. Ему легко дался переход на семейное положение, он не дивился и не восторгался, как многие молодожены, тем, что его богиня каждое утро садится против него за стол завтракать — словно так и надо; для него это была уже освоенная территория, как говорят американцы. И сопоставляя достоинства своей теперешней Грейс с достоинствами Джорджины, он все больше убеждался, что не прогадал.

Но не было мира и довольства по ту сторону Бенгальского залива, где под сенью тиковой рощи в доме отца жила Джорджина, поджидая своего Джорджи-Порджи. Деревенский старейшина прожил долгую жизнь и помнил еще войну

пятьдесят первого года. Он побывал тогда в Рангуне и имел представление о нравах куллахов. И теперь, сидя вечерами перед своей хижиной, он наставлял дочь в трезвой философии, отнюдь не дававшей ей утешения.

Вся беда была в том, что она любила Джорджи-Порджи так же горячо, как французская девушка из английских учебников истории любила священника, которому проломили голову королевские молодчики. И в один прекрасный день она исчезла из деревни, взяв с собой в дорогу все рупии, которые оставил ей Джорджи-Порджи, и кое-какие крохи английского языка, полученные из того же источника.

Старейшина сначала рассвирепел, но потом закурил новую сигару и высказал несколько неодобрительных замечаний обо всем женском роде в целом. А Джорджина отправилась на поиски Джорджи-Порджи, хотя где он находится, в Рангуне или за морем, и вообще жив ли он, не имела ни малейшего представления. Но удача улыбнулась ей: от старого сикха-полицейского она узнала, что Джорджи-Порджи уплыл на пароходе за море. Она купила в Рангуне билет четвертого класса и на нижней палубе добралась до Калькутты; цель своего путешествия она дер-

жала в секрете.

В Индии след Джорджины на шесть недель затерялся, и никому не известно, через какие муки она прошла.

Объявилась она в четырех милях к северу от Калькутты, измученная, исхудавшая, но упорно продвигавшаяся дальше на север в поисках своего Джорджи-Порджи. Язык местных жителей был ей непонятен; но Индия — страна бесконечного милосердия, и по всему пути вдоль Главной Магистрали женщины кормили ее. Откуда-то у нее сложилось убеждение, что Джорджи-Порджи находится где-то там, где кончается эта жестокая дорога. Может быть, ей повстречался сипай, знавший Джорджи-Порджи по Бирме. Об этом остается только гадать. Наконец она попала в расположение одного полка на марше, а в нем служил молодой лейтенант из числа тех, кто пользовался гостеприимством Джорджи-Порджи в далекие золотые дни охоты на бирманских бандитов. Много было смеху в лагере, когда Джорджина упала к его ногам и заплакала. Но никто не смеялся, когда она рассказала свою печальную повесть. Вместо этого пустили шапку по кругу, что было гораздо уместнее. Один из полковых офицеров знал, где служит Джорджи-Порджи, но

ничего не слышал о его женитьбе. Он объяснил Джорджине, куда ей надо ехать, и она, радостная, продолжила свой путь на север в поезде, где могли отдохнуть ее натруженные ноги и была крыша над опаленной головой. От железной дороги до Сутрейна добраться нелегко, но у Джорджины были деньги, и попутные крестьяне на возах, запряженных быками, подвозили ее. Все это было очень похоже на чудо, и Джорджина верила, что ей покровительствуют добрые духи Бирмы. Правда, на горных перевалах, ведущих в Сутрейн, она жестоко простудилась. Но зато она знала: там, в конце пути, после всех мучений, ее ждет Джорджи-Порджи, и он обнимет ее и приласкает, как бывало когда-то, после того как запирали ворота поста и ужин был ему по вкусу. Джорджина спешила к цели, и добрые духи сослужили ей последнюю службу.

Под вечер у самого въезда в Сутрейн ее остановил англичанин.

— Господи! — воскликнул он. — Ты-то откуда здесь взялась?

Это был Джиллис, он работал под началом Джорджи-Порджи в Верхней Бирме и жил на соседнем посту. Джорджи-Порджи любил его и похлопотал, чтобы его перевели к нему помощ-

ником в Сутрейн.

— Я приехала, — просто отвечала Джорджина. — Такая дальняя дорога, я добиралась много месяцев. Где его дом?

Джиллис разинул рот. Он был достаточно близко знаком с Джорджиной и понимал, что никакие объяснения тут не помогут. Жителям Востока нельзя объяснять. Им надо показывать.

— Я провожу тебя, — сказал он и повел Джорджину задами по крутой тропе в гору, где стоял на вырубленной в скале террасе большой красивый дом.

В доме только что зажгли лампы и еще не задернули шторы.

— Смотри, — сказал Джиллис, остановившись под окном гостиной.

Джорджина посмотрела и увидела в окно Джорджи-Порджи и его молодую жену.

Она провела рукой по волосам, которые выбились у нее из пучка на макушке и свешивались на лицо. Потом попробовала было одернуть на себе платье, но оно пришло в такое состояние, что одергивать его было бесполезно. И при этом слегка кашлянула — у нее был довольно неприятный кашель, ведь она очень сильно простудилась по дороге в Сутрейн. Джиллис тоже смотрел в

окно, но Джорджина на молодую жену только взглянула и стояла, не отрывая глаз от Джорджи-Порджи, а Джиллис так же безотрывно смотрел на беленькую англичанку.

— Ну? Что ты собираешься делать? — спросил Джиллис, на всякий случай взяв Джорджину за руку, чтобы она не вздумала полететь прямо на свет лампы. — Войдешь в дом и скажешь этой английской леди, что жила с ее мужем?

— Нет, — чуть слышно ответила Джорджина. — Отпусти мою руку. Я уйду. Клянусь, что уйду.

И вырвавшись от него, убежала в темноту ночи.

— Бедная девушка, — говорил себе Джиллис, спускаясь по тропе. — Надо бы дать ей денег на обратную дорогу в Бирму. Ну, пронесло, однако же. Этот ангел никогда бы не смог простить.

Как видите, его преданность была вызвана не только хорошим отношением Джорджи-Порджи.

После ужина молодожены вышли посидеть на веранде, заботясь о том, чтобы дым от сигары Джорджи-Порджи не пропитал новые шторы в гостиной.

— Что это там внизу за шум? — спросила вдруг молодая. Оба прислушались.

— Наверно, какой-нибудь здешний горец побил

свою жену, — равнодушно объяснил Джорджи-Порджи.

— Побил — жену?! Какой ужас! — воскликнула молодая. — Вообрази, что ты побил меня! — Она обвила рукой мужа за талию и, положив голову ему на плечо, удовлетворенно и уверенно посмотрела вдаль на горные пики по ту сторону укрытой облаками долины.

Но это была Джорджина. Одна-одинешенька она плакала у ручья среди камней, на которых в деревне стирают белье.



ВСЕГО ЛИШЬ СУБАЛТЕРН[22]

Перевод Л. Беспаловой

...Не только понуждать приказом, но и воодушевлять примером ревностного выполнения долга и стойким несением тягот и лишений, неизбежных в военной службе.

Устав Бенгальской армии

В Сэндхерсте[23] Бобби Вика заставили сдавать экзамен. Джентльменом он был и до того, как его произвели в чин, а когда королева объявила, что «джентльмен-юнкер Роберт Ханна Вик назначается вторым лейтенантом в полк Тайнсайдских Хвостокрутов, расквартированный в Краб-Бокхаре», он разом стал и офицером и джентльменом, — а что может быть завиднее? То-то ликовали в доме Виков, и мама Вик, и все маленькие Вики пали на колени и воскурили фимиам Бобби за его доблестные свершения.

---

[22] notes: 22

Опубликован впервые в 1888 г., вошел в сборник «Под деодарами»

[23] notes: 23

Сэндхерст — город, где находится Королевское военное училище, обозначаемое обычно по названию города.

Папа Вик в свое время был комиссаром, повелевал тремя миллионами человек в округе Чхота-Балдана, ворочал большими делами на благо страны и прилагал все силы, чтобы вырастить две травинки там, где дотоле росла лишь одна. Разумеется, в тихой английской деревушке, где он был известен просто как «старый мистер Вик», никто не знал о его прошлом; забылось и то, что он имел Звезду Индии третьей степени.

Он потрепал Бобби по плечу и сказал: «Отлично, мой мальчик!»

За сим — пока шился мундир — последовала восхитительная передышка, во время которой Бобби получил внеочередной чин «кавалера» на местных теннисных кортах и чайных посиделках, где всегда была пропасть дам, и рискну утверждать, буде ему разрешили приступить к несению службы чуть позже, непременно бы влюбился — и не в одну, а в нескольких девушек. В таких тихих деревушках всегда переизбыток прелестных девушек, ибо все молодые люди покидают родину в поисках счастья.

— Индия, — сказал папа Вик, — самое подходящее для тебя место. Я оттрубил там тридцать лет, а вот, ей-ей, хоть сейчас готов туда вернуться. Если там еще не забыли Вика из Чхота-Балда-

ны, Хвостокруты примут тебя как родного, и многие будут к тебе добры в память о нас. Мать тебе лучше может рассказать о тамошних; но твердо помни одно: держись своего полка, Бобби, держись своего полка. Ты встретишь там людей, которые будут рваться в штаб корпуса и заниматься какими угодно делами, кроме непосредственно полковых, их пример может тебя соблазнить. Так вот, постарайся укладываться в свое содержание — а тут я не поскупился; в остальном же держись строевой службы, прежде всего строевой службы и только строевой службы. За чужие векселя ручайся с оглядкой, а если тебя угораздит влюбиться в женщину двадцатью годами старше, не вздумай делиться со *мной*, вот и все.

Таковыми, а также многими другими столь же ценными советами папа Вик подбодрял Бобби вплоть до последней жуткой ночи в Портсмуте, когда офицерские казармы оказались переполнены противу устава, уволенные на берег матросы схватились с новобранцами, направляющимися в Индию, и бой бушевал, долго не затихая, на всем расстоянии от ворот Верфи вплоть до трущоб Лонгпорта, а тем временем фэаттонские шлюхи ворвались в порт и попортили физиономии офи-

церам королевы.

У Бобби Вика, на чьем веснушчатом носу красовался устрашающий синяк, в чьи обязанности входило загнать на судно отряд, который шатало и мутило с перепою, а также заботиться об удобствах не менее полусотни весьма презрительно настроенных дам, не оставалось ни минуты, чтобы предаться тоске по родине до тех пор, пока «Малабар» не пересек канал наполовину, но и тогда ему пришлось урывать время от этих возвышенных чувств для нечастой проверки караулов и частых рвот.

Хвостокруты были полком весьма взыскательным. Те, кто знал их хуже всего, говорили, что они снедаемы «спесью». Но их сдержанность и оградительные меры являлись по преимуществу защитной дипломатией. Лет этак четырнадцать назад полковой командир, взглянув в четырнадцать бестрепетных глаз семи пухлых, наливных субалтернов, которые обратились к нему с просьбой перевести их в штаб корпуса, возопил: с какой стати, о звезды, ему, строевому командиру, руководить треклятой детской для трижды треклятых сосунков, нацепляющих запрещенные уставом шпоры и тиранящих круглых олухов, командующих безмозглыми, забытыми богом туземными

полками. Он был грубиян и страшилище. После чего оставшиеся позаботились (использовав кий в качестве орудия общественного мнения), чтобы на родину полетели слухи, что молодым людям, которые склонны рассматривать Хвостокрутов как ступеньку, с которой можно перескочить в штаб корпуса, предстоят многочисленные и разнообразные испытания. Но так или иначе, полк имеет такое же право на свои тайны, как женщина.

Когда Бобби прибыл из Деолали и занял свое место в рядах Хвостокрутов, ему деликатно, но твердо дали понять, что отныне полк для него отец, мать и навеки вечные венчанная жена и что под шатром небес нет преступления более ужасного, чем покрыть позором полк — полк, равного которому нет ни в стрельбе, ни в строевой подготовке, самый славный и во всех отношениях самый замечательный полк в пределах Семи Морей. Его заставили вызубрить назубок все легенды офицерского собрания от истории улыбающихся золотых божков из Летнего Пекинского дворца до истории оправленной в серебро табакерки из рога дикой козы — дара последнего П. К. (того самого, который вещал перед семью субалтернами). И каждая из этих легенд рас-

сказывала о битвах с превосходящими силами противника, которые полк вел, не ведая страха и не рассчитывая на подкрепление; о гостеприимстве, беспредельном, как гостеприимство араба, о дружбе, бездонной, как море, и стойкой, как линия фронта, о славе, добытой нелегким путем и одной лишь славы ради, и о безоговорочной и беспрекословной преданности полку — полку, который предъявляет права на жизнь всех и каждого, отныне и во веки веков.

Неоднократно ему по долгу службы случалось иметь дело с полковым знаменем, больше всего оно напоминало подкладку шляпы каменщика, вздетую на обглоданную палку. Бобби не преклонял пред ним колен и не боготворил его, ибо это не свойственно британским субалтернам. Напротив, в то самое время, когда оно преисполняло благоговением и прочими благородными сантиментами, Бобби роптал на то, что его так тяжело тащить.

Однако самое большое счастье он испытал на рассвете того ноябрьского дня, когда, облаченный в парадную форму, шагал в рядах Хвостокрутов. За вычетом дневальных и больных, полк насчитывал одну тысячу восемьдесят человек, и Бобби чувствовал себя частью полка: разве не был он

субалтерном строевой службы, прежде всего строевой службы и только строевой службы, о чем свидетельствовал грохот двух тысяч ста шестидесяти тяжелых походных сапог? Он не поменялся бы местами ни с Дейтоном из конной артиллерии, во весь опор промчавшимся мимо него в облаке пыли под выкрики «Право, лево», ни с Хоган-Йейлем из полка белых гусар, гнавшим свой эскадрон вперед, не щадя ни людей, ни подков, ни с «Клещом» Буало, который пыжился изо всех сил, дабы не посрамить своего блистательного голубого с золотом тюрбана, в то время как бенгальская кавалерия, растянувшись рысью, преследовала, словно рой ос, могутных, переваливающихся с боку на бок коней белых гусар.

Они сражались весь ясный, нежаркий день, и Бобби почувствовал, как холодок пробежал у него по спине, когда вслед за громыханьем очередного залпа послышалось позвякиванье пустых гильз, выскакивающих из затворов; он знал, что настанет день — и ему доведется участвовать в настоящем деле. Учения закончились грандиозными скачками по равнине: батареи с грохотом неслись за кавалерией, к великому неудовольствию белых гусар, а Тайнсайдские Хвостокруты

гоняли Сикхский полк до тех пор, пока не загнали вконец сухопарых, долговязых сикхов.

Бобби еще задолго до полудня был с ног до головы запорошен пылью, пот тек с него ручьями, но энтузиазм его не угас, а лишь нашел себе применение.

И по возвращении он сел у ног Ривира, своего «ротного», правильнее сказать, капитана роты, постигать темное и таинственное искусство управления людьми, которое составляет немалую часть воинского ремесла.

— Если у тебя нет данных, — говорил Ривир, попыхивая манилой, — тебе ни за что не освоить этой премудрости, но запомни, Бобби, самая хорошая строевая подготовка не выведет полк из пекла. Вывести его может только человек, который умеет управлять людскими тварями всяческих пород — кобелями, свиньями, баранами и так далее.

— Такими, к примеру, как Дормер, — сказал Бобби. — Его, по-моему, можно причислить к породе дураков. Он куксится, как хворая сова.

— Вот тут-то ты и ошибаешься, сынок. Дормер *пока еще* не дурак, просто он зверски грязный солдат, и старший по комнате вывешивает его носки всем на посмешище перед смотром ранцев.

Дормер же — а он на две трети животное — забивается в угол и огрызается.

— Откуда вы все это знаете? — восхищенно спросил Бобби.

— Ротному командиру положено все знать; если он не будет знать таких вещей, он может прозевать преступление, которое назревает у него под самым носом, да что там преступление, убийство. Дормера сейчас так травят, что он вот-вот рехнется: хоть он парень и здоровый, у него не хватает ума дать отпор. Вот он и повадился надираться втихомолку. Учти, Бобби, когда объект издевок всей казармы запил или хандрит в одиночку, необходимо принять меры, чтобы его отвлечь.

— Какие еще такие меры? Нельзя же вечно нянчиться с солдатами.

— Нельзя. Солдаты живо дадут тебе понять, чтобы ты оставил их в покое. А вот поехал бы ты…

Их прервал приход старшего сержанта с бумагами; пока Ривир просматривал бланки, Бобби предался размышлениям.

— Дормер чем-нибудь занимается? — спросил Бобби небрежно, будто продолжая прерванный разговор.

— Нет, сэр. Делает машинически, что велено,

— сказал сержант, питавший слабость к ученым словам. — А уж грязный он, хуже некуда, сейчас у него чуть не все жалованье идет в начет за новое обмундирование. Он с ног до головы перемазан в чешуе, сэр.

— Чешуе? Какой такой чешуе?

— Рыбной, сэр. Он целый день торчит у реки, копается в грязи, чистит эту самую рыбу *мачли*, прямо пальцами ее чистит.

Ривир углубился в ротные бумаги, и сержант, который на свой грубоватый манер был привязан к Бобби, продолжал:

— Он, как надерется, прямиком идет на реку, и, говорят, чем больше он под мухой, точнее сказать, нетверезый, тем лучше ему рыба идет в руки. В роте, сэр, его кличут Малохольный Рыбник.

Ривир поставил подпись на последнем бланке, и сержант удалился.

«Гнусная забава», — вздохнул Бобби про себя. А вслух сказал:

— А вас, и правда, беспокоит Дормер?

— Несколько. Понимаешь, он не настолько спятил, чтобы отправить его в госпиталь, и не настолько пьян, чтобы посадить на гауптвахту, но раз он хандрит и куксится, он, того и гляди, закусит удила. Он не выносит, когда в нем при-

нимают участие, как-то я взял его на охоту, так он ненароком чуть не подстрелил меня.

— Я отправляюсь на рыбную ловлю, — сказал Бобби с кислой миной. — Найму в деревне лодку и с четверга до субботы спущусь вниз по реке, а этого молодчагу Дормера прихвачу с собой — если вы тут сумеете обойтись без нас обоих.

— Дубина ты стоеросовая! — сказал Ривир, но про себя поименовал Бобби куда более лестно.

И Бобби — капитаном, а рядовой Дормер — подручным капитана спустили лодку на воду в четверг утром; рядовой сел на нос, субалтерн — за руль. Рядовой смущенно поглядывал на субалтерна; тот, понимая чувства рядового, не трогал его.

По прошествии шести часов Дормер перешел на корму, отдал честь и сказал:

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, но вам приходилось бывать на Дэрхемском канале?

— Нет, — сказал Бобби Вик. — Садитесь, перекусим.

Завтрак прошел в молчании. Когда спустились сумерки, рядового Дормера вдруг прорвало, и он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Точь-в-точь такой же выдался вечерок, когда я был на Дэрхемском канале, тому аккурат год стукнет через неделю, я еще ногами болтал в во-

де. — Он закурил и не проронил больше ни слова, пока не пришло время ложиться спать.

Колдовские краски зари залили серую гладь реки пурпуром, золотом, перламутром; казалось, неуклюжая лодка медленно прокладывает путь по великолепию новых, невиданно прекрасных небес.

Рядовой Дормер высунул голову из-под одеяла и загляделся на окружающую его красоту.

— Ах ты, лопни мои глаза! — сказал он испуганным шепотом. — Ну, право слово, волшебный фонарь, да и только! — Весь остаток дня он не проронил ни звука, зато ухитрился, чистя рыбу, перемазаться кровью и чешуей.

В субботу вечером они вернулись. Начиная с полудня Дормер пытался побороть собственное косноязычие. Дар речи он обрел, лишь когда принялись выгружать удочки и багаж.

— Не сердитесь, сэр, — сказал он. — Но вы не побрезгуете пожать мне руку, сэр?

— Конечно, нет, — сказал Бобби и в подтверждение своих слов пожал протянутую ему руку. После чего Дормер отправился в казармы, а Бобби — в офицерское собрание.

— Видно, ему всего-то и нужно было, чтобы его оставили в покое, ну и еще немного поудить,

— сказал Бобби. — Но, бог ты мой, до чего он грязный! Вам доводилось видеть, как он чистит эту самую рыбу *мачли* пальцами?..

— Как бы там ни было, — сказал Ривир через три недели, — он теперь изо всех сил старается содержать себя в чистоте.

Когда весна пришла к концу, Бобби не остался в стороне от всеобщей потасовки за право провести лето в горах и, к своему изумлению и восторгу, получил три месяца отпуска.

— Такой славный малый, что лучше и желать нельзя, — похвалил Бобби Ривир, его ротный.

— Лучший из всех новичков, — сказал начальник штаба полковнику. — Оставьте здесь этого желторотого сачка Поркисса, и пусть Ривир покажет ему, где раки зимуют.

И Бобби, ликуя, отбыл в Симлу-Пахар, прихватив с собой жестяной сундук, набитый великолепными нарядами.

— Это сын Вика, старины Вика из Чхота-Балданы? Пригласи его на обед, дорогая, — говорили почтенные мужи.

— Какой милый мальчик! — говорили дамы и девицы.

— Отличное местечко Симла. По-о-отрясающе! — сказал Бобби Вик и по этому случаю заказал

себе новые плисовые бриджи.

…«Дела наши плохи, — писал Ривир Бобби Вику, когда второй месяц отпуска подходил к концу. — С тех пор как ты уехал, полк треплет лихорадка, и нешуточная: двести человек в госпитале и чуть не сотня на гауптвахте — запили в надежде отогнать лихорадку. На плацу набирается от силы пятнадцать шеренг. В окрестных деревнях так свирепствует эпидемия, что даже думать об этом страшно, впрочем, меня замучила потница, и я готов хоть сейчас в петлю. Ходят слухи, что ты покорил сердце некоей мисс Хэверли, правда? Надеюсь, это не серьезно? Ты еще слишком молод, чтобы повесить такой жернов себе на шею, к тому же, если ты предпримешь нечто подобное, полковник в два счета вытребует тебя из Симлы».

Однако из Симлы Бобби вызвал не полковник, а куда более почтенное начальство. Эпидемия разрасталась, базар отнесли подальше от военного городка, а затем разнесся слух, что Хвостокруты получили приказ выступить из городка и стать лагерем. Телеграф домчал эту весть до горных курортов: «Холера — Отпуска приостановлены — Офицеры отзываются в полки». Прощайте, белые перчатки в жестяных коробках, намечавшиеся верховые прогулки, балы и пикники, любовь,

оставшаяся в намеке, долги, оставшиеся неоплаченными! Не ропща и не прекословя, нещадно погоняя своих коней, мчались субалтерны — кто на двуколке, кто на пони — к своим полкам и батареям, так, будто спешили на собственные свадьбы.

Бобби получил приказ, когда он возвращался с бала в охотничьем доме вице-короля, где… впрочем, одной лишь мисс Хэверли ведомо, что говорил Бобби и на сколько вальсов он претендовал на следующем балу. Рассвет застал Бобби в конторе, где он под проливным дождем нанимал двуколку; вихревая мелодия последнего вальса все еще звучала в его ушах, а голова кружилась, но причиной тому было не вино и не вальс.

— Молодчик! — прорвался сквозь пелену дождя голос Дейтона из конной артиллерии. — Как тебе удалось достать двуколку? Я еду с тобой. Охо-хо! Ну и перебрал я вчера. Правда, я-то до конца не досидел. Говорят, на батарее дела плохи. — И он уныло пропел:

Брось, все брось — чего уж тут!
Брось отару в гиблом месте,
Брось непогребенным труп,
Брось у алтаря невесту.

— Но, ей-ей, тут дело пахнет не невестой, а трупом. Прыгай, Бобби.

На платформе в Умбалле группа офицеров в ожидании поезда обсуждала последние новости из пораженного эпидемией военного городка; только тут до Бобби дошло, как плохи дела у Хвостокрутов.

— Они получили приказ выступить из городка и стать лагерем, — сказал пожилой майор, отозванный от ломберных столов в Массури в пораженный эпидемией туземный полк, — и им пришлось везти двести десять человек в повозках. Только лихорадкой больны двести десять человек, да и у остальных вид неважный — глаза больные, ни дать ни взять — привидения. Даже Мадрасский полк их шутя разбил бы наголову.

— Но, когда я уезжал, все были здоровехоньки, — сказал Бобби.

— Надо надеяться, что, когда вы вернетесь, они от радости снова станут здоровехоньки, — жестко сказал майор.

Пока поезд мчался по раскисшим полям Доаба, Бобби стоял, прижав лоб к залитому дождем оконному стеклу, и молился за здоровье Тайнсайдских Хвостокрутов. Наини Таль, не медля ни минуты, выслала всех до одного офицеров, взмы-

ленные пони Дальхузироуд, чуть не падая, вошли в Патханкот, а тем временем калькуттская почта подобрала в затянутом облаками Дарджилинге последнего отставшего воина маленькой армии, которой предстояло дать бой, где победителя не ждали ни медали, ни почести, против такого врага, как «зараза, опустошающая в полдень».

Когда очередной офицер являлся к нему доложить о прибытии, он говорил: «Да, плохи наши дела», — и не мешкая возвращался к своим занятиям, так как все без исключения полки и батареи городка лежали по палаткам, и зараза стояла у их изголовья.

Бобби под проливным дождем еле добрался до времянки, где разместили офицерское собрание, и Ривир, увидев его неказистую, пышущую здоровьем физиономию, от радости чуть не кинулся ему на шею.

— Постарайся развлечь и занять их, — сказал Ривир. — Не успели заболеть первые два, как остальные, бедолаги, запили с перепугу, а с тех пор никаких изменений к лучшему не наблюдается. Ох, и рад же я, Бобби, что ты вернулся! Что до Поркисса… даже говорить не хочется.

Из артиллерийского лагеря к ним прибыл Дейтон, разделил с ними скучный обед в офицерском

собрании и усугубил общее уныние, описав со слезой судьбу своей любимой батареи. Поркисс настолько забылся, что посмел утверждать, будто от офицеров все равно нет никакого толку и что разумнее всего было бы отправить полк в госпиталь, «и пусть за ними там ходят доктора». Поркисс от страха совсем потерял голову, не привела его в чувство и отповедь Ривира:

— Если вы придерживаетесь такого мнения, тогда чем скорее вы отсюда уберетесь, тем лучше. Любая частная школа может прислать нам полсотню отличных малых взамен вас, но полк, Поркисс, делают время, деньги и упорный труд. Вот представьте-ка на минуту, что это *вы* заболели и в палатки нам пришлось переселиться из-за вас?

Вследствие чего у Поркисса пошел по коже мороз, прогулка под дождем отнюдь не улучшила его состояния, и двумя днями позже он отошел из нашего мира в тот, где, как мы наивно полагаем, к плотским слабостям питают снисхождение. Полковой старшина, когда ему сообщили эту новость, окинул усталым взглядом сержантскую столовую.

— Господь прибрал худшего из них, — сказал он. — Когда он приберет лучшего, тогда, даст бог,

эта напасть кончится.

Сержанты помолчали, потом один из них сказал:

— Только б не *его*! — И все поняли, о ком думал Трэвис.

Бобби Вик носился по палаткам своей роты, подбодрял, отчитывал, мягко, как того требует устав, подтрунивал над слабыми духом, а чуть прояснялось, выгонял здоровых греться под едва пробивающееся сквозь водяные испарения лучи солнца, уговаривал их не вешать носа, ибо близится конец невзгодам, скакал на своем мышастом пони по окрестностям и загонял обратно в лагерь солдат, которые по извращенности, присущей британским солдатам, вечно забредали в зараженные деревни или утоляли жажду из затопленных дождями болот, подбодрял руганью впавших в панику и не раз ходил за теми умирающими, у которых не завелось друзей, солдатами без «земляков»; устраивал при помощи банджо и жженой пробки любительские концерты, на которых полковые таланты могли блеснуть во всей красе, словом, как он сам говорил, был «всякой бочке затычкой».

— Ты стоишь едва ли не десятка таких, как мы, Бобби, — сказал как-то ротный в приступе

восторга. — Как только тебя на все хватает?

Бобби не ответил, но, загляни Ривир в нагрудный карман его мундира, он увидел бы пачку писем, в которых, по всей вероятности, Бобби черпал силы. Письма эти приходили через день. Что касается орфографии, письма могли вызвать нарекание, зато выраженные в них чувства явно были на высоте, ибо по получении очередного письма глаза Бобби начинали сиять, и он на какое-то время впадал в сладостное забытье, вслед за чем, мотнув коротко остриженной головой, вновь окунался в работу.

Но чем он завоевал сердца самых отчаянных сорвиголов (а в рядах Хвостокрутов насчитывалось немало молодцов с золотым сердцем, но буйным нравом), не мог понять ни ротный, ни полковой командир, который знал от священника, что в госпитальных палатах на Бобби куда больший спрос, чем на его преподобие Джона Эмари.

— Похоже, что солдаты к тебе привязаны. Ты часто бываешь в госпиталях? — сказал полковник, он в этот день, как обычно, обходил госпиталь, приказывая солдатам выздоравливать как можно скорее — с суровостью, которая не скрывала его глубокой скорби.

— Случается, сэр, — сказал Бобби.

— Я бы на твоем месте ходил туда пореже. Хоть и говорят, что эта зараза не прилипчива, не стоит рисковать зря. Знаешь ли, мы не можем себе позволить тебя потерять.

А через шесть дней почтальон, обвешанный тяжелыми сумками, едва дотащился до лагеря по непролазной грязи: дождь лил как из ведра. Бобби получил письмо, унес его к себе в палатку, и едва программа очередного любительского концерта была успешно завершена, уселся за ответ. Целый час его неуклюжая рука прилежно водила пером по бумаге, а там, где чувства переполняли его, Бобби высовывал язык и сопел. У него не было привычки писать письма.

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, — сказали в дверях. — Только Дормера прихватило, его свезли в госпиталь.

— Пропади он пропадом, твой Дормер, и ты вместе с ним, — сказал Бобби, промокая неоконченное письмо. — Передай ему, я приду утром.

— Его страсть как прихватило, сэр, — запинался голос. Грубые сапоги нерешительно чавкали по грязи.

— Ну? — нетерпеливо спросил Бобби.

— Извините великодушно, сэр, если я позволю себе лишнее, только он говорит, если вы с ним

посидите, ему, мол, полегчает, а то…

— Вот тебе на! Заходи, не стой под дождем, подожди, пока я кончу свои дела. Ох, и надоели же вы мне! Вот бренди. Выпей. Тебе это сейчас нужно. А теперь держись за стремя, и если не будешь поспевать за мной, скажи.

Санитар, не моргнув глазом, хлопнул стаканчик горячительного и, подкрепившись таким образом, прошлепал по грязи всю дорогу до госпитальной палатки вровень с оскользающимся, заляпанным грязью и крайне раздосадованным пони.

Рядового Дормера и впрямь «здорово прихватило». Он был на грани кризиса и являл собой жалкое зрелище.

— Что это ты забрал себе в голову, Дормер? — сказал Бобби, нагибаясь к рядовому. — Нет, нет, не вздумай умирать. Мы еще с тобой съездим разок-другой на рыбную ловлю.

Синие губы раздвинулись, издав еле слышный шепот:

— Извиняюсь за беспокойство, сэр, но вы не побрезгуете подержать меня за руку.

Бобби присел на край кровати. Ледяная рука вцепилась в него клещами, вдавив надетое на мизинец маленькое женское колечко. Бобби,

стиснув зубы, приготовился ждать. С брюк его капала вода.

Прошел час, Дормер не ослабил хватки, не изменилось и выражение его искаженного болью лица. Бобби с незаурядной ловкостью исхитрился закурить манилу левой рукой (его правая рука онемела до самого локтя) и приготовился к мучительной ночи.

Когда рассвело, изрядно побледневший Бобби все еще сидел на койке Дормера, а доктор стоял в дверях и осыпал его словами, не предназначенными для печати.

— Ты что, всю ночь здесь проторчал, остолоп? — сказал доктор.

— Более или менее, — сказал Бобби покаянно. — Он ко мне примерз.

Тут Дормер, лязгнув челюстями, закрыл рот, повернул голову и вздохнул. Пальцы его разжались, и рука Бобби, выпущенная из тисков, бессильно упала.

— Он выкарабкается, — сказал доктор тихо. — Похоже, он всю ночь висел между жизнью и смертью. — А тебя, видно, надо поздравить с удачным исцелением.

— Ерунда! — сказал Бобби. — Я думал, он давно испустил дух... просто как-то не хотелось

отнимать у него руки. Разотрите-ка меня, вот так, спасибо! Ох, и хватка же у этого парня! Я промерз до костей. — И он, весь дрожа, вышел из палатки.

Рядовому Дормеру разрешили отпраздновать победу над смертью сильными возлияниями. А через четыре дня он сидел на койке и просветленно объяснял другим больным:

— Уж очень мне невтерпеж с ним поговорить — а то как же...

Бобби тем временем читал очередное письмо (никто в лагере не получал писем так часто, как он) и собирался было написать в ответ, что эпидемия затухает и, самое большее, через неделю-другую отступит окончательно. Он не хотел писать, что холод от руки больного просочился до того самого сердца, которое так умело любить. Зато он хотел вложить в письмо разукрашенную программу предстоящего любительского концерта, которым он немало гордился. Хотел он написать и о многом другом, что нас не касается, и непременно написал бы, если б не легкий жар и головная боль, по причине которых он просидел весь вечер в офицерском собрании вялый и ко всему безучастный.

— Ты слишком надрываешься, Бобби, — сказал

ему ротный. — Мог бы передоверить часть работы нам. Ты так надсаживаешься, будто должен работать за нас всех. Передохни немного.

— Ладно, — сказал Бобби. — Я и впрямь несколько устал.

Ривир озабоченно посмотрел на него, но ничего не сказал.

В эту ночь по лагерю мелькали фонари; ходили слухи, которые подняли людей с постелей и заставили сгрудиться у дверей палаток. Чавкали по грязи босые ноги носильщиков, раздавался стремительный топот копыт.

— Что случилось? — спросили двадцать палаток, и по двадцати палаткам разнесся ответ:

— Вик захворал.

Когда эту новость сообщили Ривиру, он застонал:

— Заболей кто угодно, кроме Бобби, я бы смирился. Прав оказался полковой старшина.

— Нет, я не поддамся, — задыхаясь, шептал Бобби, когда его поднимали с носилок. — Нет, я не поддамся. — И добавил с глубочайшей уверенностью: — Понимаете, мне никак нельзя.

— Конечно, нет, если это только в моих силах, — сказал старший врач, который тотчас примчался из офицерского собрания, бросив на

середине обед.

Он бок о бок с полковым врачом отвоевывал у смерти Бобби Вика. В разгар хлопот их прервало появление обросшего призрака в небесно-сером халате; призрак глядел на постель и причитал: «Ах ты, господи! Неужто это *он*!» — до тех пор, пока разгневанный санитар не прогнал его прочь.

Если б уход врачей и жажда жизни могли помочь, Бобби был бы спасен. Он и так целых три дня сопротивлялся смерти, отчего нахмуренный лоб старшего врача разгладился.

— Мы его спасем, — сказал он, и полковой врач, который хоть и приравнивался по рангу к капитану, был юн душой, выскочил из палатки на свет божий и, не помня себя от радости, заплясал по грязи.

— Нет, я не поддамся, — стойко шептал Бобби Вик на исходе третьего дня.

— Молодцом! — сказал старший врач. — Так держать, Бобби!

А вечером серые тени сгустились вокруг губ Бобби, и он в изнеможении отвернулся к стене. Старший врач свел брови.

— Я жутко устал, — сказал Бобби чуть слышно. — Какой смысл пичкать меня лекарствами? Я… больше не… хочу их… Оставьте меня.

Жажда жизни покинула Бобби, и он охотно отдался медленно накатывавшей на него смертной волне.

— Мы напрасно стараемся, — сказал старший врач. — Он не хочет жить. Бедный мальчик, он ищет смерти. — И врач высморкался.

А за полмили от госпиталя полковой оркестр исполнял увертюру, начинался концерт: солдат уверили, что Бобби вне опасности. До Бобби донеслось громыханье медных тарелок и вой рожков.

Я радость знал, я знал печаль
И в горе не сробею.
Не любишь. Что ж… Скажи: прощай
И уходи скорее.

По лицу юноши промелькнуло выражение крайней досады, он попытался тряхнуть головой.

— В чем дело, Бобби? — нагнулся к нему старший врач.

— Только не этот вальс, — забормотал Бобби. — Только не наш… тот наш с ней… Мама, милая…

Произнеся эту загадочную фразу, он погрузился в забытье, а на следующее утро, так и не приходя в себя, умер.

Ривир, у которого веки стали совсем красными, а нос побелел, зашел в палатку Бобби — написать папе Вику письмо — письмо, которое неминуемо пригнет к земле седую голову бывшего комиссара Чхота-Балданы, ибо горя горше ему не пришлось испытать за всю его жизнь. Немногочисленные бумаги Бобби в беспорядке валялись по столу, среди них нашлось недописанное письмо. Оно обрывалось на предложении: «Так что, как видишь, любимая, опасаться нечего: пока я знаю, что ты любишь меня, а я тебя, со мной ничего не случится».

Ривир провел в палатке час. Когда он вышел, глаза его покраснели еще пуще.

* * *

Рядовой Конклин, примостившись на опрокинутом ведре, слушал музыку, которую ему доводилось нередко слышать в последнее время. Рядовой Конклин только что пошел на поправку и требовал особо бережного к себе отношения.

— Ишь ты! — сказал рядовой Конклин. — Еще один офицеришка окочурился.

В тот же миг он слетел с ведра, а из глаз его посыпался сноп искр.

Высоченный детина в небесно-сером халате

разглядывал его с нескрываемым омерзением.

— Бесстыжий ты, Конки! Офицеришка? Офицеришка окочурился, говоришь? Я тебя научу, как его обзывать. Ангел! *Всамделишный* ангел окочурился! Вот как!

Санитар счел кару настолько справедливой, что не отправил рядового Дормера в постель.

МЭ-Э, ПАРШИВАЯ ОВЦА...[24]

Перевод М. Кан

Мэ-э, паршивая овца.
Дай хоть шерсти клок!
Да, сэр, да, сэр, — три мешка,
Полон каждый мешок.
Хозяйке — мешок, и хозяину тоже,
И кукиш — мальчишке: быть плаксой негоже.

Считалочка [25][26]

Взгляни, как публика грустит,
Покуда Панч за сценой скрыт.
Но раздается голосок —

---

[24] notes: 24

Впервые в 1888 г., вошло в сборник «Вилли-Винки». Рассказ автобиографический. Шести лет Киплинг вместе с сестрой был оставлен в Англии на попечение чужих людей и прожил у них возле приморского городка Саутси шесть лет, после чего еще через год поступил в колледж. Подготовкой к учению и была мотивирована эта мера, этот отрыв от своей семьи, остававшейся в Индии, однако травма сохранилась у Киплинга на всю жизнь. Впоследствии он поселился неподалеку от Саутси, но, как вспоминает его сестра, не мог себя заставить поехать и взглянуть на старые места.

[25] notes: 25

Стихи в переводе Р. Сефа.

[26] notes: 26

Заглавие и первый эпиграф к рассказу взяты Киплингом из песенки, вошедшей в знаменитый сборник «Детская поэзия». Второй эпиграф из стихотворения Свифта «Ода Панчу».

Он хрипловат и так высок.
От всей души смеются люди —
На ширме появилась Джуди.
Дж. Свифт. «Ода Панчу»

МЕШОК ПЕРВЫЙ

«Когда я в отчем доме жил, то мне жилось получше».

Панча укладывали сообща — *айя*, *хамал* и Мита, рослый, молодой *сурти* в красном с золотом тюрбане. Джуди давно подоткнули одеяльце, и она сонно посапывала за пологом от москитов. Панчу же позволили не ложиться до после обеда. Вот уже дней десять поблажки так и сыпались на Панча, и взрослые, населяющие его мир, смотрели добрей на его замыслы и свершения, по преимуществу опустошительные, точно смерч. Он сел на край кровати и независимо поболтал босыми ногами.

— Панч-*баба*, бай-бай? — с надеждой сказала *айя*.

— Не-а, — сказал Панч. — Панч-*баба* хочет сказку, как жену раджи превратили в тигрицу. Ты, Мита, рассказывай, а *хамал* пускай спрячется за дверью и будет рычать по-тигриному в страшных местах.

— А не разбудим Джуди-*баба*? — сказала *айя*.

— Джуди-*баба* и так разбудилась, — пропищал

голосишко из-за полога. — Жила-была в Дели жена раджи. Говори дальше, Мита. — И не успел Мита начать, как она вновь уснула крепким сном.

Никогда еще эта сказка не доставалась Панчу ценой столь малых усилий. Тут было над чем призадуматься. Да и *хамал* рычал по-тигриному на двадцать разных голосов…

— Стой! — повелительно сказал Панч. — А что же папа не идет сказать кого-я-сейчас-отшлепаю?

— Панч-*баба* уезжает, — сказала *айя*. — Еще неделя, и некому будет больше дергать меня за волосы. — Она тихонько вздохнула, ибо очень дорог был ее сердцу хозяйский мальчик.

— На поезде, да? — сказал Панч, становясь ногами на кровать. — В Гхаты и по горам, прямо в Насик, где поселилась тигрица, бывшая жена раджи?

— Нет, маленький *сахиб*, — сказал Мита и посадил его себе на плечо. — В этом году — не в Насик. На берег моря, где так хорошо швырять в воду кокосовые орехи, а оттуда — за море на большом корабле. Возьмете Миту с собой в Белайт?

— Всех возьму, — объявил Панч, высоко вознесенный сильными руками Миты. — Миту, *айю*,

хамала, Бхини-который-смотрит-за-садом и Салам-капитан-*сахиба*, заклинателя змей.

— Велика милость *сахиба*, — сказал Мита, и не было в его голосе усмешки. Он уложил маленького человека в постель, а *айя*, присев в лунном квадрате у порога, принялась убаюкивать его бормотанием, нескончаемым и певучим, как литания в парельской католической церкви. Панч свернулся клубочком и заснул.

Утром Джуди подняла крик, потому что в детскую забралась крыса, и замечательная новость вылетела у Панча из головы. Хотя не так уж важно, что он ей не сказал, ведь ей шел всего четвертый год, ей было все равно не понять. Зато Панчу сравнялось пять лет, и он знал, что в Англию ехать куда интересней, чем в Насик.

И вот продали карету и продали пианино, оголились комнаты, меньше стало посуды, когда садились за стол, и папа с мамой подолгу совещались, разбирая пачку конвертов с роклингтонским штемпелем.

— Хуже всего, что ни в чем нет твердой уверенности, — поглаживая усы, говорил папа. — Письма-то, вообще говоря, производят самое приятное впечатление, условия тоже вполне приемлемы…

Хуже всего, что дети будут расти без меня, думала мама, хотя вслух так не говорила.

— Мы не одни — сотни в таком же положении, — с горечью говорил папа. — Ничего, милая, пройдет пять лет, и ты опять поедешь домой.

— Панчу тогда будет десять, Джуди — восемь. Ох, как долго, как страшно долго будет тянуться время! И потом, их придется оставить на чужих людей.

— Панч у нас человек веселый. Такой сыщет себе друзей повсюду.

— А моя Джу — ну как ее не полюбить?

Поздно вечером они стояли у кроваток в детской, и мама, по-моему, тихо плакала. Когда папа ушел, она опустилась на колени возле кроватки Джуди. *Айя* увидела и помолилась о том, чтобы никогда не отвратилась от *мэм-сахиб* любовь ее детей и не досталась чужой.

Мамина же молитва получилась немножко непоследовательной. Общий смысл у нее был такой: «Пусть чужие полюбят моих детей, пусть обращаются с ними, как обращалась бы я сама, но пусть одна я на веки вечные сохраню их любовь и доверие. Аминь». Панч почесался во сне, Джуди немножко похныкала. Вот и весь ответ на молитву, а назавтра все отправились к морю, и был

скандал в гавани Аполло Бандер, когда Панч обнаружил, что Мите с ними нельзя, а Джуди узнала, что остается на берегу *айя*. Правда, Мита и *айя* еще не вытерли слезы, как на большом пароходе Пиренейско-Восточной компании открылись и заворожили Панча тысячи увлекательнейших предметов — таких, как канаты, блоки, паровые трубы и тому подобное.

— Возвращайтесь, Панч-*баба*, — сказала *айя*.

— Возвращайтесь, станете *бурра-сахибом*, — сказал Мита.

— Ладно, — сказал Панч, и отец взял его на руки, чтобы он помахал им на прощанье. — Ладно, вернусь и буду *бурра сахиб баха дур*.

В первый же вечер Панч потребовал, чтобы его немедленно высадили в Англии, которая, по его расчетам, должна была находиться где-то под боком. На другой день задувал свежий ветерок, и Панч чувствовал себя совсем неважно.

— Назад в Бомбей поеду по твердой дороге, — сказал он, когда ему стало полегче. — В карете-*гхарри*. Этот пароход салютно не умеет себя вести.

Его ободрил боцман-швед, и чем они дальше плыли, тем больше менялись к лучшему первоначальные суждения Панча. Столько нужно было

разглядеть, потрогать, обо всем расспросить, что почти изгладились из памяти и *айя*, и Мита, и *хамал*, и лишь с трудом удавалось припомнить отдельные слова на хиндустани, некогда втором его родном языке.

С Джуди дела обстояли и того хуже. За день перед тем, как им прибыть в Саутгемптон, мама спросила, хочется ли ей снова увидеть айю. Джуди устремила голубые глазки к просторам моря, без остатка поглотившего ее крошечное прошлое, и сказала:

— *Айя*! Какое такое *айя*?

Мама расплакалась над нею, а Панч изумился. Тогда-то и услышал он впервые горячую мамину мольбу, чтобы никогда он не давал Джуди забывать, кто такая мама. Уразуметь такое было трудно, поскольку Джуди была еще маленькая, маленькая до смешного, а мама весь месяц каждый вечер приходила к ним в каюту петь ей и Панчу на сон грядущий не очень понятную песенку, прозванную им «Сын, покров мой»[27]. Несмотря на это, он честно старался исполнить возложенную на него обязанность и, как только за мамой закрывалась дверь, говорил Джуди:

---

[27] notes: 27

...Сын, покров мой... — Мальчик на свой лад повторяет молитву пресвятой троицы.

— Джу, ты маму не забыла?

— Нискоечки, — говорила Джуди.

— И никогда в жизни не забывай, а то мне рыжий капитан-сахиб наделал голубейчиков из бумаги, а я тебе не дам.

И Джуди добросовестно обещала, что не забудет маму «никогда на свете».

Много, очень много раз обращены были к Панчу слова этого маминого заклинания, и с настойчивостью, нагонявшей на мальчика оторопь, то же самое твердил ему папа.

— Ты непременно поскорее выучись писать, Панч, — сказал как-то папа. — Тогда мы в Бомбее сможем получать от тебя письма.

— Я лучше буду заходить к тебе в комнату, — ответил Панч, и папа поперхнулся.

Папе с мамой в эти дни ничего не стоило поперхнуться. Примется Панч распекать Джуди за забывчивость — и готово, поперхнулись. Начнет, развалясь на диване в меблированной саутгемптонской квартире, расписывать в розовых и золотых тонах свое будущее — опять поперхнулись, а стоит Джуди сложить губки для поцелуя — тем более.

Много дней странствовали эти четверо по белу свету, и Панчу некому было отдавать приказания,

и ничего было не поделать, что так отчаянно мала Джуди, и все тянуло поперхнуться серьезных, озабоченных папу и маму.

— И где только наша карета-*гхарри*, — спрашивал Панч, когда ему вконец опротивело тряское сооружение на четырех колесах, увенчанное горой тюков и чемоданов. — Ну, где? Эта штуковина так тараторит, что мне словечка не вставить. Где же наша карета-гхарри? В Банд-станде, когда еще мы не уезжали, в нее сел Инверарити-*сахиб* и сидит. Я спрашиваю, зачем это, а он говорит, она моя. Я говорю ему — он хороший, Инверарити-*сахиб*, — я подарю вам ее, только вам, наверное, слабо продеть ноги в лопоухие петли у окошек? Он говорит слабо и смеется. А мне — не слабо. Я и в эти продену. Вот, глядите! Ой, а мама опять плачет! Ну, откуда я знал. Мне не говорили, что так нельзя.

Панч выпростал ноги из петель наемной кареты, дверца распахнулась, и вместе с каскадом свертков он выпал на землю у ворот безрадостного на вид особнячка — дощечка на воротах гласила: «Даун-лодж». Панч поднялся с земли и обвел дом неодобрительным взглядом. Даун-лодж стоял у песчаной дороги, и ветер тронул холодными пальцами голые до колен ноги мальчика.

— Поехали отсюда, — сказал Панч. — Здесь некрасиво.

Но мама, папа и Джуди уже вышли из кареты, и все вещи уже вносили в дом. На пороге стояла женщина в черном, она широко растянула в улыбке растрескавшиеся, сухие губы. За ней стоял мужчина, большой, сухопарый, седой, хромой на одну ногу, за ним — черный, елейной наружности малый лет двенадцати. Панч оглядел троицу и бесстрашно шагнул вперед, как привык делать в Бомбее, когда приходили гости, а он играл на веранде.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я — Панч. — Но все они смотрели на вещи — то есть все, кроме седого, тот поздоровался с Панчем за руку и сказал, что он «бравый малец». Поднялась беготня, со стуком ставили на пол дорожные сундуки, и Панч свернулся на диване в гостиной и стал обдумывать положение вещей.

— Не нравятся мне эти люди, — сказал Панч. — Но это ничего. Мы скоро уедем. Мы всегда отовсюду скоро уезжаем. Хорошо бы сразу назад в Бомбей.

Однако его желание не сбылось. Шесть дней мама плакала, а в промежутках показывала женщине в черном всю одежду Панча — непрости-

тельная, с точки зрения Панча, бесцеремонность. Впрочем, может быть, это новая белая *айя*, думал Панч.

— Ее велят звать тетя, а не роза, — по секрету рассказывал он Джуди, — а она меня не зовет *сахиб*. Просто Панч, и все. И так видно, что не роза, но что значит тетя?

Джуди не знала. Они с Панчем и не слыхивали, что это за зверь такой — тетя. В их мироздании был папа и была мама, они все знали, все позволяли и всех любили — даже Панча, когда ему в Бомбее по пятницам стригли ногти, и он тут же бежал в сад и наскребал себе под них земли, а то пальцам «чересчур ново на концах», как объяснял он меж двумя шлепками шлепанцем вконец потерявшему терпение отцу.

Повинуясь смутному чутью, Панч предпочитал при женщине в черном и черном малом держаться поближе к родителям. Они не нравились ему. Ему был по душе седой, который изъявил желание именоваться «Дядягарри». Встречаясь, они обменивались кивками, а один раз седой показал ему кораблик, на котором, как на взаправдашном корабле, поднимались и опускались паруса.

— Это модель «Бриза» — малютки «Бриза», который был один незащищен в тот день под На-

варином[28], — последние слова седой промолвил нараспев и впал в задумчивость. — Вот будем ходить вдвоем гулять, Панч, и я тебе расскажу про Наварин, только кораблик трогать нельзя, ведь это «Бриз».

Задолго до того, как состоялась их совместная, первая из многих, прогулка, Панча и Джуди студеным февральским утром подняли на рассвете с постели прощаться — с кем бы вы думали? — с папой и мамой, которые на этот раз плакали оба. Панч никак не мог окончательно проснуться, а Джуди капризничала.

— Не забывайте нас, — молила мама. — Ох, маленький сын мой, не забывай нас и смотри, чтобы Джуди тоже помнила.

— Я Джуди и так говорил, чтобы помнила, — сказал Панч, стараясь увернуться от отцовской бороды, щекочущей ему шею. — Тыщу раз говорил — сорок одиннадцать тыщ. Но Джу такая маленькая — совсем еще маленький ребеночек, правда?

— Правда, — сказал папа. — Совсем ребеночек, и ты с ней должен хорошо обращаться и выучиться

---

[28] notes: 28

…в тот день под Наварином… — Морское сражение 1827 г., в котором турецкий флот был разбит соединенными силами Англии, Франции и России.

поскорей писать, и… и…

Панч опять оказался в постели. Джуди сладко спала, внизу загромыхала карета. Папа с мамой уехали. Не в Насик, Насик за морем. Наверняка куда-нибудь поближе, и — опять-таки наверняка — они вернутся. Возвращались же они, когда бывали в гостях, возвратился же папа, когда уезжал с мамой в какие-то «Снега»[29]; а Панч и Джуди оставались у миссис Инверарити в Марин-лайнз. Значит, они и теперь обязательно приедут назад. И Панч уснул, а когда проснулся, было настоящее утро, и черный малый встретил его сообщением, что папа и мама уехали в Бомбей, а их с Джуди «насовсем» оставили в Даун-лодже. Тетя, а не роза, в ответ на слезную просьбу подтвердить, что это не так, сказала, что Гарри говорит правду, а вот Панчу не мешало бы перед тем, как ложиться спать, аккуратно складывать снятые вещи. Панч ушел и залился горючими слезами, а с ним — Джуди, ибо в ее белокурой головке, его стараниями, уже забрезжило представление о том, что такое разлука.

Когда взрослому человеку случится вдруг узнать, что он презрен провидением, оставлен

---

[29] notes: 29

…какие-то «Снега»… Марин-лайнз… — Клуб в Симле, приморский район в Бомбее, знакомые самому Киплингу.

богом и без участия, поддержки, сострадания брошен один в неведомом и чуждом ему мире, его скорее всего охватит отчаяние, и он, ища забвенья, быть может, погрязнет в пороке или начнет писать мемуары, а нет, так прибегнет к столь же драматическому, но еще более действенному средству — покончит с собой. От ребенка в таких же точно, сколько дано ему судить, обстоятельствах трудно ждать, что он пошлет проклятье небесам и покончит счеты с жизнью. Он просто будет реветь благим матом, покуда не покраснеет нос, не распухнут глаза, не разболится голова. Панч и Джуди, ничем того не заслужив, утратили все, что до сей поры было их вселенной. Они сидели в передней и плакали, а на них, стоя поодаль, глазел черный малый.

Не принесла утешения модель корабля, хотя седой уверял, что Панчу разрешается сколько душе угодно поднимать и спускать паруса, не помогло и обещание, что Джуди будет открыт свободный доступ на кухню. Они хотели к папе и маме, а папа и мама уехали за море, в Бомбей, и ничем не унять было горя, пока ему сам собой не вышел срок.

К тому времени, как слезы иссякли, все притихло в доме. Тетя, а не роза, решила не трогать

детей, пока «не выплачутся вволю», малый ушел в школу. Панч приподнял с пола голову и горестно хлюпнул носом. Джуди одолевал сон. За три коротеньких года жизни она не научилась сносить беду, глядя ей прямо в лицо. В отдаленье раздавался глухой гул — мерные, тяжкие удары. Панчу этот звук был знаком по Бомбею в сезон муссонов. То было море — море, которое необходимо переплыть всякому, кто хочет добраться до Бомбея.

— Живей, Джу! — вскричал он. — Здесь рядом море. Его отсюда слышно. Слушай! Ведь они туда поехали. Может быть, мы их догоним, если не будем зевать. Они без нас и не собирались никуда. Просто забыли.

— Ну да, — сказала Джуди. — Просто забыи. Бежим к мою.

Дверь из передней стояла открытой, садовая калитка — тоже.

— Очень тут все далеко, — сказал Панч, опасливо выглянув на дорогу, — мы потеряемся, но будь покойна, уж я кого-нибудь найду и велю, чтобы проводили домой — в Бомбее сколько раз так бывало.

Он взял Джуди за руку, и с непокрытой головой они припустились в ту сторону, откуда раздавал-

ся шум моря. Даун-лодж стоял почти последним в ряду домов-новостроек, который, обегая беспорядочные нагромождения кирпича, вел на пустошь, где иногда становились табором цыгане и проводила учения роклингтонская крепостная артиллерия. Встречные попадались редко и, вероятно, принимали Панча и Джуди за детишек местной солдатни, которым не в диковинку было забираться в любую даль. Полчаса топали вперед детские слабые ноги — по пустоши, по картофельному полю, по песчаной дюне.

— Ой, как я устала, — сказала Джуди, — и мама будет сердиться.

— Мама никогда не сердится. Наверно, стоит и ждет у моря, а папа берет билеты. Сейчас мы их найдем и поедем вместе. Джу, ты не садись на землю, нельзя. Еще чуть-чуть, и мы выйдем к морю. Да не садись ты, Джу, а то как наподдам!

Они взобрались на вторую дюну и вышли к большому серому морю. Был час отлива, и по берегу улепетывали врассыпную сотни крабов, но мамы с папой не было и следа, и даже парохода не было на море — ничего, только грязь да песок на многие мили.

Здесь и наткнулся на них случайно «Дядягарри» — зареванный Панч мужественно пытался

развлечь Джуди, показывая ей «бояку-краба», а Джуди, обливаясь слезами, взывала к безжалостному горизонту:

— Мама, мама! — И снова: — Мама!

МЕШОК ВТОРОЙ

О, этот мир — какой измерить мерой
Ограбленные души и умы:
Не верим, оттого что жили верой,
Не ждем, затем что чуда ждали мы.

«Город страшной ночи» [30]

Пока что — ни слова о Паршивой овце. Она явилась позже, и обязана своим появлением в первую очередь черному малому, Гарри.

Джуди — ну как было не полюбить малышку Джуди — получила по особому разрешению свободный доступ на кухню, а оттуда — прямехонько в сердце тети Анни-Розы. Гарри был у тети Анни-Розы единственный сын, а Панч оказался в доме сбоку припека. Для него и нехитрых его занятий места отведено не было, а валяться по диванам и излагать свои соображения насчет того, как устроен этот мир и чего лично он, Панч,

---

[30] notes: 30

Эпиграф к «Мешку второму» взят Киплингом из поэмы «Город страшной ночи» (1874), принадлежащей Джеймсу Томсону (1834—1882), английскому поэту, с творчеством которого Киплинг познакомился в школьные годы. Это исповедь одиночки, понесшего одну за другой тяжелые утраты — родителей, жены, службы, достойного места в обществе.

ожидает от будущего, ему запрещали. Валяются одни лентяи, и нечего протирать обивку, и нехорошо, когда маленькие столько разговаривают. Пусть лучше слушают, что им говорят старшие, так как говорится это в назидание им и во благо. Полновластный владыка домашней империи в Бомбее никак не мог взять в толк, отчего в этом новом бытии он совсем ничего не значит.

Гарри, когда ему что-нибудь захочется, лез через стол и хватал без спроса, Джуди — показывала, и ей давали. Панчу и то и другое запрещалось. Долгие месяцы после того, как уехали мама с папой, у него оставалось одно-единственное прибежище и заступа — седой; кроме того, он совсем забыл, что надо говорить Джуди «помни маму».

Впрочем, такая оплошность простительна, ибо за это время тетя Анни-Роза успела приобщить его к двум чрезвычайной важности явлениям — он узнал, что есть на свете бесплотное существо по имени Бог, близкий друг и союзник тети Анни-Розы, обитающий, по всей видимости, за кухонной плитой, где всего жарче, а также коричневая замусоленная книжка, испещренная непонятными точечками и загогулинами. Панч был всегда рад удружить человеку. Поэтому он приправил повесть о сотворении мира уцелев-

шими в его памяти обрывками индийских сказок и преподнес эту смесь Джуди, чем привел тетю Анни-Розу в полное негодование. Он совершил грех, тяжкий грех, и за это должен был добрых пятнадцать минут слушать, что ему говорят старшие. В чем именно заключается прегрешение, он толком понять не мог, но все-таки старался не повторять его, так как Бог, по словам тети Анни-Розы, слышал все до последнего слова и очень разгневался. Если так, мог бы и сам прийти сказать, подумал Панч и выбросил этот случай из головы. После он твердо усвоил, что Господь — это тот, кто один в целом свете превосходит могуществом грозную тетю Анни-Розу; тот, кто стоит в тени и считает удары розгой.

Но пока гораздо существенней всякой веры было другое — чтение. Тетя Анни-Роза усадила его за стол и заявила, что А и Б — это «аб».

— Почему? — сказал Панч. — А — это «а», а Б — это «бэ». Почему же выходит, что А и Б — это «аб»?

— Раз сказано, значит, никаких «почему», — сказала тетя Анни-Роза. — Теперь повтори.

Панч послушно повторил, и месяц потом с великой неохотой одолевал коричневую книжку, не понимая при этом ни единого слова. Хорошо еще,

что в детскую время от времени заглядывал дядя Гарри, который имел обыкновение подолгу, и чаще всего без спутников, где-то бродить, и говорил тете Анни-Розе, чтобы она отпустила Панча с ним погулять. Он мало разговаривал, зато он показал Панчу весь Роклингтон, от илистых отмелей и песчаных дюн закрытой бухты до огромной гавани, где стояли на якоре суда, и верфей, где ни на миг не смолкали молотки, и матросских лавок, где торговали всякой корабельной всячиной, до сверкающей ясной медью прилавков конторы, куда дядя Гарри раз в три месяца уходил с синенькой бумажкой, а взамен приносил соверены, потому что был ранен на войне и получал на это пенсию. А еще Панч услышал из его уст рассказ о Наваринской битве и как потом все военные моряки три дня ходили глухие, словно пень, и все объясняли друг другу руками.

— Это оттого, что так громко гремели орудия, — рассказывал дядя Гарри, — а у меня внутри где-то застрял с тех пор пыж от снаряда.

Панч поглядывал на него с любопытством. О том, что такое пыж, он не имел понятия, а снаряд представлял себе как пушечное ядро размером чуть побольше его головы, какие видел на верфи. Неужели дядя Гарри ухитряется носить в себе пу-

шечное ядро? Спросить он не решался из страха, что дядя Гарри разозлится.

Раньше Панч вообще не знал, как это люди злятся всерьез, но настал страшный день, когда Гарри без спросу взял у него краски рисовать пароход, а Панч громко и плаксиво потребовал их назад. Тут и вмешался дядя Гарри, он буркнул что-то насчет несвоих детей и хватил черного малого тростью между лопаток, да так, что тот взвыл и разразился ревом, тогда прибежала тетя Анни-Роза и закричала, чтобы дядя Гарри не смел обижать родного ребенка, а Панч стоял и дрожал, как осиновый лист.

— Я не нарочно, — объяснял он черному малому, но тот, а с ним и тетя Анни-Роза сказали, что нет, нарочно и что Панч ябеда, и на целую неделю прогулки с дядей Гарри прекратились.

Но Панчу эта неделя принесла большую радость.

Он сидел и до одури бубнил волнующее сообщение: «Том, вот так кот вон там».

— Теперь я умею читать как следует, — сказал Панч, — и уж теперь-то я никогда в жизни ничего больше читать не стану.

Он сунул коричневую книжку в шкаф, где квартировали его учебники, сделал неловкое

движение, и оттуда вывалился почтенный фолиант без переплета, на обложке которого значилось «Журнал Шарпа»[31]. На первой обложке изображен был устрашающей наружности гриф, а ниже шли стихи. Каждый день этот гриф уносил из деревушки в Германии по овце, но вот пришел человек с «булатным мечом» и снес грифу голову. Что такое «булатный меч», оставалось загадкой, но гриф есть гриф, и куда было с ним тягаться опостылевшему коту.

— В этом, по крайней мере, виден смысл, — сказал Панч. — Теперь я буду знать про все на свете.

Он читал, покуда не угас дневной свет, читал, не понимая и десятой доли и все же не в силах оторваться от заманчивых и мимолетных видений нового мира, который ему предстояло открыть.

— Что такое «булатный»? И «ярочка»? И «гнусный потихитель»? И что такое «тучные пастбища»? — с пылающими щеками допытывался он перед сном у ошеломленной тети Анни-Розы.

— Помолись — и марш в постель, — отвечала она, и ни тогда, ни после не видел он от нее иной помощи в новом и упоительном занятии, имя которому чтение.

---

[31] notes: 31

«Журнал Шарпа». — Выходил в Лондоне в 1850 — 1870-х гг. и представлял собой одно из первых массовых периодических изданий.

— У тети Анни-Розы все только бог да бог, она больше и не знает ничего, — рассудил Панч. — Мне дядя Гарри скажет.

На первой же прогулке выяснилось, что дяде Гарри тоже нечем ему помочь, но он хотя бы не мешал Панчу рассказывать и даже присел на скамейку, чтобы спокойно послушать про грифа. Другие прогулки сопровождались другими историями, ибо Панч все смелей совершал вылазки в область неизведанного, благо в доме обнаружились залежи старых, никогда и никем не читанных книг — от Фрэнка Фарли частями с продолжением, от ранних, неподписанных стихотворений Теннисона в «Журнале Шарпа», до ярких, разноцветных, восхитительно непонятных каталогов Выставки 1862 года и разрозненных страниц «Гулливера»[32].

---

[32] notes: 32

…Фрэнк Фарли… Теннисон… каталогов Выставки 1862 года и разрозненных страниц Гулливера… — Под именем Фрэнка Фарли выходило массовое периодическое издание. Популярный английский поэт прошлого века Альфред Теннисон, опасаясь критики, некоторое время печатался анонимно. Международная промышленно-хозяйственная выставка, открывшаяся впервые в Лондоне в 1851 г. в том самом Хрустальном дворце, который в глазах Достоевского олицетворял все убожество буржуазного «преуспеяния», стала с тех пор традиционной. «Путешествия Гулливера» сыграли в формировании Киплинга особую роль. Он познакомился с этой книгой очень рано, потому что создателем этой книги, Свифтом, специально интересовался его отец, художник и ученый.

Едва научась цеплять одну загогулину за другую, Панч написал в Бомбей, требуя, чтобы с первой же почтой ему выслали «все книги, какие только есть». Столь скромный заказ оказался папе не по плечу, и он прислал сказки братьев Гримм и еще томик Ганса Андерсена. Этого оказалось довольно. Отныне Панч мог во мгновение ока перенестись в такое царство, куда нет доступа тете Анни-Розе с ее Господином Богом и Гарри, который только и знает, что дразнится, и Джуди, которая вечно пристает, чтобы с ней поиграли. Лишь бы его оставили в покое.

— Не трогай меня, я читаю, — огрызался Панч.
— Иди играй на кухне. Тебя-то пускают туда.

У Джуди резались настоящие зубы, и она нигде не находила себе места. Она пошла жаловаться, и на Панча обрушилась тетя Анни-Роза.

— Я же читал, — объяснил он. — Читал книжку. Если мне хочется!

— Выхваляться тебе хочется, больше ничего, — сказала тетя Анни-Роза. — Но это мы еще посмотрим. Чтобы сию минуту шел играть с Джуди и всю неделю не смей мне открывать книжку.

Не так-то весело играть с человеком, когда он весь кипит от возмущения, и Джуди убедилась в этом. Кроме всего прочего, в постигшей Панча

каре угадывалось мелочное злорадство, трудно-доступное его пониманию.

— Мне что-то нравится делать, — сказал Панч. — А она узнала и не дает. Не плачь, Джу, ты не виновата, ну не плачь, прошу тебя, а то она скажет, что это из-за меня.

Чтобы не подводить его снова, Джу вытерла слезы, и они пошли играть в детскую, комнатенку в полуподвале, куда их, как правило, отсылали днем, после обеда, когда тетя Анни-Роза ложилась соснуть, хлебнув перед тем — для пищеварения — вина или еще чего-то из бутылки, которая хранилась в погребце. Если заснуть не удавалось, она наведывалась в детскую удостовериться, действительно ли дети играют, как им надлежит. Но даже кубики, серсо, кегли и кукольная посуда в конце концов надоедают, особенно когда стоит лишь открыть книгу, и тотчас попадаешь в волшебную страну, а потому сплошь да рядом оказывалось, что Панч либо читает Джуди вслух, либо рассказывает нескончаемые сказки. Такое считалось прегрешением в глазах закона, и Джуди немедленно уволакивали прочь, а Панча оставляли в одиночестве с приказанием играть, «и смотри, чтобы мне слышно было, что ты играешь».

От него требовалось, иными словами, производить шум, как при игре, и унылое то было времяпрепровождение. В конце концов, проявив чудеса изобретательности, он приноровился подкладывать под три ножки стола по кубику, так чтобы четвертая не доставала до полу. Теперь можно было одной рукой со стуком раскачивать стол, а другой держать книгу. Так он и делал вплоть до того злополучного дня, когда тетя Анни-Роза застигла его врасплох на месте преступления и объявила, что он «занимается обманом».

— Ну а если ты дорос до такого, — сказала она, — после обеда она всегда была в особенно скверном расположении духа, — значит, ты дорос и до того, чтобы тебя выдрать.

— Но я… я ведь не собачонка! — в ужасе сказал Панч. Тут он вспомнил дядю Гарри с тростью в руках и побелел. Тетя Анни-Роза держала за спиной тонкий прут, и Панч был незамедлительно выдран между лопаток. В эту минуту свершилось для него потрясение основ. Затем дверь захлопнули, предоставив ему свободу наедине оплакать свой проступок, раскаяться и обдумать, как ему жить дальше.

На стороне тети Анни-Розы сила, рассуждал

Панч, ей никто не запретит драть его хоть до полусмерти. Это несправедливо и жестоко, и папа с мамой не допустили бы такого ни за что. Если только, как на то намекает тетя Анни-Роза, все не делается по их же тайному указанию. Тогда его, значит, и правда бросили. В будущем разумней не давать тете Анни-Розе повода для недовольства, хотя, с другой стороны, в желании «выхваляться», скажем, его уличали, когда он и не помышлял ни о чем подобном. Так, например, он, оказывается, «выхвалялся» перед гостями, когда накинулся на незнакомого господина — который вовсе не ему, а Гарри приводился дядей — с расспросами о грифе и булатном мече, а заодно и о том, что за штука такая это самое тильбюри, в котором разъезжал Франк Фэрли, — то есть о материях крайне животрепещущих и требующих безотлагательного разъяснения. Не притворяться же ему, в самом деле, будто он любит тетю Анни-Розу.

В эту минуту вошел Гарри и остановился поодаль, гадливо разглядывая то, что недавно было Панчем, — взъерошенный комок, забившийся в угол комнаты.

— Ты — врун, маленький, а врун, — с явным удовольствием сказал Гарри. — Тебе не место за одним столом с нами, и ты будешь пить чай тут,

внизу. И не смей больше без маминого разрешения разговаривать с Джуди. Ты и ее испортишь. Для тебя самое подходящее общество — прислуга. Это мама так говорит.

Вызвав у Панча новый приступ отчаянных рыданий, Гарри удалился наверх и сообщил, что Панч до сих пор не образумился.

Дядя Гарри сидел за столом, как на иголках.

— Черт знает что, Анни-Роза, — сказал он наконец, — неужели нельзя оставить ребенка в покое? Вполне славный мальчишка, во всяком случае, когда он со мной.

— При тебе-то, Гарри, он шелковый, — сказала тетя Анни-Роза, — но я опасаюсь — и очень, — что он паршивая овца в стаде.

Черный малый услышал и намотал на ус — такое прозвище могло пригодиться. Джуди расплакалась, но ей было велено сейчас же перестать, потому что о таком братце плакать нечего, а на исходе дня Панч водворен был обратно в верхние покои и высидел положенное один на один с тетей Анни-Розой и смолокипящими ужасами ада, живописуемыми ею всею образностью, на какую способно было ее убогое воображение.

Горше всего была укоризна в широко открытых глазах Джуди, и Панч пошел спать, горбясь под

тяжестью унижения. Спал он в одной комнате с Гарри и заранее знал, какая ему уготована пытка. Полтора часа он был вынужден отвечать сему достойному отроку, каковы были побуждения, толкнувшие его на обман, обман вопиющий, и какое именно понес он за это наказание от тети Анни-Розы, и вдобавок изъявлять во всеуслышанье признательность за душеспасительные наставления, коими счел нужным снабдить его Гарри.

Этим днем ознаменовалось начало крушения Панча, отныне — Паршивой овцы или, для краткости, Паршивца.

— В одном обманул — ни в чем веры нет, — провозгласила тетя Анни-Роза, и Гарри понял, что сама судьба предает в руки его Паршивую овцу. Он завел привычку будить соседа среди ночи и вопрошать, отчего он такой нечестный.

— Не знаю, — отвечал Панч.

— А ты не думаешь, что тебе следует встать и помолиться, чтобы господь укрепил твой дух?

— Н-наверно.

— Тогда вставай и молись!

И Панч вылезал из постели, содрогаясь от невысказанной злости на весь мир, видимый и невидимый. Он теперь на каждом шагу попадал

впросак. Гарри был большой любитель устраивать ему перекрестные допросы о содеянном за день с таким расчетом, чтобы раз десять поймать его, заспанного, осатанелого, на том, что он сам себе противоречит, — а наутро о том исправно докладывалось тете Анни-Розе.

— Да не сказал я неправду, — начинал Панч, пускаясь в сбивчивые объяснения, и с каждым словом лишь увязая все глубже. — Я сказал, что два раза не читал молитву в тот день, то есть во вторник. Но один-то раз я читал! Я точно знаю, что читал, а Гарри говорит — нет. — И так далее, пока все, что скопилось внутри, не прорывалось наружу слезами, и его с позором выдворяли из-за стола.

— Раньше ты не был такой скверный, да? — говорила Джуди, подавленная перечнем злодеяний Паршивой овцы. — А теперь почему стал?

— Сам не знаю, — отвечал ей Паршивец. — Я вообще не скверный, просто меня чересчур затормошили. Я же знаю, чего я делал, а чего нет, а когда хочу сказать, Гарри все обязательно вывернет наизнанку, а тетя Анни-Роза ни одному словечку моему не верит. Джу, ты-то хоть не говори, что я скверный.

— А тетя Анни-Роза говорит — скверный. Вчера

приходил священник, она и сказала.

— И зачем она всем про меня рассказывает — даже кто не живет с нами? Так нечестно, — говорил Паршивец. — Вот когда мы жили в Бомбее, я что-нибудь сделаю — не напридумывают про меня, как здесь, а на самом деле — и мама скажет папе, а папа — мне, что ему про это известно, вот и все. А посторонние ничего не знали — Мита и то не знал.

— Я не помню, — печально говорила Джуди. — Я тогда была маленькая-маленькая. А правда, тебя мама любила так же сильно, как меня?

— Конечно. И папа. И все.

— Тетя Анни-Роза меня любит больше. Она говорит, что ты — тяжкий крест и паршивая овца и чтобы я с тобой без особой надобности не вступала в разговоры.

— Вообще? Не только в те разы, когда тебе совсем не велят со мной разговаривать?

Джуди горестно покивала головой. Паршивец отвернулся, пряча отчаяние, но его уже обхватили за шею ручки Джуди.

— Ну и подумаешь, — зашептала она. — А я с тобой как разговаривала, так и буду разговаривать целый век. Пускай ты… то есть пускай тетя Анни-Роза говорит, что ты скверный, пускай Гарри

говорит, что ты трус, а все равно ты мой родной брат… Он говорит, если я тебя как следует дерну за волосы, ты расплачешься.

— А ну дерни, — сказал Панч.

Джуди потянула, осторожно.

— Сильней — дерни изо всех сил! Видишь? Сейчас можешь сто раз дернуть, и мне ничто. Если ты со мной будешь разговаривать, как всегда, то дергай сколько хочешь — хоть совсем вырви. А вот если бы пришел Гарри, если бы он стоял и подговаривал тебя дергать, тогда я расплакался бы, я знаю.

Дети скрепили уговор поцелуем, и у Паршивца немножко отлегло от души, и, соблюдая предельную осмотрительность, а также тщательно обходя стороною Гарри, он сподобился добродетели и получил разрешение читать без помех. Дядя Гарри брал его с собой гулять, утешал грубоватой лаской и никогда не называл Паршивцем.

— Хотя, видимо, Панч, это все — для твоей же пользы, — говаривал он. — Давай-ка присядем отдохнем. Что-то я устал.

Путь их теперь чаще лежал не к морю, а мимо картофельных полей, на роклингтонское кладбище. Здесь седой опускался на могильную плиту и просиживал так часами, а Паршивец тем вре-

менем читал надгробные надписи. Потом дядя Гарри вздыхал и, припадая на одну ногу, брел обратно к дому.

— Скоро и я тут буду лежать, — сказал он Паршивцу как-то зимним вечером, когда лицо его в свете, падающем из окон церковной сторожки, было белое, как стертая серебряная монета. — Тете Анни-Розе говорить про это не нужно.

Через месяц на утренней прогулке он, не пройдя и полпути, круто повернулся и заковылял обратно домой.

— Уложи меня, Анни-Роза, — прохрипел он. — Я отходил свое. Добрался до меня этот пыж.

Его уложили в постель, и две недели на доме тенью лежала его болезнь, а Паршивец был предоставлен самому себе. Ему только велели вести себя тихо, а от папы как раз пришли новые книжки, и он уединился в своем заповедном мире и был совершенно счастлив. Даже по ночам ничто не омрачало его блаженство. Гарри перешел вниз, и можно было лежать спокойно, снизывая вместе вереницы историй о путешествиях и приключениях в далеких странах.

— Дядя Гарри умирает, — сообщила Джуди, у которой чуть ли не вся жизнь теперь протекала подле тети Анни-Розы.

— Да, очень жаль, — спокойно сказал Паршивец. — Он это мне давно говорил.

Разговор услышала тетя Анни-Роза.

— Хоть тут попридержал бы свой поганый язык! — гневно оборвала она его. Под глазами у нее были синие круги.

Паршивец ретировался в детскую и с глубоким интересом принялся читать нечто глубоко непонятное под названием «Как цветок на заре»[33]. Читать это произведение, по причине его греховности, воспрещалось, но что за важность, когда кругом рушатся основы вселенной и у тети Анни-Розы большое горе.

— Я рад, — сказал Паршивец. — Теперь ей плохо. И не врал я. Я-то знал. Он мне просто не велел говорить.

Ночью Паршивец внезапно проснулся. Гарри в комнате не было, с нижнего этажа доносились чьи-то рыдания. Вдруг темноту прорезал голос дяди Гарри, он пел Песнь о Наваринской битве:

Звались наши флагманы «Азия»,
«Генуя» и «Альбион»!

Ему лучше, подумал Паршивец, который знал

---

[33] notes: 33
…Как цветок на заре… — стихи Теннисона.

наизусть все семнадцать куплетов этой песни. Но не успел он это подумать, как вся кровь отхлынула от детского его сердца. Голос взметнулся на октаву выше и зазвенел пронзительно, точно боцманская дудка:

За «Розой», замыкая строй,
Летела «Филомела» в бой,
Был «Бриз» один незащищен…

— В тот день под Наварином, дядя Гарри! — что было сил закричал Паршивец, не помня себя от возбуждения и страха, которому не знал причины.

Где-то открылась дверь, и с подножия лестницы долетел вопль тети Анни-Розы:

— Тихо! Тихо ты, нечистая сила. Дядя Гарри умер!

МЕШОК ТРЕТИЙ

Итог разлуки — встреча, и нет любви конца.
Вам это скажет всякий сын разумного отца.[34]

Что же теперь со мной будет, думал Паршивец, когда завершились полуязыческие обряды, которыми сопровождается в домах среднего достатка погребение усопших, и тетя Анни-Роза, зловещая в траурном крепе, вернулась к повседневной жизни. По-моему, я скверного ничего не натворил за это время, во всяком случае, чтобы она про то знала. Скоро натворю, наверное. Она теперь будет злая, раз умер дядя Гарри, и Гарри тоже будет злой. Надо сидеть в детской.

Панч строил планы напрасно, ибо решено было, что он поступит в школу, ту самую, куда каждый день ходил Гарри. Значит, утром, а иногда, вероятно, и вечером ему предстояла совместная прогулка с Гарри, зато обнадеживала мысль, что в промежутках он будет свободен.

— Гарри, конечно, станет доносить обо всем,

---

[34] notes: 34
Эпиграф к «Мешку третьему» принадлежит самому Киплингу.

что я делаю, но только я ничего такого не буду делать, — сказал Паршивец.

С этой благой решимостью он бодро отправился в школу, однако тотчас выяснилось, что раньше него туда дошел отзыв о его персоне, составленный Гарри, и что жизни ему не будет. Он стал приглядываться к одноклассникам. Одни ходили чумазые, другие умели объясняться лишь на местном наречии, многие коверкали слова, и были в его классе два еврея и один негр, или, во всяком случае — чернокожий.

— Это *хубши*, — сказал себе Паршивец. — А над *хубши* смеялся даже Мита. Я думаю, мне не подходит такая школа.

По крайней мере, час он возмущался, а там сообразил, что любое изъявление недовольства с его стороны тетя Анни-Роза истолкует, как желание «выхваляться», а Гарри разнесет о нем по всей школе.

— Ну, как тебе нравится в школе? — спросила в конце дня тетя Анни-Роза.

— По-моему, там очень хорошо, — не моргнув глазом, ответил Панч.

— Ты, полагаю, догадался предупредить мальчиков, что они имеют дело с Паршивой овцой? — сказала тетя Анни-Роза, обращаясь к Гарри.

— Еще бы, — ответствовал юный блюститель чужой нравственности. — Они про него все знают.

— Если бы здесь со мной был отец, — сказал глубоко уязвленный Паршивец, — я бы с такими мальчиками даже разговаривать не стал. Он не позволил бы. Они живут в лавках. Я сам видел, как они расходились по лавкам, там их отцы торгуют и живут прямо там же.

— Ах вот как, — с кривой усмешкой сказала тетя Анни-Роза. — Стало быть, такая школа тебе не хороша. Да ты скажи спасибо, Паршивец, что эти мальчики сами с тобой хотят разговаривать. Не во всякую школу согласятся принять врунишку.

Гарри не преминул распорядиться опрометчивым высказыванием Паршивца с примерной рачительностью, и как следствие этого, несколько мальчиков, в том числе *хубши*, наглядно доказали Паршивцу извечное равенство всех особей рода человеческого, надавав ему подзатыльников, а тетя Анни-Роза утешила его по этому поводу:

— Так и надо, не будешь слишком много понимать об себе.

Впрочем, это послужило ему уроком, он научился держать свои мнения при себе и, задабривая

Гарри мелкими услугами — таская за него учебники в школу и так далее, — получал на какое-то время возможность вздохнуть свободно. Существование он вел не слишком радостное. С девяти до двенадцати и после, с двух до четырех, не считая воскресных дней, он был в школе. По вечерам его отсылали в детскую делать на завтра уроки, а вслед за тем наступал страшный час ежевечерних перекрестных допросов, которые учинял ему Гарри. С Джуди он виделся лишь урывками. Она сделалась очень набожной — в шесть лет от роду благочестие дается легко — и маялась, не зная, как примирить в своей душе естественную любовь к Паршивой овце с любовью к непогрешимой тете Анни-Розе.

Сухопарая праведница платила ей за любовь с лихвою, чем Джуди иной раз, набравшись храбрости, пользовалась, дабы смягчить для Паршивой овцы наказание за провинность. За неудачи на уроках в школе ему на неделю запрещали дома открывать какие бы то ни было книги, кроме учебников, и сообщения о таких неудачах Гарри приносил с торжеством. Мало того, перед сном Паршивцу вменялось в обязанность рассказывать Гарри выученные уроки, а тот неизменно ухитрялся выбить у него почву из-под ног и

ободрял к тому же самыми зловещими предвещаниями назавтра. Он был на все руки мастер, этот Гарри: и соглядатай, и забавник на чужой счет, и инквизитор, и палач, приводящий в исполнение приговоры тети Анни-Розы. И справлялся со своими многочисленными должностями преотменно. Обжаловать его действия теперь, после смерти дяди Гарри, стало не у кого. Возможности восстановить свое поруганное достоинство в школе Паршивца лишили с самого начала, дома он был, разумеется, бесповоротно обесчещен, спасибо хоть служанки — а они то и дело менялись в Даун-лодже, так как все до единой тоже оказывались лгуньи — нет-нет да и жалели его.

— Вы, милая, я вижу, того же поля ягода, что и Паршивая овца, — вот заключение, которого смело могла ждать всякая новая Джейн или Элиза из уст тети Анни-Розы по истечении первого же месяца, и Паршивец со знанием дела осведомлялся у очередной служанки, говорила ей уже хозяйка или нет, что она похожа на него. Гарри был для прислуги «мистер Гарри», Джуди носила звание «мисс Джуди», ну а Паршивец был в лучшем случае tout court[35] Паршивой овцой.

---

[35] notes: 35
Просто-напросто (франц.).

Шло время, и мало-помалу всякую память о папе и маме начисто перекрыла тягостная повинность писать им каждое воскресенье письма под надзором тети Анни-Розы, и забыл Паршивец, какую он вел жизнь вначале. Даже призывы Джуди:

— Вспомни про Бомбей, ну постарайся! — бессильны были вызвать просветление.

— Не помню, — говорил он. — Знаю только, что я все время распоряжался, а мама все время меня целовала.

— И тетя Анни-Роза поцелует, если ты будешь хорошо себя вести.

— Бр-р! Очень мне нужно, чтобы меня целовала тетя Анни-Роза. Скажет еще, что это я выпрашиваю себе вторую порцию за столом.

Недели складывались в месяцы, уже и каникулы были не за горами, но как раз накануне каникул Паршивец совершил смертный грех.

Был среди многих мальчишек, которых Гарри подбивал «заехать Паршивцу кулаком по маковке, все равно побоится дать сдачи», один, который изводил его больше других, и этому одному вздумалось в недобрую минуту напасть на Паршивца, когда не было поблизости Гарри. Он дрался больно, и Паршивец, собрав все силы, стал

наудачу отвечать ему. Мальчишка упал и захныкал. Паршивец был и сам ошарашен собственным поступком, но, ощутив под собою обмякшее тело, стал в слепой ярости трясти противника обеими руками, а там и душить его с искренним намерением прикончить. Тут подоспел Гарри с одноклассниками, и после короткой схватки Паршивца оторвали от поверженного врага, скрутили ему руки и избитого, но опьяненного победой препроводили восвояси. Тети Анни-Розы не было дома, и Гарри в ожидании ее прихода принялся вразумлять его насчет греховности смертоубийства — этого, по его определению, каинова преступления.

— Почему ты не дрался с ним честно? Зачем бил лежачего, подлая твоя душонка?

Паршивец взглянул на шею Гарри, потом на нож, лежащий на столе, накрытом для обеда.

— Не понимаю, — сказал он устало. — Не ты ли его постоянно натравливал на меня и обзывал меня трусом, когда я распускал нюни? Ты пока не трогай меня, а? Придет тетя Анни-Роза, ты скажешь, что меня надо выпороть, она выпорет — и все в порядке.

— Ничего не в порядке, — веско молвил Гарри. — Ты едва не убил человека, он и теперь еще, чего

доброго, может умереть.

— Умрет, да? — сказал Паршивец.

— Вполне возможно, — сказал Гарри, — а тебя тогда повесят.

— Хорошо, — сказал Паршивец, беря в руки столовый нож. — Тогда сейчас я убью тебя. Ты что ни скажешь, что ни сделаешь… в общем, я и сам не знаю, как это получается, — и ни на миг не можешь оставить меня в покое — и мне уже все равно — будь что будет!

Он ринулся на малого с ножом, и Гарри, посулив Паршивой овце по возвращении тети Анни-Розы такую порку, каких еще свет не видывал, обратился в бегство и заперся у себя в комнате наверху. Паршивец сел с ножом в руке на нижнюю ступеньку лестницы и заплакал оттого, что не удалось убить Гарри. Из кухни вышла прислуга, отобрала нож, говорила что-то в утешение. Но Паршивец был безутешен. Теперь его жестоко высечет тетя Анни-Роза, а Гарри тоже добавит, потом Джуди запретят разговаривать с ним, потом обо всем растрезвонят в школе, потом…

Некому помочь, некому пожалеть, есть один только выход — умереть, и точка. Можно бы ножом, но это больно, а тетя Анни-Роза в прошлом году говорила, что он умрет, если будет сосать

раскрашенные игрушки. Он пошел в детскую, раскопал засунутый куда-то за ненадобностью Ноев ковчег и принялся по очереди обсасывать птиц и зверей, какие еще уцелели. Противно было невероятно, но все-таки к тому времени, как вернулись домой тетя Анни-Роза и Джуди, он дочиста слизал краску с Ноевой голубки, которая была последней. После этого он поднялся из детской и встретил их словами:

— Тетя Анни-Роза, знаете, я чуть не убил одного мальчика в школе и хотел убить Гарри, так что, когда вы мне скажете все, что полагается про Бога и грешников в аду, выпорите меня поскорей, и дело с концом.

Эпизод с нападением, в том виде, как его изложил Гарри, поддавался единственному истолкованию: в Паршивца вселился бес. Вследствие чего Паршивца не только с усердием отодрали сперва тетя Анни-Роза, а затем, когда в нем были надежно подавлены последние остатки строптивости, — Гарри, но и молились всем семейством о спасении его души, а заодно и души Джейн, прислуги, которая стащила из буфетной холодный пирожок и, будучи призвана к ответу за свое черное дело, громко фыркнула в лицо Вершительнице правосудия. У Паршивца каждая клеточка болела и

саднила, но душа была полна ликования. Сегодня же ночью он умрет и избавится от всех них. Нет, он не станет просить у Гарри прощения и не потерпит никаких допросов перед сном, пусть его сколько угодно называют маленьким каином.

— Меня уже выпороли, — сказал он, — и я сам тоже сделал одну вещь. Теперь мне все равно. Если ты, Гарри, начнешь сегодня заводить со мной на ночь разговоры, я встану и постараюсь тебя убить. А теперь, если хочешь, убивай меня.

Гарри перенес свою постель в пустую комнату, и Паршивую овцу на целый месяц оставили в покое.

По-видимому, люди, которые мастерят Ноевы ковчеги, знают, что зверям и птицам оттуда свойственно попадать в детские рты, и выбирают краски, памятуя об этом. Как бы то ни было, когда в окна заглянуло будничное скучное утро, оказалось, что Паршивец жив, здоров, изрядно пристыжен, но зато умудрен сознанием, что на будущее, на самый крайний случай, у него есть средство оградить себя от Гарри.

В первый же день каникул, когда он спустился к завтраку, его встретили известием, что тетя Анни-Роза уезжает с Гарри и Джуди в Брайтон, а его оставляют дома на прислугу. Последняя

выходка Паршивой овцы пришлась как нельзя более на руку тете Анни-Розе. Она служила отличным предлогом не брать с собою того, кто сбоку припека. Папа, который, похоже, обладал у себя в Бомбее способностью минута в минуту угадывать желания юных грешников, прислал на этой неделе стопку новых книг. В обществе этих книг, а также — Джейн, получавшей за то скудные гроши, и оставили Паршивую овцу — оставили в покое на целый месяц.

Книг хватило на десять дней. Они проглатывались быстро, запоем, по двадцать четыре часа кряду. Потом наступили дни, когда заняться стало совершенно нечем, разве что мечтать наяву, водить за собою вверх и вниз по лестнице воображаемое войско, пересчитывать балясины перил да обмерять вдоль и поперек пальцами комнаты — пятьдесят шажков рукой по одной стенке, тридцать по другой, пятьдесят обратно. Джейн завела себе много знакомых и, заручась уверениями Паршивца, что он никому не расскажет о ее отлучках, каждый день надолго уходила из дому. Солнце клонилось к закату, и Паршивец переходил следом за ним из кухни в столовую, оттуда — наверх, к себе в спальню, а когда наползали серые сумерки, сбегал обратно на кухню и читал

при свете очага. Он был счастлив, что никто его не трогает и можно читать, сколько хочется. Но поздним вечером, когда шевельнется тень от оконной занавески, или скрипнет дверь, или хлопнет на ветру ставня, ему делалось страшно. Он выходил в сад и пугался шороха листьев на лавровом кусту.

Он был рад, когда они все вернулись — тетя Анни-Роза, Гарри, Джуди — с ворохом новостей, а Джуди еще и с ворохом подарков. Ну, как было не любить верную маленькую Джуди? В ответ на все, что она весело ему лопотала, Паршивец поведал, что от входной двери до лестничной площадки ровно сто восемьдесят четыре шажка растопыренными пальцами. Он сам установил.

Потом жизнь потекла по-старому, правда, не совсем, ибо к числу его грехов прибавился еще один. В довершение прочих изъянов, Паршивец сделался отчаянно неуклюж — раньше нельзя было положиться на то, что он скажет, теперь — и на то, что сделает. Он сам не мог сказать, отчего все у него проливается на скатерть, отчего он непременно опрокинет стакан, если протянет руку, и стукается лбом о двери, когда они явно закрыты. Весь мир для него заволокло серой пеленой, и месяц за месяцем она подступала все

ближе, пока наконец Паршивец не остался один на один с зыбкими, как привидения, занавесками и чем-то невыразимо страшным даже при свете дня, что в конце концов оказывалось не более как вешалкой с верхней одеждой.

Приходили и уходили каникулы, Паршивца водили по разным людям, похожим друг на друга, как две капли воды, и пороли по тому или иному поводу, и решительно по всякому поводу истязал его Гарри, зато стойко защищала Джуди, хоть и навлекала тем на себя немилость тети Анни-Розы.

Одна неделя сменяла другую, и так без конца, и папа с мамой были окончательно забыты. Гарри кончил школу и поступил на службу в банк. Избавясь от его присутствия, Паршивец твердо решил, что не даст больше урезывать себя в единственном удовольствии — чтении книг. Соответственно, когда в школе случались неудачи, он докладывал дома, что все идет хорошо, и проникся безмерным презрением к тете Анни-Розе, когда увидел, как ее легко обмануть. Когда говоришь ей правду, тебя называют врунишкой, думал Паршивец, а вот теперь я ей вру, а она и не догадывается. До сих пор тетя Анни-Роза уличала его в мелких хитростях и уловках, когда ничего

похожего ему не приходило в голову. Теперь он платил ей полной мерой за ею же преподанную науку пакостничать. В доме, где самые невинные его побуждения, его естественную потребность хоть в какой-то ласке воспринимали как желание выклянчить себе еще хлеба с вареньем или подольститься к посторонним, оттеснив в сторону Гарри, это было делом нехитрым. Тетя Анни-Роза умела распознавать определенные виды лицемерия, но не все. Он выставил против ее сообразительности собственную, ребячью, и больше его не пороли. С каждым месяцем разбирать, что написано в учебниках, становилось все труднее, и даже крупные буквы на страницах сказок прыгали и расплывались у него перед глазами. В сумраке, который сгущался вокруг, отрезая его от мира, Паршивец угрюмо изобретал жуткие казни «милому Гарри» или обдумывал, как вплести новую нить в паутину обмана, сотканную им для тети Анни-Розы.

Потом грянула беда, и паутина разлетелась в клочья. Предусмотреть все было невозможно. Тетя Анни-Роза самолично навела справки, как подвигаются у Паршивой овцы дела в школе, и была потрясена тем, что узнала. Шаг за шагом, с тем же острым наслаждением, с каким обличала

изголодавшуюся прислугу в краже черствого пирожка, она проследила путь Паршивой овцы по скользкой дорожке порока. Из месяца в месяц, дабы избегнуть отлучения от книжных полок, он дурачил тетю Анни-Розу, дурачил Гарри, Бога, целый свет! Чудовищно, поистине чудовищно и свидетельствует о безнадежной испорченности.

Паршивец подсчитывал, во что ему это обойдется.

— Один раз сильно выпорют, вот и все, а после она мне приколет на спину бумажку со словом «Лжец», так уже было. Гарри сперва поколотит, потом будет молиться за меня, она будет тоже каждый раз за меня молиться и говорить, что я исчадие ада, и велит разучивать псалмы. Зато я читал, сколько мне вздумается, а она и понятия не имела. А скажет, что знала с самого начала. Еще и врунья, хоть и старая, — сказал он.

На три дня Паршивца заперли в его комнате — укрепиться духом.

— Значит, будут пороть два раза. Один раз в школе, один здесь. Здесь будет больнее.

Все так и вышло, как он думал. В школе его высекли на глазах у евреев и *хубши* за то, что он посмел приносить домой ложные сведения о своих успехах. Дома — за то же гнусное преступ-

ление — его высекла тетя Анни-Роза, после чего не замедлила появиться и бумажка с надписью. Тетя Анни-Роза приколола ее ему на лопатки и велела идти в таком виде гулять.

— Только попробуйте заставьте, — очень спокойно сказал Паршивец. — Я тогда подожгу этот дом, а вас, наверно, убью. Не знаю, смогу ли — вы такая костлявая, — но постараюсь.

За этим кощунством не последовало никакого наказания, но на всякий случай Паршивец готов был в любую секунду вцепиться в жилистую шею тети Анни-Розы и держать мертвой хваткой, пока не оторвут. Может быть, тетя Анни-Роза боялась, ибо, дойдя до последней черты порока, Паршивец держался с бесшабашной отвагой, дотоле ему не свойственной.

В разгар всех неурядиц в Даун-лодж приехал заморский гость, папин и мамин знакомый, которому поручили проведать Панча и Джуди. Паршивец был призван в гостиную и с размаху налетел на тяжелый, уставленный чайной посудой стол.

— Осторожней, сынок, осторожнее, — сказал гость, мягко поворачивая Паршивца лицом к свету. — Что это за большая птица сидит на заборе?

— Где птица? — спросил Паршивец.

С минуту гость внимательно вглядывался в самую глубь Паршивцевых глаз.

— Боже ты мой, да ведь мальчик почти что слеп! — вдруг сказал он.

Это был на удивленье деловитый гость. Никого не спрашивая, он приказал, чтобы Паршивец до маминого приезда не ходил в школу и не притрагивался к книгам.

— Через три недели, как тебе, разумеется, известно, она будет здесь, — сказал он. — А я — Инверарити-*сахиб*. Я помогал тебе, молодой человек, явиться на нашу грешную землю, и славно же ты, я вижу, распорядился собою за это время, нечего сказать. Так вот, ты должен решительно ничего не делать. Справишься?

— Да, — неуверенно сказал Панч. Когда-то давно он знал, что мама приедет. По этому поводу ему, вероятно, опять предстоит порка. Слава богу, что хоть не приедет папа. Последнее время тетя Анни-Роза все говорит, что хорошо бы его выдрал мужчина.

На три недели Паршивцу строго-настрого запретили делать что бы то ни было. Целыми днями он просиживал все в той же детской, разглядывая сломанные игрушки, о которых придется давать подробный отчет маме. Тетя Анни-Роза шлепала

его по рукам, даже если сломается какой-нибудь деревянный кораблик. Впрочем, что значили такие провинности в сравнении с тем, что тетя Анни-Роза с таким многозначительным видом грозилась открыть маме помимо этого?

— Вот приедет твоя мать, послушает, что я расскажу, и будет знать, чего ты стоишь, — зловеще говорила она, и с удвоенной бдительностью оберегала Джуди, чтобы невинная крошка не вздумала брать грех на душу, утешая братца.

И вот мама приехала — в наемной карете, взволнованная и нежная. И какая мама! Молодая — до неприличия молодая — и красивая, щеки у нее рдели мягким румянцем, глаза сияли, как звезды, а при звуке голоса так и подмывало кинуться ей на шею, даже не видя призывно протянутых рук. Джуди к ней бросилась, не раздумывая, но Паршивец медлил. А что, если это чудо просто «ломается»? Во всяком случае, она не станет протягивать руки ему навстречу, когда узнает о его преступлениях. А пока все эти нежности, может быть, только для того, чтобы чего-то добиться от Паршивой овцы? Только его любви, только его доверия — но об этом Паршивец не ведал. Тетя Анни-Роза удалилась, и в той самой передней, где пять лет тому назад заливались слезами Панч и

Джуди, мама опустилась на колени и, смеясь и плача, притянула к себе детей.

— Ну, цыплята, помните вы меня?

— Нет, — честно сказала Джуди, — но я каждый вечер говорила: «Господи, спаси и сохрани папу и маму».

— Немножко, — сказал Паршивец. — Но ты все-таки помни, что я тебе писал каждую неделю. Это я не выхваляюсь, это из-за того, что разразится потом.

— Разразится! Что же такое потом разразится, милый ты мой? — И она вновь притянула его к себе. Он приблизился неловко, угловато. Не привык к ласке, мгновенно определило материнское сердце. Девочка привыкла.

Больно не будет, она слишком маленькая, думал Паршивец. Если я скажу, что убью ее, она сразу струсит. Интересно, что ей наговорит тетя Анни-Роза.

Обед проходил в принужденной обстановке и едва он кончился, мама взяла Джуди и, приговаривая ей что-то ласковое, повела ложиться спать. Вероломная Джуди, по всем признакам, уже изменила тете Анни-Розе, чем сия дама была жестоко оскорблена. Паршивец встал из-за стола и пошел к двери.

— Поди скажи спокойной ночи, — сказала тетя Анни-Роза, подставляя ему морщинистую щеку.

— Хм! — сказал Паршивец. — Никогда мы с вами не целуемся, и я не собираюсь ломаться. Скажите этой женщине про все, что я натворил, увидите, как она запоет.

Паршивец залез в постель, убежденный, что навеки лишился рая, который приоткрылся ему на минуту. Через полчаса «эта женщина» склонилась над его кроватью. Паршивец защитным движением вскинул вверх правую руку. Нечестно подкрадываться и бить его в темноте. Так не делала даже тетя Анни-Роза. Но удара не последовало.

— Подлизываешься, да? А я не буду ничего рассказывать, пусть рассказывает тетя Анни-Роза, только она не знает всего. — Паршивец старался говорить внятно, но мешали руки, которые обнимали его за шею.

— Ах, маленький сын мой, маленький мой сыночек! Это я виновата — я одна, — но что же нам оставалось делать? Прости меня, Панч. — Голос дрогнул, перешел в прерывистый шепот, и на лоб Паршивцу капнули две горячие слезы.

— Она тебя тоже довела до слез? — спросил он. — Посмотрела бы ты, как от нее плачет Джейн.

Только ты хорошая, а Джейн — прирожденная лгунья, во всяком случае, так говорит тетя Анни-Роза.

— Тсс! Тише, Панч! Не надо так разговаривать, мальчик. Пожалуйста, полюби меня немножко — совсем немножечко. Ты не знаешь, как мне этого хочется. Вернись ко мне, Панч-*баба*! Ведь это я, мама — твоя мама, а все остальное пустяки. Я ведь знаю — да, милый, знаю. И это сейчас совсем неважно. Неужели ты не полюбишь меня, Панч, хоть чуточку?

Удивительно, какое количество нежностей способен вытерпеть большой мальчик десяти лет, когда он точно знает, что никто его не поднимет на смех. Панч не был избалован хорошим отношением, а тут, ни с того ни с сего, эта красивая женщина обращалась с ним, точно с маленьким божком, — с ним, Паршивой овцой, Исчадием ада, Нераскаявшимся грешником, которому уготована геенна огненная!

— Я очень тебя люблю, мамочка, — прошептал он наконец, — и я рад, что ты вернулась, только ты уверена, что тетя Анни-Роза тебе рассказала все?

— Все. Господи, какое это имеет значение? Но все-таки… — Голос прервался не то рыданием, не

то смехом. — Панч, бедный мой, милый, полуслепой дурачок, тебе не кажется, что ты тогда вел себя не очень-то разумно?

— Нет. Зато меня не пороли.

Мама зябко поежилась и скользнула прочь в темноте, писать длинное письмо папе. Вот отрывок из него:

«…Джуди — прелестная толстушка, дышит благонравием, обожает эту особу, с важностью толкует о религии и с такою же важностью нацепляет на себя — и это в восемь лет, Джек! — не первой свежести кошмар из конского волоса, именуемый ею турнюром! Я его как раз только что сожгла, а девочка, пока я пишу письмо, спит у меня на кровати. С этой мы поладим сразу. С Панчем мне еще не все понятно. По-видимому, кормили его недурно, но изводили придирками, от которых он укрывался за нагромождением мелкого надувательства, а у этой особы оно разрасталось до размеров смертного греха. Помнишь, милый, как нас тоже воспитывали в страхе божьем и как часто с этого страха начиналась неправда? Пройдет немного времени, и Панч вернется ко мне. А пока, чтобы поближе познакомиться, я везу детей за город и, в общем, всем довольна, верней — буду довольна, когда и ты, дорогой мой, вернешься

домой и мы все наконец-то будем опять, слава богу, под одною крышей!»

Через три месяца Панч — давно уже Панч, а не Паршивая овца — удостоверился, что у него и правда есть мама, настоящая, живая, замечательная мама, которая ему к тому же сестра, утешительница и друг, и пока нет папы, он — ее защитник. Обман защитнику как-то не к лицу, да и какой смысл обманывать, когда и так наверняка можно делать все, что вздумается?..

— Ох, и рассердится мама, если ты залезешь в эту лужу, — говорит Джуди, продолжая разговор.

— Мама никогда не сердится, — говорит Панч. — Скажет только: «Ах ты, *пагал* несчастный!» — Сейчас я тебе покажу, хоть это и не очень красиво с моей стороны.

Панч лезет в лужу и вязнет по колени в грязи.

— Мамочка-а! — кричит он. — Я вымазался с головы до ног!

— Тогда беги и переоденься с головы до ног! — доносится из дома звонкий мамин голос. — *Пагал* ты несчастный!

— Видела? Что я тебе сказал? — говорит Панч. — Теперь все переменилось, теперь мы снова мамины, как будто она и не уезжала.

Не совсем так, о Панч, ибо когда детским губам

довелось испить полной мерой горькую чашу Злобы, Подозрительности, Отчаяния, всей на свете Любви не хватит, чтобы однажды изведанное стерлось бесследно, даже если она ненадолго вернет свет померкшим глазам, и туда, где было Неверие, заронит зерна Веры.

ПОДГУЛЯВШАЯ КОМАНДА[36]

Перевод Ю. Корнеева

Идем домой, идем домой,
Уже гудки гудят,
На плечи лег тугой мешок,
Мы не придем назад!
Не плачь же, Мери Энн,
Без милой — не житье.
И как только вернусь, на тебе я женюсь,
Я отслужил свое.

Казарменная баллада[37]

Произошло нечто чудовищное. Мой приятель рядовой Малвени, недавно отслуживший свой срок и отбывший в мундире без погон в родные края, опять вернулся в Индию, но уже штатским! А все из-за Дайны Шедд. Ей невмоготу было в тесной, маленькой квартирке, ей сильнее, чем можно выразить словами, недоставало ее слуги

---

[36] notes: 36
Вошло в сборник «Три солдата».

[37] notes: 37
Перевод М. Гутнера.

Абдаллы. Но главное не в этом: чета Малвени слишком долго прожила здесь и отвыкла от Англии.

На одной из железнодорожных линий, строящихся в Центральной Индии, у Малвени был знакомый подрядчик, которому он и написал, прося приискать ему место. Подрядчик ответил, что, если Малвени в состоянии оплатить проезд, он по старой памяти назначит его десятником, даст ему партию кули, а жалованья положит восемьдесят пять рупий в месяц. Дайна Шедд предупредила Теренса, чтобы он не вздумал отказываться, иначе она превратит его жизнь в «форменное чистилище», и супруги Малвени возвратились сюда в качестве «цивильных» — глубокое и постыдное падение, хотя мой приятель и пытался замаскировать его разговорами о том, что он теперь «шишка на железной дороге и вообще человек с положением».

Он написал мне на бланке для заказа инструментов, приглашая навестить его, и я приехал в смешное маленькое бунгало-времянку рядом с линией. Участок возле дома Дайна Шедд засеяла горохом, а природа заполонила его всеми мыслимыми видами растительности. Малвени не изменился, если не считать костюма. В новом

своем наряде он выглядел довольно жалко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Он стоял на дрезине, отчитывая какого-то кули и щеголяя былой образцовой выправкой, а его массивный, выдающийся вперед подбородок был, как и встарь, безупречно выбрит.

— Вот я и штатский, — объявил Малвени. — Разве кто догадается, что я тоже когда-то военным был? Не спорьте, сэр. Комплименты мне ни к чему, а лгать грешно… С тех пор как у Дайны Шедд завелся собственный дом, с нею никакого сладу не стало. Зайдите к ней — пусть она вас чаем из фарфоровых чашек напоит, потом мы с вами, как добрые христиане, пропустим малость прямо здесь, под деревом. А вы, черномазые, марш отсюда! Сахиб приехал в гости не к вам — ко мне. Живо за лопаты и копать до самых сумерек!

Когда мы втроем удобно устроились под большим шишамом напротив бунгало и отгремел первый залп вопросов о рядовых Ортерисе и Лиройде, о прежних временах и местах, Малвени задумчиво сказал:

— Приятно, конечно, что завтра на ученье не идти и никакой дурак капрал на тебя не наорет. И все-таки тяжело на сердце, как подумаешь, что ты стал тем, чем никогда не был и быть не собирал-

ся, а дороги назад уже нет — бумага мешает. Эх, совсем я тут заржавел! Видать, не угодно господу богу, чтоб человек так рано служить бросал.

Он подлил себе виски с содовой и яростно вздохнул.

— А вы отпустите бороду, Малвени, — посоветовал я. — Тогда эти мысли перестанут вас тревожить, и вы сделаетесь заправским штатским.

Дайна Шедд еще в гостиной поведала мне, как она мечтает, чтобы Малвени отрастил бороду.

— Это так по-штатски! — вздыхала бедная Дайна, страдавшая от сознания, что супруг ее тоскует по прошлой жизни.

— Дайна Шедд, ты сущее наказание для честного бритого мужчины! — сказал Малвени, не удостоив меня ответом. — Сама себе бороду отпускай, дорогая, а моей бритвы не касайся. Только она и не дает мне вконец опуститься. Я же помру от жажды, ежели бриться перестану и козлиной бородищей обзаведусь: от нее сразу в глотке пересыхает. Или ты хочешь, чтоб я вечно под парами ходил? У меня от одних твоих разговоров все уже в нутре перегорело. Дай-ча я погляжу, как там насчет виски.

Он протянул бутылку мне, потом взялся за нее

сам, и тут Дайна Шедд, до сих пор не отставшая от мужа в расспросах о старых знакомых, неожиданно напустилась на меня:

— Постыдились бы вы, сэр, — хоть, видит бог, вам здесь больше, чем свету дневному, рады, — забивать Теренсу башку всякой чепухой насчет… насчет того, о чем всего лучше позабыть. Он теперь штатский, а вы никогда военным не были. Вот и оставьте армию в покое. Незачем о ней Теренсу напоминать.

Мне пришлось ретироваться под защиту Малвени: Дайна Шедд характером не обижена.

— Полно тебе! С кем же мне о старых временах словечком перекинуться? — остановил жену мой приятель и обратился ко мне. — Вы говорите, Барабанная Палочка (так прозвали командира полка, в котором служил Малвени) жив-здоров, и полковница тоже? Я даже не подозревал, как сильно привязан к старому мулу, пока не распростился с ним и с Азией. Вы его увидите, да? Тогда передайте, — глаза моего собеседника засверкали, — что рядовой Малвени…

— Мистер Малвени, Теренс, — поправила Дайна Шедд.

— А я говорю — рядовой. К дьяволу и всем чертям в пекло твоего мистера, Дайна Шедд! И не

забудь прибавить на исповеди, что ввела меня в грех, заставив браниться. — Так вот, передайте старику нижайший поклон от рядового Малвени и скажите, что, не будь меня, последняя команда уволенных безобразничала бы до самой погрузки в порту.

Он откинулся на спинку кресла, хмыкнул и замолчал.

— Миссис Малвени, — сказал я, — уберите, пожалуйста, виски и не давайте ему ни капли, пока он все не расскажет.

Дайна Шедд проворно смахнула бутылку со стола, попутно бросив: «Ну, тут нечем гордиться!» — и Малвени, взятый противником в клещи, начал:

— Было это в прошлый вторник. Разгуливаю я со своими черномазыми по насыпи — учу этих кузнечиков в ногу ходить да по команде останавливаться. Вдруг подбегает ко мне их старшой. От рубахи один ворот остался, в глазах отчаяние.

«*Сахиб*, — говорит он, — на станции целый полк солдат. Бросаются горячим шлаком в кого попало. Меня чуть за подол не подвесили. К вечеру они все разнесут, всех обидят, всех поубивают. Они говорят, что придут сюда и дадут нам жару. А у нас женщины. Как быть?»

«Подавай дрезину! — командую я. Стоит мне слово услышать про тех, на ком мундир королевы, как сердце у меня наружу просится. — Подавай дрезину да выбери шестерых малых покрепче, чтоб они меня одним духом домчали».

— Он надел свой лучший костюм, — укоризненно вставила Дайна Шедд.

— Иначе нельзя было, — должен же я Вдове уважение оказать. А ты, Дайна Шедд, придержи язык — мне твоя болтовня рассказывать мешает. И подумай на свободе, хорошо ли я буду выглядеть, ежели мне и голову, как лицо, выбреют. То-то, дорогая.

Словом, полетел я на дрезине за шесть миль, чтобы на эту команду хоть глазком взглянуть. Я-то знал, что никакой на станции не полк, а просто команда уволенных — их всегда весною домой отправляют. Как ни жаль, но тут поблизости ни одна часть не квартирует.

— Слава тебе, дева пречистая! — негромко вставила Дайна Шедд, но Малвени не расслышал.

— Шпарим мы так, что машина вот-вот рассыплется, но хоть до лагеря еще почти миля осталась, а уже слышу, какой шум там стоит, и, клянусь душой, различаю голос Пега Барни — он ревел, как дикий буйвол, у которого брюхо разболелось.

Помните Пега Барни, из роты «Д»? Ну, такой рыжий, волосатый, костлявый, со шрамом на щеке. Он еще морских пехотинцев, когда у них в прошлом году праздник был, шваброй один разогнал.

Я сразу понял, что это команда из прежнего моего полка, и прямо-таки расстроился за того, кто ее сопровождать назначен. Нас всегда было трудно в узде держать. Я вам рассказывал, как Хокер Келли скинул с себя все, сгреб под мышку рубахи да бумаги капрала и давай разгуливать нагишом, что твой Феб Аполлонский? А ведь Келли еще тихоня был. Но меня, кажется, в сторону заносит. Стыд и срам нашему полку и всей армии за то, что молоденьких офицеров, почти мальчиков, посылают сопровождать здоровенных парней, одуревших от спиртного и от радости, что они наконец из Индии вырвутся. К тому ж им на всем пути от части до порта и взыскания-то не дашь. Экая ведь нелепость! Пока я на службе, надо мной устав и меня в любое время прижать можно. А чуть отслужил срок, я уже запасной, и устав не для меня писан. На запасных у офицера одна управа — из казармы их не выпускать. Ничего не скажешь, умно придумано! Какие там казармы, если команда все время в движении? Поглядел бы

я на того Соломона премудрого, который такой порядок завел! Легче перегнать табун неуков с Кеббиринской ярмарки в Голуэй, чем разгулявшихся запасных за десять миль доставить. Вот начальство и позаботилось, чтобы какой-нибудь молоденький офицер случайно их не обидел.

Но к делу. Чем ближе моя дрезина подъезжала к лагерю, тем громче становились шум и голос Пега Барни. «Хорошо, что поехал, — думаю я. — Тут на одного Пега несколько человек нужно». Я уже смекнул, что надрызгался он, как сапожник.

На лагерь, ей-богу, стоило посмотреть! Палаточные веревки перепутаны, приколыши шатаются, словно и они, как люди, перепились. А людей там было с полсотни, притом самых отпетых забулдыг и буянов в нашем полку. Верьте слову, сэр, вы в жизни таких пьянчуг не видывали. Знаете, как запасной пьет? Как лягушка жиреет. Он спиртное прямо через кожу впитывает.

Пег Барни сидел на земле в одной рубашке, одна нога обута, другая нет, и сапогом вгонял в землю приколыш, распевая так, что мертвец — и тот бы проснулся. Но горланил он не просто песню, а кой-что похуже — «Чертову обедню».

— Это еще что такое? — удивился я.

— Когда шелудивого пса вроде Барни выши-

бают из армии, он на радостях поет «Чертову обедню»: честит всех, от главнокомандующего до отделенного, разными словами, каких вы отродясь не знавали. Бывают такие ругатели, что от их брани молоко киснет. Приходилось вам слышать, как оранжисты на сходках сквернословят? Так вот, «Чертова обедня» раз в десять похлеще будет. Ее-то и распевает Пег Барни, поминая свое начальство, и как новое имя назовет, так сапогом по приколышу и припечатает. А голосина у него был здоровенный, и ругался он отчаянно, даже трезвый.

Я подхожу к нему и тут не только вижу, но и чую — он в стельку пьян. Кончил он генерального адъютанта костить и дух переводит. Тут я и говорю:

«Здорово, Пег! Видишь, я самый лучший костюм надел, чтоб с тобой повидаться».

«А ты его скинь да попляши, штафирка поганый!» — отвечает Пег, стукнув по приколышу сапогом, и сразу начинает Барабанную Палочку грязью поливать: он до того нализался, что начальника штаба бригады и военного судью пропустил.

«Не узнаешь меня, Пег Барни?» — спрашиваю я, а все во мне так и кипит — он же меня штафир-

кой обозвал.

— И это почтенный, женатый человек! — простонала Дайна Шедд.

«Не узнаю, — отвечает Пег. — Вот сейчас кончу петь и лопатой тебе зад отполирую, даром что я пьяный».

«Ну, коли так, Пег Барни, — говорю я, — дело ясное: ты меня позабыл. Давай-ка я тебе твою автобиографию напомню».

С этими словами я уложил Пега пятками вверх и пошел в лагерь, а там такая картина — просто жуть берет.

— Где офицер, который команду сопровождает? — спрашиваю я Малыша Грина, а уж это гаденыш, какого свет не видел.

«Нет здесь офицеров, старая ты поварешка! — отвечает Малыш. — У нас теперь республика, черт бы тебя побрал!»

«Вот оно что? — говорю я. — Ну, тогда я О'Коннел, ваш диктатор, и ты у меня отучишься язык распускать».

Тут я уложил Малыша Грина и прямиком в офицерскую палатку. Офицер, совсем еще мальчуган, был из новеньких — я его в полку не встречал. Сидит он в палатке и делает вид, что всего этого безобразия не слышит.

Я козыряю. Сказать по правде, я сперва руку подать хотел, но потом заметил, что сабля на палаточной стойке висит, и передумал.

«Я вам, часом, не пригожусь, сэр? — спрашиваю я. — Работка у вас такая, что не каждый здоровяк сдюжит, и вечером вам обязательно помощь потребуется».

Мальчуган этот был не робкого десятка и настоящий джентльмен.

«Садитесь», — предлагает он.

«При офицере не положено», — отвечаю я и рассказываю, где и как служил.

«Я о вас слышал, — говорит он. — Это вы город Лангтангпен нагишом брали?»

«Да, славное было дельце, почетное!» — думаю я. Нами тогда лейтенант Брейзноз командовал. И продолжаю:

«Я к вашим услугам, сэр, если, конечно, потребуется. Нельзя вас было с запасными посылать. Вы уж извините, сэр, но только во всем нашем полку один лейтенант Хэкерстоп с этакой оравой справиться может».

«Да, у меня таких людей еще не бывало, — соглашается он, перебирая перья на столе. — А по уставу...»

«А вы, сэр, не глядите на устав, пока команду

не погрузите, — отвечаю я. — По уставу вам полагается солдат на ночь в лагерь загнать, не то они всех моих кули покалечат и пол-округи вдребезги разнесут. Сержанты у вас надежные?»

«Вполне», — говорит он.

«Вот и хорошо, — говорю я. — Вечером шум будет. Вы куда следуете, сэр?»

«На ближайшую станцию».

«Еще лучше, — говорю я. — Значит, шум будет большой».

«Запасных не очень-то прижмешь, — вздыхает он. — Главное — посадить их на пароход».

«Половину урока вы, сэр, выучили, — говорю я. — Только не держитесь за устав, иначе вы их никогда в порт не доставите, а ежели и доставите, они раньше все с себя спустят».

Лейтенант был славный паренек, и, чтоб его поднакалить, я рассказал, что вытворяла одна такая вот команда. Я это в Египте своими глазами видел.

«И что же вы видели, Малвени?» — осведомился он.

«А видел я, как пятьдесят семь отслуживших срок верзил сидели на берегу канала и всячески измывались над бедным желторотым офицериком. Они его до того довели, что он, прости его

господь всемогущий, сам в грязную воду полез и вещи из лодок таскать начал».

Мой лейтенантик слушает и от возмущения задыхается. А я ему:

«Не волнуйтесь, сэр. Вы же как выступили из полка, так ни разу команду прибрать к рукам не пытались. Дождитесь темноты, тогда и возьметесь за дело. А я, с вашего позволения, сэр, поброжу по лагерю да со старыми приятелями потолкую. Все равно сейчас никого в разум не приведешь».

Тут я пошел по лагерю, заговаривая с каждым, кто был еще не совсем пьян и узнавал меня. У себя в полку я кое-что значил, и встреча со мной порадовала наших, кроме, понятно, Пега Барни: один глаз у него стал как лежалый помидор на базаре, нос — тоже вроде этого. Ребята обступили меня, трясут, а я им рассказываю, что я теперь на частной службе, собственный доход имею и гостиная у меня получше, чем у самой королевы. Пошатался я с ними по лагерю, всяких басен, историй и прочей чепухи им наплел, но все-таки их успокоил, хоть нелегкая это штука ангелом-миротворцем быть.

Перебросился я словечком и с моими прежними сержантами — они-то были трезвые, и в

положенное время мы с ними загнали людей в палатки. А тут мой лейтенантик с обходом идет, подтянутый такой, вежливый.

«Квартиры, конечно, у вас неважные, — говорит он. — Но что поделаешь, ребята! Здесь не казарма. Придется потерпеть. Сегодня я спустил вам ваши штучки, но чтоб больше этого не было».

«Не будет, сынок. Заходи-ка да выпей со мной», — отвечает Пег Барни, а сам шатается.

Лейтенантик сдержался — и ни слова.

«Зазнался, поросенок?» — продолжает Пег, и вся палатка как грохнет со смеху.

Я уже вам сказал: лейтенантик был не из робких. Он тут же въехал Пегу в глаз, под который я днем фонарь поставил, и Пег кубарем покатился на другой конец палатки.

«Растяните его, сэр», — шепчу я.

«Растянуть его!» — во весь голос командует лейтенантик, словно на батальонном ученье доклад сержанта подхватывает.

Пег Барни обмяк и завыл, а сержанты схватили его и растянули на земле, прикрутив ему руки и ноги к приколышам. Лежит он ничком и ругается так, что негр — и тот побелел бы.

Я беру приколыш, сую ему в поганую пасть и приговариваю:

«Ну-ка погрызи, Пег Барни. Надо ж тебе какое-нито развлечение до утра найти — ночью не жарко будет. Твое счастье, что устава над тобой больше нет, а то б лежал ты сейчас на кобыле и кляп зубами грыз».

Команда высыпала из палаток и смотрит на Барни.

«Не по уставу! Не положено офицеру драться!» — визжит Малыш Грин — он у нас всегда законник был.

Другие тоже заворчали.

«Растянуть и этого!» — спокойненько приказывает мой мальчуган.

Сержанты хватают Малыша Грина, растягивают рядом с Барни, и я сразу вижу: люди начали в себя приходить.

«По палаткам! — кричит лейтенантик. — Сержант, выставить пост рядом с наказанными».

Все, как шакалы, разбежались по палаткам, и до утра стало тихо. Слышно было только, как часовой возле растянутых топчется да Малыш Грин всхлипывает — ну, точь-в-точь ребенок. Ночь выдалась холодная, и Пег Барни совсем протрезвел.

Перед самым подъемом вышел мой лейтенантик и говорит:

«Отвязать обоих. Пусть идут в палатку».

Малыш Грин убрался, ни слова ни говоря, а Пег Барни — он за ночь вконец закоченел — стоит и блеет, как овца: перед офицером за дурость свою извиняется. Когда пришло время снимать с привала, команда построилась без разговоров, а уж насчет того, что по уставу, а что нет, — и подавно никто не пикнул.

Я подхожу к своему прежнему старшему сержанту и говорю:

«Теперь и помирать можно. Сегодня я настоящего мужчину видел».

«Верно, — отвечает старина Хосер. — Ребята у него прямо шелковые сделались. Теперь до самого моря, как ягнятки, пойдут. Даром что мальчонка, а характера на десять генералов хватит!»

«Аминь! — говорю я. — И дай ему бог удачи на суше и на море. А ты напиши мне, когда команду погрузите. Интересно, чем у вас кончится».

И знаете, чем все кончилось? Лейтенантик, как написали мне из Бомбея, так жучил в дороге наших ребят, что они на себя непохожи стали. С тех пор как я с ними расстался и до самой погрузки, ни один не набрался больше, чем положено. И клянусь всеми святыми уставами: отплывая, они кричали мальчику «ура», пока не охрипли, а уж такого отродясь не бывало. Да, не из робких

этот лейтенантик оказался. Не каждый сосунок решится старую, дряхлую развалину вроде меня послушать и устав ко всем чертям послать. Я гордился б, служи я под его…

— Ты штатский, Теренс, — предостерегающим тоном напомнила Дайна Шедд.

— Знаю, знаю. Разве с тобой об этом забудешь? И все-таки мальчуган — молодчина. А я тут в земле конайся… Протяните руку, сэр. Виски у вас под ногами. Вот так, на три пальца. А теперь, с вашего позволения, встать! Выпьем за мой старый полк.

И мы выпили.

ВОСКРЕСЕНЬЕ НА РОДИНЕ[38]

Перевод В. Голышева

Убийца мнит, что убивает,
Убитый мнит, что он убит,
Ведь ни один из них не знает,
Где путь мой потаенный скрыт
***Эмерсон*[39][40]**

Неподражаемо проглоченные «р», когда он объявил, что «первый раз приехал» в Англию, выдали коренного жителя Нью-Йорка; а когда он во время нашей долгой неторопливой поездки на запад с вокзала Ватерлоо пустился описывать красоты родного города, я, прикинувшись неосведомленным, помалкивал. Изумленный и растроганный учтивостью лондонского носильщика, он наградил его шиллингом за то,

---

[38] notes: 38

Впервые опубликовано в 1895 г. Вошло в сборник «Дневной труд». Этот рассказ сам Киплинг считал невероятно смешным, однако отдавал себе отчет в том, что юмор такого рода, называемый у англичан «практическим», со стороны может показаться грубоватым.

[39] notes: 39

Перевод Э. Шустера.

[40] notes: 40

Эпиграф взят Киплингом из стихотворения «Брахма» Эмерсона.

что тот перенес чемодан на пятьдесят шагов; он досконально обследовал уборную первого класса, которую Лондонская Юго-Западная иногда предоставляет без дополнительной оплаты; а теперь с полупрезрением-полутрепетом, но не в силах оторваться, он разглядывал опрятный английский пейзаж, объятый воскресным покоем, и я видел, как на лице его выражается все большее удивление. Почему вагоны такие короткие и так высоко сидят? Почему каждый второй товарный вагон затянут брезентом? Какое теперь жалованье у машиниста? Где же английское многолюдье, о котором он столько читал? Каково общественное положение всех этих людей, что едут по дорогам на трехколесных велосипедах? Когда мы будем в Плимуте?

Я объяснил ему все, что знал, и многое, чего не знал. Он ехал в Плимут консультировать по случаю нервной диспепсии одного соотечественника, поселившегося на покое в местности, называемой «Мыс», — это в центре или в жилой части города? Да, сам он врач, и как может быть у человека в Англии нервное расстройство — выше его понимания. Он и вообразить не мог такой умиротворяющей обстановки. Даже глухое громыхание лондонских улиц — монастырская тишь

по сравнению с городами, которые он мог бы назвать; а сельская местность — да это просто рай. Конечно, признался он, от долгого пребывания здесь он бы сошел с ума; но несколько месяцев… — роскошнее отдыха он себе не представляет.

— Теперь я буду приезжать каждый год, — сказал он в порыве восторга, когда мы проезжали между трехметровых изгородей розового и белого боярышника. — Увидеть все, о чем читал в книгах. Вас это, конечно, не так поражает. Вы, должно быть, здешний? Какая ухоженная страна! Мы останавливаемся. Наверно, такой ее создала природа. А вот, где я живу… Эге! что это?

Поезд остановился под ярким солнцем у Фрамлингейм Адмирала, состоящего исключительно из доски с названием, двух платформ и пешеходного мостика — даже без обычного запасного пути. На моей памяти тут не останавливались даже самые медленные пригородные поезда; но в воскресение все возможно на Лондонской Юго-Западной. Стало слышно жужжание вагонных разговоров и едва ли тише — жужжание шмелей в желтофиолях на насыпи. Мой спутник высунул голову в окно и с наслаждением принюхался.

— Где мы сейчас? — спросил он.

— В Уилтшире, — сказал я.

— А! В такой стране можно писать романы левой ногой. Так, так! Значит, это примерно те края, откуда Тэсс[41]? Я чувствую себя, будто попал в книгу. Послушайте, провод… кондуктору что-то надо. О чем он там?

По перрону уставным официальным шагом двигался великолепный, в ремне и бляхах, кондуктор и уставным официальным голосом произносил у каждой двери:

— Джентльмены, нет ли у кого-нибудь флакона с лекарством? Один джентльмен принял флакон яда (настойки опия) за что-то другое.

Через каждые пять шагов он заглядывал в официальную депешу и, освежив ее в памяти, начинал сначала. Мечтательное выражение — он пребывал где-то далеко, с Тэсс, — слетело с лица моего спутника с быстротою створки в фотозатворе. Как истинный сын своей страны, он оказался на высоте положения: сдернув с верхней полки саквояж, он раскрыл его, и я услышал звон пузырьков.

— Выясните, где пострадавший, — кратко распорядился он. — Я его отпою, если он еще может

---

[41] notes: 41

…примерно те края, откуда Тэсс… — Действие романа Томаса Гарди «Тэсс из рода Д'Эрбервилей» протекает южнее, в соседнем графстве Дорсет.

глотать.

Я поспешил вдоль состава за кондуктором. В заднем купе было шумно: чей-то голос зычно требовал, чтобы его выпустили, чья-то нога пинала дверь. Краем глаза я увидел нью-йоркского врача, устремившегося в ту же сторону со стаканом из уборной, полным голубой жидкости. Кондуктора я настиг у паровоза: он неофициально чесал в затылке и бормотал:

— Я же вынес флакон с лекарством в Андовере, я точно помню.

На это машинист отвечал:

— Все равно объяви еще раз. Приказ есть приказ. Объяви еще раз.

Кондуктор зашагал назад, а я, пытаясь привлечь его внимание, затрусил следом.

— Минутку… минутку, сэр, — говорил он, помахивая рукой, способной одним взмахом остановить все движение на Лондонской Юго-Западной. — Джентльмены, нет ли у кого-нибудь флакона с лекарством? Один джентльмен принял флакон яда (настойки опия) за что-то другое.

— Где он?

— В Уокинге. Вот мой приказ. — Он показал депешу со словами, которые надо говорить. — Он, видно, оставил свой флакон в поезде, а принял

за свой флакон какой-то другой. Жутко телеграфирует из Уокинга, а мне помнится, я выносил флакон с лекарством аккурат в Андовере.

— Значит, тот, кто принял яд, не в поезде?

— Боже упаси, сэр. Он яда не принимал. Он принял тот флакон за свой флакон и вынес. И телеграфирует из Уокинга. Мне приказано опросить всех пассажиров, я опросил, и мы уже опаздываем на четыре минуты. Вы садитесь, сэр? Нет? Такое опоздание!

За исключением, быть может, английского языка нет ничего ужаснее, чем порядки на наших железных дорогах. Секунду назад казалось, что мы останемся во Фрамлингейм Адмирале навеки, а сейчас я провожал глазами хвостовой вагон, исчезавший за поворотом в выемке.

Но я был не одинок. Чуть дальше по платформе на одной из скамеек сидел самый здоровенный землекоп, какого я видел в жизни, — размякший и добродушный (если судить по лучезарной улыбке) после хорошего возлияния. В ручище он держал пустой стаканчик с вензелями Л. Ю-З. Ж. Д. на стенках и серо-голубым осадком на донышке. Рядом, положив руку ему на плечо, стоял врач, и, когда я приблизился на расстояние слышимости, до меня донеслось: «Вы только потерпите

минутку-другую, и все как рукой снимет. Я побуду с вами, пока вам не станет лучше».

— Господи! — отвечал землекоп. — Да мне и так неплохо. Сроду лучше не чувствовал.

Обернувшись ко мне, врач понизил голос.

— Он мог скончаться, пока этот болван провод… кондуктор твердил свое объявление. Но я его накачал. Подействует минут через пять, но уж больно он здоров. Просто не знаю, как заставить его двигаться.

Тут мне показалось, что к низу моего живота тихо приложили семь фунтов колотого льда в виде компресса.

— Как… как вам это удалось? — задохнулся я.

— Я спросил, не хочет ли он выпить. Он разносил вагон в щепки — видимо, в силу особой своей конституции. Чтобы выпить, сказал он, я, может, пойду на край света; ну, я его выманил на платформу и напоил. Хладнокровный вы народ, британцы. Поезд ушел, а никто и в ус не дует.

— Мы дали маху, — сказал я.

Он посмотрел на меня с любопытством.

— Ну, это беда поправимая: к вечеру сядем на другой. Носильщик, когда следующий поезд на Плимут?

— В семь сорок пять, — сказал единственный

носильщик и вышел через турникет на природу. Было двадцать минут четвертого, сонный жаркий день. На станции было безлюдно. Землекоп уже клевал носом.

— Плохо дело, — сказал врач. — Я про него, не про поезд. Надо заставить его пройтись — походить немного.

Как можно короче я объяснил ему щекотливость положения, и нью-йоркский врач сделался цвета позеленевшей бронзы. Он всесторонне проклял нашу славную Конституцию и родную речь — в корень, в ветви и в парадигму, склоняя их на самые замысловатые лады. Его легкое пальто и саквояж лежали на скамейке около спящего. Туда он и двинулся, крадучись, и я прочел в его глазах вероломство.

Какой бес промедления толкнул его надевать пальто, не знаю. Говорят, тихий звук пробуждает скорее громкого, и не успел доктор просунуть руки в рукава, как великан очнулся и жаркою рукой сгреб его за шелковый ворот. Лицо землекопа выражало гнев — гнев и какие-то новые пробуждающиеся чувства.

— Мне… мне… уже не так хорошо, как раньше, — вырвалось из глубин его существа. — Вы уж тут побудете возле меня — побудете. — Он шумно

выдыхал сквозь сжатые губы.

Надо сказать, что если в беседе со мной доктор распространялся о чем-нибудь особенно — то о природной законопослушности, если не сказать — миролюбии, своих многажды оклеветанных соотечественников. Тем не менее (может быть, конечно, ему просто мешала пуговица) я увидел, как рука его скользнула к правому бедру, подержалась за что-то и вернулась пустой.

— Он вас не убьет, — сказал я. — Скорее подаст на вас в суд, насколько я знаю моих соплеменников. Лучше давайте ему время от времени деньги.

— Если он посидит спокойно, пока оно не подействует, — отозвался доктор, — тогда слава богу. Если нет… — моя фамилия Эмори — Джулиан Б. Эмори — Шестнадцатая улица, сто девяносто три, угол Мэдисон…

— Мне сроду не было так худо, — внезапно произнес землекоп. — Зачем… ты… меня… опоил?

Вопрос был настолько личного свойства, что я занял стратегическую позицию на пешеходном мостике и, расположившись точно посередине, стал наблюдать издали.

Подо мной, по склону Солсберийской равнины, ничем не заслоненная, тянулась на мили и мили

белая дорога, и где-то на среднем плане маячила пятнышком спина единственного носильщика, возвращавшегося до семи сорока пяти во Фрамлингейм Адмирал — если на свете существовало такое место. Мягко прозвонил колокол невидимой церкви. Послышался шорох в конских каштанах слева от полотна и передвижения овец, обстригавших окрестности.

Земля погрузилась в нирвану, и я, в задумчивости облокотясь на теплые железные перила мостика (за переход путей иным способом — штраф сорок шиллингов), с небывалой ясностью осознал, что следствия наших поступков простираются бесконечно в пространстве и времени. Стоит хотя бы слегка задеть жизнь другого смертного, и воздействие нашей личности, как круги по воде, расходится и расходится в запредельность, так что сами далекие боги не ведают, затухнет ли где это сотрясение. Ведь это я, между прочим, ни слова не говоря, поставил перед доктором пустой стакан из уборной первого класса, уносившейся сейчас к Плимуту. И, однако же, я, — духовно, по крайней мере, — находился в миллионах миль от несчастного иноземца, который решил поковыряться неловким пальцем в механизме чужой жизни. А теперь механизм таскал его туда

и сюда по залитой солнцем платформе. Казалось, эти двое разучивают вместе польки-мазурки, а мотивчик для них выводил один густой голос: «Зачем ты меня опоил?»

Я увидел, как на ладони доктора блеснуло серебро. Землекоп принял его левой и отправил в карман; могучая же правая ни на миг не выпускала докторского ворота, и с приближением кризиса все громче и громче раздавался бычий рев: «Зачем ты меня опоил?»

Они проплыли под толстыми футовыми бревнами мостика к скамье, и я понял, что время близится. Зелье начинало действовать. Синее, белое и снова синее волнами прокатывались по лицу землекопа, покуда их не вытеснил прочный глинисто-желтый, и — чему быть, того не миновал он.

Я подумал о стремнине Адских Ворот, о гейзерах в Йеллоустонском парке[42], о Ионе и его ките[43], но живая модель, хотя и укороченная верхним

---

[42] notes: 42

…о гейзерах в Йеллоустонском парке… — Национальный американский парк-заповедник на границе штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо; гейзеры и горячие источники — его основные достопримечательности

[43] notes: 43

…о Ионе и его ките… — библейский праведник, проглоченный, а потом извергнутый китом

ракурсом, превосходила все это. Он наткнулся на скамью, на тяжелые лафеты, прибитые железными скобами к вечному камню, и уцепился за нее левой рукой. Она затряслась и задрожала, как дрожит насыпной мол под натиском рвущегося на сушу моря, и вдоволь было — когда он перевел дух — «воплей брега, разъяренного битвою с прибоем». Правая его рука держала ворот доктора, так что в одном пароксизме бились двое — два маятника, колеблющихся вместе, — и я, на расстоянии, дрожал вместе с ними.

Это было колоссально — невероятно; но английский язык немеет перед некоторыми явлениями. Только французскому, кариатидному французскому Виктора Гюго, под силу это описать; и я скорбел, хотя смеялся, торопливо перебирая и отбрасывая бледные эпитеты. Начальная ярость приступа утихла, и страдалец то ли упал, то ли опустился коленями на скамью. Теперь он хрипло призывал Бога и свою жену — как раненый бык призывает свое невредимое стадо не покидать его. Как ни странно, он не употреблял ругательств — они вышли из него вместе с остальным. Доктор извлек золотой. Он был принят и удержан. Так же, как докторский воротник.

— Если бы я мог встать, — жалобно гудел

великан, — я бы тебя изничтожил, с твоими пузырьками. Помираю… помираю… помираю!

— Это вы так думаете, — возразил врач. — Увидите, от этого не будет ничего, кроме пользы, — и, возводя несколько императивную необходимость в добродетель, добавил: — Я вас не покину. Если вы меня на секунду отпустите, я дам вам средство, которое вас успокоит.

— Ты и так меня успокоил, проклятый анархист. Оставил без кормильца семью английского рабочего! Но я тебя не выпущу, пока не умру или не поправлюсь. Я тебе ничего не сделал. Ну, положим, выпил малость. Меня выкачивали у Гая желудочным зонтом. Ну, то еще понятно — но это как понять — когда убивают медленной смертью?

— Через полчаса у вас все пройдет. Зачем мне, по-вашему, вас убивать? — сказал врач, как видно, тяготевший к логике.

— А я-то почем знаю? На суде все расскажешь. Тебе за это семь лет дадут, похититель трупов. Вот кто ты есть — похититель, будь ты неладен. В Англии с законом шутки плохи, это я тебе говорю, и профсоюз мой тоже тебя потягает. У нас мудровать над чужим нутром не позволено. Одна за ерунду против твоих штук десять лет получила. И

еще сотни да сотни будешь платить моей хозяйке вдобавок к пенсии. Ты еще увидишь, знахарь заморский. Где твое разрешение на такие дела? Ты еще хлебнешь — это я тебе говорю!

Тут я заметил, как уже замечал не раз, что человек, вполне умеренно боящийся столкновения с иностранцем, испытывает самый дикий страх перед действием иностранного закона. Голос доктора своей изысканной вежливостью напоминал уже флейту:

— Но я ведь дал вам очень много денег — должно быть, фунтов пя… три.

— Три фунта за отравление такого, как я? У Гая мне за труп — вперед — давали двадцать. Уй! Опять начинается.

Второй раз великан был сражен, так сказать, на корню, и скамья под ним заходила, а я отвел взгляд.

В английском майском дне как раз наступил миг завершения. Невидимые токи воздуха повернули в другую сторону, и вся природа обращала свой лик с тенями конских каштанов к покою грядущей ночи. Но от конца день отделяли еще часы — я знал это, — долгие, долгие часы бесконечных английских сумерек. И мне было довольно того, что я жив; что плыву, куда несут

меня Время и Судьба; что кожей впитываю этот великий покой; что люблю мою страну с нежностью, созревающей только тогда, когда между тобой и домом — три тысячи миль соленой воды. И что за райский сад была эта холеная, подстриженная, отмытая земля! Тут заночуй в чистом поле, и тебе будет покойней и уютней, чем в самых величественных зданиях чужих городов. И радостно чувствовать, что все это — мое, неотторжимо — чистая дорога, подстриженная изгородь, скромный каменный коттедж, густая рощица и пушистые кусты, белобокий боярышник, рослое дерево. Легкое дуновение ветерка — он разбросал лепестки боярышника по блестящим рельсам — донесло до меня слабый аромат будто свежего кокоса, и я понял, что где-то вдалеке цветет золотой утесник. Линней[44], впервые увидев его в поле, благодарил Господа на коленях — на коленях, кстати, стоял сейчас и землекоп. Но он отнюдь не молился. Он был, прямо скажем, отвратителен.

Врачу пришлось склониться над ним, лицом к спинке скамьи, и из того, что я увидел, я заключил, что землекоп умер. Если так, то сейчас самое

---

[44] notes: 44

Линней — знаменитый шведский естествоиспытатель, систематизатор растений.

время уйти; но я знал, что, покуда человек вверяет себя течению Обстоятельств, ни за чем не гонясь, ни от чего не уклоняясь из их подарков, ему не страшна никакая беда. Ловкача, интригана настигает закон, но только не философа. Я знал, что, когда пьеса будет доиграна, сама Судьба уведет меня от трупа; и мне было очень жаль доктора.

Вдали — по-видимому, на дороге во Фрамлингейм Адмирал — показалась лошадь с экипажем — единственным древним фаэтоном, который в случае надобности может отыскаться в любой деревне. Колесница эта, мною не оплаченная, двигалась к станции; ей предстояло спуститься в выемку под железнодорожный мост и снова выехать с той стороны, где доктор. Я находился в центре событий, и все стороны были мне равно близки. Так вот она, следовательно, моя машина из машины[45]. Когда она прибудет, что-нибудь произойдет — или что-нибудь случится. В остальном моя полная любопытства душа была ко всему готова.

Врач у скамьи обернулся — насколько позволяло его стесненное положение — через левое плечо и приложил правую руку к губам. Я сдвинул на

[45] notes: 45
Машина из машины — вместо «бог из машины» (deus ex machina).

затылок шляпу и изобразил бровями вопрос. Доктор закрыл глаза и дважды или трижды медленно кивнул, тем самым призывая меня к себе. Я осторожно спустился и обнаружил, что не ошибся в своих предположениях. Землекоп, опорожненный до донышка, спал; тем не менее рука его по-прежнему держала ворот пальто и при малейшем движении доктора (тот действительно был очень стеснен) непроизвольно сжималась, как сжимается рука больной женщины на руке сиделки. Сползши со скамьи, он сидел почти на корточках и, сползая все ниже, стаскивал доктора влево.

Доктор сунул правую — свободную — руку в карман, вытащил ключи и покачал головой. Землекоп булькал во сне. Я безмолвно полез в карман, достал соверен и поднял, держа между большим и указательным пальцами. Доктор опять покачал головой. На деньги покоя не купишь. Его саквояж упал со скамьи на землю. Он устремил на него взгляд и раскрыл рот в форме буквы «о». Замок был несложный, и, когда я с ним совладал, доктор указательным пальцем правой руки стал пилить по воздуху. С бесконечной осторожностью я извлек нож, каким они срезают разные утолщения на ногах. Доктор, на-

хмурившись, указательным и средним пальцами изобразил действие ножниц. Я порылся еще и выудил какие-то дьявольские кривые ножницы, способные превратить в кружево внутренности слона. Тогда доктор стал плавно опускать левое плечо, пока запястье землекопа не оперлось на скамью, — сделав короткий перерыв, когда потухший вулкан зарокотал было снова. Все ниже и ниже приседал доктор, и наконец его голова оказалась на одном уровне — и совсем рядом — с огромным волосатым кулаком, и натяжение ворота ослабло. Тут меня осенило.

Я начал чуть правее спинного хребта и вырезал в его легком пальто громадный полумесяц, заведя его в левый бок (с точки зрения землекопа — правый) настолько, насколько у меня хватило выдержки. Затем, быстро обойдя скамью, я врезался между шлицами и вскрыл правый шелковый борт пальто, так что разрезы соединились.

Осторожно, как сухопутные черепахи его родины, врач отполз вправо и с видом незадачливого взломщика, вылезающего из-под кровати, выпрямился; черное плечо его косо выглянуло из бывшего серого пальто. Я убрал ножницы в саквояж, защелкнул замок и отдал саквояж ему как

раз в ту минуту, когда под сводом моста глухо застучали колеса.

Упряжка шагом миновала станционный турникет, и доктор остановил ее шепотом. Она отправлялась за пять миль, к церкви, чтобы отвезти кого-то — я не расслышал имени — домой, потому что его собственные упряжные лошади захромали. Оказалось, что как раз в эту точку земного шара пылко стремился доктор, и он сулил кучеру золотые горы, если тот отвезет его к предмету давней и пламенной страсти — Елениных Огни было его название.

— А вы со мной не поедете? — спросил он, заталкивая пальто в саквояж.

Но фаэтон столь очевидно был ниспослан доктору и никому иному, что я не желал иметь к нему никакого касательства. Мне было ясно, что пути наши расходятся, и, кроме того, я испытывал потребность посмеяться.

— Побуду здесь, — сказал я. — Очень милое место.

— Боже мой! — пробормотал он так же тихо, как прикрыл дверцу, и я почувствовал, что это — молитва.

И он исчез из моего мира, а я направил стопы к железнодорожному мосту. Мне пришлось еще

раз миновать скамью, но нас разделял турникет. Отъезд фаэтона разбудил землекопа. Он вскарабкался на скамью и злобным взглядом провожал возницу, нахлестывавшего свою лошадь.

— Там человек, — выкрикнул он, — который отравил меня. Похититель трупов. Он вернется, когда я умру. Вот у меня доказательство!

Он взмахнул своей долей пальто, а я пошел своей дорогой, потому что проголодался. От станции до деревни Фрамлингейм Адмирал добрых две мили, и на каждом шагу этого пути я нарушал благодатную вечернюю тишь криками и воплями, а когда ноги отказывались меня держать, валился в славную зеленую изгородь. В деревне был трактир — благословенный трактир с соломенной крышей и пионами в садике, — и, поскольку смех еще не отпускал меня, я потребовал отдельную горницу, где пировали когда-то Лесники. Озадаченная женщина подала мне яичницу с ветчиной, и я, высунувшись из окна, хохотал между глотками. Я долго сидел над пивом и с наслаждением курил, а когда на тихой улице стало смеркаться, вспомнил о поезде семь сорок пять на Плимут и о мире «Тысячи и одной ночи», который недавно покинул.

Спустившись, я прошел мимо великана в мо-

лескине, заполнившего собой всю невысокую пивную. Перед ним стояло множество пустых тарелок, а за ними — кольцо Фрамлингеймских адмиралтейцев, внимавших дивной повести об анархии, о похищении трупов, о подкупах и о Долине Смертной Тени, откуда он только что восстал. И, рассказывая, он кушал, и, кушая, он пил, потому что места в нем было много; и платил — по-царски, говоря о правосудии и законе, перед коим все англичане равны, а все иностранцы и анархисты — грязь и тля.

По дороге на станцию он обогнал меня широким шагом: голова его возвышалась над парящими низко летучими мышами, ноги ступали твердо по убитому щебню, кулаки были стиснуты, дыхание вырывалось с шумом. Воздух пах чудно — белой пылью, примятой крапивой, дымом — запахом, от которого слезы щекочут в горле у человека, редко видящего родину, запахом, подобным эху смолкших бесед влюбленных; бесконечно красноречивым ароматом седой цивилизации. Прогулка была замечательна, и я, задерживаясь на каждом шагу, явился на станцию, когда единственный носильщик зажигал последний фонарь, из стоявших на тележке, и ставил их все обратно в кладовую, продавая при

этом билеты троим или четверым жителям, которым мало было здешнего покоя и захотелось странствий. Землекопу, по-видимому, был нужен вовсе не билет. Он сидел на скамье и мстительно давил каблуком осколки стакана. Я предпочел остаться в тени, на краю платформы, нисколько не потеряв, слава богу, интереса к окружающему. На дороге послышался стук колес. Когда он приблизился, землекоп встал, вышел за турникет и взялся за уздечку, отчего наемное животное поднялось на дыбы. Это возвращался назад спасительный фаэтон, и я, грешным делом, подумал, не возникло ли у доктора безумное желание вновь навестить пациента.

— Отойди, коли пьяный, — сказал возница.

— Я не пьяный, — возразил землекоп. — Я тут незнамо сколько жду. А ну, вылезай, шаромыжник.

— Трогай, — произнес голос, мне незнакомый, — твердый, чистый, английский голос.

— Ладно же, — сказал землекоп. — Добром не хочешь. А теперь ты вылезешь?

В боку фаэтона образовалось зияние, потому что он сорвал дверцу с петель и теперь методически шарил внутри. Поиски его были вознаграждены чисто обутой ногой, а за ней, прыгая на другой,

но не от радости, появился кругленький седой англичанин, у которого из подмышек посыпались сборники гимнов, а с языка — тексты совсем другого духовного содержания.

— Вылезай, похититель, будь ты неладен! Ты думал, я помер, да? — гремел землекоп. И, вняв его слову, почтенный джентльмен, онемевший от ярости, вылез.

— Сквайра убивают! — закричал возница и пал с козел на спину землекопа.

Надо отдать им должное, люди Фрамлингейм Адмирала, сколько их было поблизости, поднялись на этот клич в лучших традициях феодализма. По носу землекопа ударил компостером носильщик-билетер, но к ногам его прикрепились, и пленника освободили — три билета третьего класса.

— Позовите констебля! Арестуйте его! — сказал пленник, поправляя воротник, и объединенными усилиями они ввергли землекопа в кладовую и заперли на ключ, между тем как кучер оплакивал свой фаэтон.

До сих пор землекоп, жаждавший только лишь правосудия, благородно сдерживал свой гнев. Теперь же перед нашими изумленными взорами он впал в боевую ярость. Дверь кладовой была по-

строена добротно и не поддавалась ни на дюйм; зато окно он вырвал целиком и выкинул наружу. Единственный носильщик громко подсчитывал ущерб, а остальные, вооружившись сельскохозяйственными орудиями в станционном садике, беспрерывно бряцали ими подле окна, держась поближе к стенке, и призывали узника подумать о темнице. Призывы эти, насколько они могли понять, не находили в нем отклика; напротив, видя, что выход прегражден, он схватил фонарь и выкинул в пролом. Фонарь упал на щебень и погас.

За ним, как ракеты в сумраке, с немыслимой быстротой вылетели остальные, числом пятнадцать, и с последним (чего он не мог предвидеть) боевая ярость покинула его, а ужасное зелье доктора под влиянием энергичных движений и обильной трапезы, наоборот, взыграло, произведя еще один, последний катаклизм — и мы услышали гудок поезда семь сорок пять на Плимут.

Всем нам было крайне интересно поглядеть на разрушения, ибо паровоз пробежал по битому стеклу, как терьер по парнику с огурцами, и керосином от станции разило до небес. А кондуктору удалось еще и послушать — сквайр дал свою

версию зверского нападения, и, когда я искал свободное место, все головы торчали из вагонов наружу.

— Что за шум? — спросил молодой человек, когда я вошел. — Пьяный?

— Ну, насколько мне позволяют судить мои наблюдения, симптомы скорее похожи на азиатскую холеру, чем на что-либо иное, — ответил я медленно и веско, дабы каждое слово встало на место в расчисленном ходе событий. До сих пор, напоминаю, я не принимал участия в военных действиях.

Он был англичанин, но собрал свое имущество так же быстро, как тысячу лет назад — американец, и выбежал на платформу с криком:

— Чем я могу помочь? Я доктор.

Из кладовой донесся измученный вопль:

— Еще один доктор, будь он неладен!

И поезд семь сорок пять понес меня дальше — еще на шаг ближе к Вечности, по колее, проторенной, изборожденной и взрытой страстями и слабостями и непримиримыми интересами человека — бессмертного хозяина своей судьбы.

В НАВОДНЕНИЕ[46]

Перевод Н. Лебедевой

Молвит Твид, звеня струей:
«Тилл, не схожи мы с тобой.
Ты так медленно течешь...»
Отвечает Тилл: «И что ж?
Но зато, где одного
Топишь ты в волнах своих,
Я топлю двоих».

Нет, не переправиться нам этой ночью через реку, *сахиб*. Слыхал я, что сегодня уже снесло одну воловью упряжку, а *экка*, которую отправили за полчаса, до того как ты пришел, еще не приплыла к тому берегу. А что, разве *сахиб* спешит? Я велю сейчас привести нашего слона и загнать его в реку, тогда *сахиб* сам убедится. Эй, ты там, *махаут*, ну-ка выходи из-под навеса, выводи Рама Першада, и если он не побоится потока, тогда добро. Слон никогда не обманет, *сахиб*, а Рама Першада разлучили с его другом Кала-Нагом, так что ему самому хочется на тот берег. Хорошо! Очень

---

[46] notes: 46
Впервые в 1888 г., рассказ вошел в сборник «Черным по белому».

хорошо! Ты мой царь! Иди, *махаутджи*, дойди до середины реки и послушай, что она говорит. Очень хорошо, Рам Першад! Ты, жемчужина среди слонов, заходи же в реку! Да ударь его по голове, дурак! Для чего у тебя бодило в руках, а, чтобы ты им свою жирную спину чесал, ублюдок? Бей! Бей его! Ну что для тебя валуны, Рам Першад, мой Рустам, о ты, моя гора мощи! Иди! Иди же! Ступай в воду!

Нет, *сахиб*! Бесполезно. Ты же слышишь, как он трубит. Он говорит Кала-Нагу, что не может перейти. Погляди! Он повернул обратно и трясет головой. Он ведь не дурак. Он-то знает, что такое Бархви, когда она злится. Ага! Ну конечно, ты у нас не дурак, сын мой! *Салам*, Рам Першад, *бахадур*. Отведи его под деревья, *махаут*, и смотри покорми его пряностями. Молодец, ты самый великий из слонов. *Салам* господину и иди спать.

Что делать? *Сахибу* придется ждать, пока река спадет. А спадет она, если богу будет угодно, завтра утром, а не то, так — уж самое позднее — послезавтра. Что же *сахиб* так рассердился? Я его слуга. Видит бог, не я устроил такой паводок. Что я могу сделать? Моя хижина и все, что в ней есть, — к услугам *сахиба*. Вот и дождь пошел. Пойдем, мой господин. Ведь река не спадет от того, что ты

поносишь ее. В старые времена англичане были не такие. Огненная повозка изнежила их. В старые времена, когда они ездили в колясках и гнали лошадей днем и ночью, они, бывало, и слова не скажут, если река преградит им путь или коляска застрянет в грязи. Они знали — на то воля божья. Теперь все иначе. Теперь огненная повозка идет и идет себе, хотя бы духи всей страны гнались за ней. Да, огненная повозка испортила англичан. Ну, посуди сам, что такое один потерянный день, а то даже и два? Разве *сахиб* торопится на свою собственную свадьбу, что он в такой безумной спешке? Ох! Ох! Ох! Я старый человек и редко вижу *сахибов*. Прости меня, если забыл, что с ними нужно быть почтительным. *Сахиб* не сердится?

Его собственная свадьба! Ох! Ох! Ох! Разум старого человека — словно дерево *нума*. На одном дереве вперемешку и плоды, и почки, и цветы, и увядшие листья прошлых лет. Так и у старика в голове — все перемешано: прошлое, новое и то, что давно позабыто. Сядь на кровать, *сахиб*, и выпей молока. А может, скажи правду, *сахиб* хочет отведать моего табачку? Хороший табак. Из Нуклао. Мой сын там служит в армии, так вот он прислал мне оттуда этот табак. Угощайся, *сахиб*, если только ты знаешь, как обращаться с такой

трубкой. Сахиб держит ее, как мусульманин. Вах! Вах! Где он научился этому? Его собственная свадьба! Ох! Ох! Ох! *Сахиб* говорит, что дело тут ни в какой не в свадьбе. Да разве *сахиб* скажет мне правду, я ведь всего лишь чернокожий старик. Чего же тогда удивляться, что он так спешит. Тридцать лет ударяю я в гонг на этой переправе, но никогда еще не видел, чтобы хоть один *сахиб* так спешил. Тридцать лет, *сахиб*! Это ведь очень много. Тридцать лет тому назад эта переправа была на пути караванов; однажды ночью здесь перешли на ту сторону две тысячи вьючных волов. Ну а теперь пришла железная дорога, гудят огненные повозки, и по этому мосту пролетают сотни тысяч пудов. Да, удивительное дело… А переправа теперь опустела, и нет больше караванов под этими деревьями.

Ну, что тебе зря себя утруждать и смотреть на небо. Все равно ведь дождь будет идти до рассвета. Прислушайся! Сегодня ночью валуны на дне реки разговаривают между собой. Послушай их! Они все начисто сдерут с твоих костей, *сахиб*, попробуй ты перебраться на тот берег. Знаешь, я лучше закрою дверь, чтобы здесь дождем не намочило. Вах!.. Ах! Ух! Тридцать лет на берегу этой переправы. Теперь уж я старик… Да где же

это у меня масло для лампы?

Ты уж прости меня, но я по старости сплю не крепче собаки, а ты подошел к двери. Послушай, *сахиб*. Смотри и слушай. От берега до берега добрых полкоса — даже при свете звезд это видно, — да глубина сейчас десять футов. И сколько бы ты ни сердился, вода от этого не спадет и река не успокоится, как бы ты ни проклинал ее. Ну, скажи сам, *сахиб*, у кого голос громче, у тебя или у реки? Ну прикрикни на нее, может, ты ее и пристыдишь. Лучше ложись-ка ты спать, *сахиб*. Я знаю ярость Бархви, когда в предгорье идет дождь. Однажды я переплыл поток в паводок; ночь тогда была в десять раз хуже этой, но божьей милостью я спасся тогда от смерти, хоть и был у самых ее ворот.

Хочешь, я расскажу тебе об этом? Вот это хорошие слова. Сейчас, только набью трубку.

С тех пор прошло тридцать лет; я был совсем молодой и только что приехал сюда работать на переправе. Погонщики всегда верили мне, когда я говорил: «Можно переправляться, река спокойна». Как-то я всю ночь напролет напрягал свою спину в речных волнах среди сотни обезумевших от страха волов и переправил их на ту сторону и даже одного копыта не потерял. Покончил с ними

и переправил трясущихся людей, и они дали мне в награду самого лучшего вола — вожака стада с колокольчиком на шее. Вот в каком я был почете! А теперь, когда идет дождь и поднимается вода, я заползаю в свою хижину и скулю, как пес. Сила моя ушла от меня. Я теперь старик, а переправа опустела с тех пор, как появилась огненная повозка. А прежде меня называли «Сильнейший с реки Бархви».

Взгляни на мое лицо, *сахиб*, это лицо обезьяны. А моя рука — это рука старухи. Но клянусь тебе, *сахиб*, женщина любила это лицо, и голова ее покоилась на сгибе этой руки. Двадцать лет тому назад, *сахиб*. Верь мне, говорю сущую правду — двадцать лет тому назад.

Подойди к двери и погляди туда через реку. Ты видишь маленький огонек далеко, далеко, вон там, внизу по течению. Это огонь храма. Там святилище Ханумана[47] в деревне Патира. Сама деревня вон там на севере, где большая звезда, только ее не видно за излучиной. Далеко туда плыть, *сахиб*? Хочешь снять одежду и попробовать? А вот я плавал в Патиру — и не один, а много раз; а ведь в этой реке водятся крокодилы.

---

[47] notes: 47

Святилище Ханумана. — Хануман — бог в обезьяньем облике, главный герой индийского эпоса «Рамаяна»

Любовь не знает каст; а иначе никогда бы мне, мусульманину, сыну мусульманина, не добиться любви индусской женщины — вдовы индуса — сестры вождя Патиры. Но так оно и было. Когда Она только что вышла замуж, вся семья вождя отправилась на паломничество в Матхуру[48]. Серебряные ободья были на колесах повозки, запряженной волами, а шелковые занавески скрывали женщину. *Сахиб*, я не торопился переправить их, потому что ветер раздвинул занавески, и я увидел Ее. Когда они вернулись после паломничества, ее мужа не было. Он умер. И я снова увидел Ее в повозке, запряженной волами. Бог мой, до чего же они глупые, эти индусы! Какое мне было дело, индуска ли она, или джайна, или из касты мусорщиков, или прокаженная, или все это, вместе взятое? Я бы женился на ней и устроил бы для нее дом на переправе. Разве не говорит седьмая из девяти заповедей, что мусульманину нельзя жениться на идолопоклоннице? И шииты и сунниты[49] разве не запрещают мусульманам брать в жены идолопоклонниц? Может, *сахиб*

[48] notes: 48

Паломничество в Матхуру. — Матхура — город в Индии с большим числом храмов.

[49] notes: 49

Шииты и сунниты — мусульманские секты.

священник, что он так много знает? А я вот скажу ему то, чего он не знает. В любви нет ни шиитов, ни суннитов, нет запретов и нет идолопоклонников; а девять заповедей — это просто девять хворостин, которые в конце концов сгорают в огне любви. Сказать тебе правду, я бы забрал ее, но как я мог это сделать? Вождь послал бы своих людей, и они палками разбили бы мне голову. Я не боюсь — я не боялся каких-нибудь пяти человек, но кто одолеет половину деревни?

Так вот, по ночам я, бывало, — так уж мы с Ней условились — отправлялся в Патиру, и мы с Ней встречались посреди поля, так что ни одна живая душа ни о чем не догадывалась. Ну, слушай дальше! Обычно я переплывал здесь на ту сторону и шел джунглями вдоль берега до излучины реки, где железнодорожный мост и откуда дорога поворачивала в Патиру. А когда ночи были темные, огни храма указывали мне путь. В этих джунглях у реки полно змей — маленьких *карайтов*, которые спят в песке. Ее братья, попадись я им в поле, убили бы меня. Но никто ничего не знал — никто, только Она и я; а следы моих ног заносило речным песком. В жаркие месяцы было легко добраться от переправы до Патиры, да и в первые дожди, когда вода поднималась медленно, было

тоже нетрудно. Силой своего тела я боролся с силой потока, и по ночам я ел в своей хижине, а пил там, в Патире. Она рассказывала мне, что Ее добивается один мерзавец, Хирнам Сингх — из деревни на той стороне реки, вверх по течению. Все сикхи — собаки, они в своем безумии отказались от табака, этого дара божьего. Я убил бы Хирнама Сингха, приблизься он к Ней. К тому же он узнал, что у Нее есть любовник, и поклялся выследить его. Этот подлец грозил, что, если Она не пойдет с ним, он обо всем расскажет вождю. Что за мерзкие псы эти сикхи!

Как услышал я про это, больше уж без ножа к Ней не плавал. Маленький, острый, он всегда был у меня за поясом. Плохо бы пришлось этому человеку, если бы он встал у меня на пути. Я не знал Хирнама Сингха в лицо, но убил бы всякого, кто встал бы между мной и Ею.

Однажды ночью, в самом начале дождей, я решил плыть в Патиру, хотя река уже была сердитая. Уж такая у Бархви натура, *сахиб*. За двадцать дыханий с холмов накатилась стена высотой в три фута; пока я развел огонь и стал готовить *чапатти*, Бархви из речушки выросла в родную сестру Джумны.

Когда я отплыл от этого берега, в полмиле вниз

по течению была отмель, и я решил плыть туда, чтобы передохнуть там, а потом плыть дальше; я уже чувствовал, как река своими тяжелыми руками тянет меня на дно. Но что не сделаешь в молодости ради Любви! Звезды едва светили, и на полпути к отмели ветка какого-то паршивого кедра прошлась по моему лицу, когда я плыл. Это было признаком сильного ливня у подножья холмов и за ними. Потому что кедр — это крепкое дерево, и его не так-то легко вырвать из склона. Я плыл, плыл быстро, река помогала мне. Но раньше чем я доплыл до отмели, там уже бушевала вода. Вода была внутри меня и вокруг меня, а отмель исчезла; меня вынесло на гребне волны, которая перекатывалась от одного берега к другому. Доводилось ли когда-нибудь *сахибу* очутиться в бушующей воде, которая бьет и бьет и не дает человеку двинуть ни рукой ни ногой? Я плыл, голова едва над водой, и мне казалось, что всюду, до самого края земли, одна вода, только вода, и ничего больше. И меня несло вниз по течению вместе с плавуном. Человек так ничтожно мал во вздутом брюхе потока. А это было — хотя тогда я этого еще не знал — Великое Наводнение, о котором люди еще до сих пор говорят. Во мне все оборвалось, я лежал на спине, словно бревно,

и с ужасом ждал смерти. Вода была полна всякой живности, и все отчаянно кричали и выли — мелкие звери и домашний скот, — и один раз я услышал голос человека, который звал на помощь, но пошел дождь, он хлестал и вспенивал воду, и я не слышал больше ничего, кроме рева валунов внизу и рева дождя наверху. Меня все крутило и вертело потоком, и я изо всех сил старался глотнуть воздуха. Очень страшно умирать, когда молод. Видно *сахибу* отсюда железнодорожный мост? Посмотри, вон огни, это почтовый поезд. Он идет в Пешавар. Мост сейчас на двадцать футов выше воды, а в ту ночь вода ревела у самой решетки моста, и к решетке принесло меня вперед ногами. Но там и у быков сгрудилось много плавуна, поэтому меня не сильно ударило. Река только прижала меня, как может прижать сильный человек слабого. С трудом ухватился я за решетку и переполз на верхнюю ферму. *Сахиб*, рельсы были на глубине фута под водой, и через них перекатывались бурлящие потоки пены! По этому ты сам можешь судить, какой это был паводок. Я ничего не слышал и не видел. Я мог только лежать на ферме и судорожно хватать воздух.

Через некоторое время ливень кончился, в небе снова появились омытые дождем звезды, и при их

свете я увидел, что не было края у черной воды и вода поднялась выше рельсов. Вместе с плавуном к быкам прибило трупы животных; некоторые животные застряли головой в решетке моста; были еще и живые, совсем изнемогающие, они бились и пытались забраться на решетку, — тут были буйволы, коровы, дикие свиньи, один или два оленя и змеи и шакалы — всех не перечесть. Их тела казались черными с левой стороны моста, самых маленьких из них вода протолкнула через решетку, и их унесло потоком.

А потом звезды исчезли, и с новой силой полил дождь, и река поднялась еще больше; я почувствовал, что мост стал ворочаться, как ворочается во сне человек, перед тем как проснуться. Мне не было страшно, *сахиб*. Клянусь тебе, мне не было страшно, хотя ни в руках моих, ни в ногах больше не было силы. Я знал, что не умру, пока не увижу Ее еще раз. Но мне было очень холодно, и я знал, что мост снесет.

В воде появилась дрожь, как бывает, когда идет большая волна, и мост поднял свой бок под натиском этой набегающей волны так, что правая решетка погрузилась в воду, а левая поднялась над водой. Клянусь бородой, *сахиб*, бог видит, я говорю сущую правду! Как в Мирзапоре накрени-

лась от ветра баржа с камнями, так перевернулся и мост Бархви. Было так, а не иначе.

Я соскользнул с фермы и очутился в воде; позади меня поднялась волна разъяренной реки. Я слышал ее голос и визг средней части моста в тот момент, когда он стронулся с быков и затонул, а дальше я не помнил ничего и очнулся уже в самой середине потока. Я вытянул руку, чтобы плыть, и что же! Она коснулась курчавой головы человека. Он был мертв, потому что только я, Сильнейший с Бархви, мог выжить в этой борьбе с рекой. Умер он дня два тому назад, его уже раздуло, и он всплыл. И он оказался спасением для меня. И тогда я засмеялся. Я был уверен, что увижу Ее, что со мной ничего не случится. Я вцепился пальцами в волосы этого человека, потому что очень устал, и мы вместе двинулись по бурлящей реке — он мертвый, я живой. Без этой помощи я бы утонул: холод пронизывал меня до мозга костей, а все мое тело было изодрано и пропиталось водой. Но *он* не знал страха, он, познавший всю силу ярости реки; и я дал ему плыть туда, куда он захочет. Наконец мы попали в течение бокового потока, который мчался к правому берегу, и я стал яростно бить ногами, чтобы приплыть туда. Но мертвеца тяжело раскачивало в бурлящем

потоке, и я боялся, как бы он не зацепился за какую-нибудь ветку и не пошел ко дну. Мои колени задевали верхушки тамариска, и я понял, что поток несет нас над посевами, и через некоторое время я опустил ноги и почувствовал дно — край поля, а потом мертвец застрял на холмике под фиговым деревом, и я, полный радости, вытащил свое тело из воды.

Знает ли *сахиб*, куда принесло меня потоком? К холмику, который был вехой на восточной границе деревни Патира. Не куда-нибудь еще! Я вытащил мертвеца на траву за ту услугу, которую он мне оказал, и еще потому, что не знал, не понадобится ли он мне опять. А потом я пошел, трижды прокричав, как шакал, к условленному месту встречи, недалеко от коровника вождя. Но моя Любовь была уже там и рыдала. Она боялась, что паводком снесло мою хижину у переправы на Бархви. Когда я тихо вышел из воды, которая была мне по щиколотку, Она подумала, что это привидение, и чуть не убежала, но я обхватил Ее руками и — я был отнюдь не привидение в те дни, хотя теперь я старик. Ха! Ха! Высохший кукурузный початок, по правде сказать. Маис без

сока. Ха! Ха![50]

Я поведал Ей, как сломался мост через Бархви, и Она сказала, что я больше чем простой смертный, потому что никому не дано переплыть Бархви во время паводка и потому что я видел то, что никогда еще раньше не видел ни один человек. Держась за руки, мы подошли к холмику, где лежал мертвец, и я показал Ей, с чьей помощью я переплыл реку. Она посмотрела на труп при свете звезд — была вторая половина ночи, но еще не светало, — закрыла лицо руками и стала кричать: «Это же Хирнам Сингх!» Я сказал: «Мертвая свинья полезнее, чем живая, моя Любимая». И Она ответила: «Конечно, ведь он спас самую дорогую жизнь для моей любви. Но все равно, ему нельзя оставаться здесь, потому что это навлечет позор на меня». Тело лежало ближе, чем на расстоянии выстрела от Ее двери.

Тогда я сказал, перекатывая тело руками: «Бог рассудил нас, Хирнам Сингх, он не хотел, чтобы твоя кровь была на моей совести. А теперь, — пусть я и совершаю грех, и лишаю тебя *гхата* сожжения, — ты и вороны делайте, что хотите». И

---

[50] notes: 50

Я с грустью должен заметить, что смотритель переправы на Бархви несет ответственность за два очень скверных каламбура. — Р. Киплинг.

тогда я столкнул его в воду, и его понесло течением, а его черная густая борода раскачивалась, как проповедник на кафедре. И больше я не видел Хирнама Сингха.

Мы с Ней расстались перед рассветом, и я пошел той частью джунглей, которая не была затоплена. При свете дня я увидел, что я совершил в темноте, и все мое тело обмякло. Я увидел, что между Патирой и деревьями на том берегу было два коса разъяренной вспененной воды, а посредине торчали быки моста Бархви, похожие на челюсти старика со сломанными зубами. На воде не было никакой жизни — ни птиц, ни лодок, — одни только трупы, несметное множество — волы, и лошади, и люди, — а река была краснее, чем кровь, от глины с подножья холмов. Никогда еще раньше не видел я такого паводка и никогда больше с того года не видел ничего подобного; и, о *сахиб*, никогда еще ни один человек в жизни не совершил того, что совершил я. В этот день я не мог и думать о возвращении. Ни за какие земли вождя сейчас, при свете, не отважился бы я снова на это страшное дело. Я прошел один кос вверх по течению, до дома кузнеца, и сказал ему, что паводком меня смыло из моей хижины, и мне дали поесть. Семь дней жил я у кузнеца, пока не

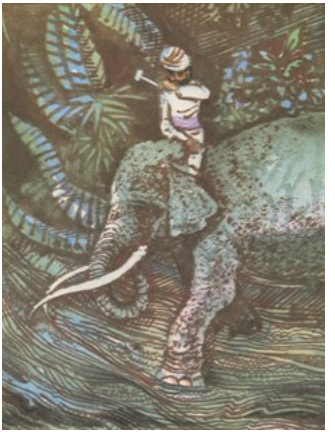
приплыла лодка и я не смог возвратиться домой. Но дома не было — ни стен, ни крыши — ничего, только немного вязкой грязи. По этому ты, *сахиб*, суди сам, как высоко поднялась река.

Так было предначертано, что мне не суждено было умереть ни у себя дома, ни посередине Бархви, ни под обломками моста через Бархви, потому что бог послал мне Хирнама Сингха, уже два дня как мертвого, хотя я и не знал, как и от чего умер этот человек, чтобы служить мне поплавком и поддержкой. Все эти двадцать лет Хирнам Сингх в аду, и для него мысль об этой ночи — самая ужасная из всех пыток.

Послушай, *сахиб*, голос реки изменился. Она собирается уснуть до зари, а до зари остается только час. С рассветом она спадет. Откуда я знаю? Да разве, если я пробыл здесь тридцать лет, я не знаю голос реки, как отец знает голос сына? С каждой минутой голос у нее все менее и менее сердитый. Я поклянусь, что через час, от силы через два, уже не будет никакой опасности. А за утро я не могу отвечать. Поторопись, *сахиб*! Я позову Рама Першада, и на этот раз он не повернет назад. Багаж хорошо обвязан брезентом? Эй, *махаут*, ты, тупица, слона для *сахиба*! И скажи им там, на том берегу, что днем переправы не будет. Деньги?

Нет, *сахиб*. Я не из таких. Нет, нет, не возьму даже на леденцы ребятишкам. Посмотри сам, дом мой пуст, а я уж старик.

Иди, Рам Першад! Ну! Удачи тебе, *сахиб*.



КАК ГОЛОСОВАНИЕМ ПРИЗНАЛИ ЗЕМЛЮ ПЛОСКОЙ[51]

Перевод В. Хинкиса

До того мгновения мы ехали вполне благополучно. В автомобиле вместе со мною сидели мой друг Вудхаус, его дальний родственник молодой Оллиэтт и член парламента Поллент. Вудхаус по роду своей деятельности был человеком примечательным, он занимался врачеванием и исцелением захиревших газет. Безошибочным нюхом он угадывал на веку газеты точный срок, когда иссякает инерция, некогда обретенная ею благодаря умелому управительству, и она застывает на мертвой точке, где ее ждет либо медленный и разорительный крах, либо возрождение к новой жизни, которую могут ей дать многократные инъекции золота — а также вмешательство гения. В журналистике Вудхаус отличался невежеством на грани мудрости; но уж если он снисходил до того, чтобы заняться иссохшим скелетом, кости неизменно обрастали

---

[51] notes: 51
Рассказ написан в 1913 г., вошел в сборник «Различные особи».

плотью. Всего неделю назад он пополнил свою коллекцию, состоявшую из процветающей лондонской ежедневной газеты, провинциальных, тоже ежедневных, ведомостей и захудалого коммерческого еженедельника, прибрав к рукам полудохлую и полужухлую вечернюю газетенку. Мало того, не прошло еще и часа, как он всучил мне толстый пакет акций этой самой газетенки, а теперь посвящал в тонкости издательского искусства Оллиэтта, молодого человека с волосами цвета кокосового волокна и лицом, на которое суровые жизненные испытания наложили столь же суровый отпечаток, хотя он всего три года назад окончил Оксфордский университет, а теперь, как я понял, стал соучастником в этом новом рискованном предприятии. Поллент, рослый, морщинистый парламентарий, чей голос напоминал даже не крик павлина, а скорей курлыканье журавля, акций не принял, зато щедро одарил всех советами.

— Вам, конечно, покажется, что это просто-напросто живодерня, — говорил между тем Вудхаус. — Да, я знаю, меня и впрямь прозвали Живодером, но не минет и года, как дело окупится. Так бывает со всеми моими газетами. Я признаю только один девиз: «Ратуй за свою удачу и ратуй

за своих людей». Все будет хорошо.

Тут полисмен остановил наш автомобиль за превышение скорости и потребовал, чтобы мы назвали свои фамилии и адреса. Мы стали возражать, что впереди на добрых полмили дорога совершенно прямая и не пересекает даже ни единого проселка.

— Только это всех нас и поддерживает, — сказал полисмен противным голосом.

— Самое обычное вымогательство, — шепнул Вудхаус, а потом спросил громко: — Как называется это место?

— Хакли, — ответил полисмен. — Х-а-к-л-и.

И записал в блокнот нечто такое, от чего молодой Оллиэтт бурно возмутился.

Грузный рыжеволосый человек, который с самого начала разглядывал нас, восседая на сером коне по другую сторону живой изгороди, что-то повелительно крикнул, но слов мы не расслышали. Полисмен взялся рукой за бортик правой дверцы (Вудхаус возит запасное колесо позади кузова), захлопнул ее и при этом надавил кнопку электрического сигнала. Серый конь тотчас пустился вскачь, и мы слышали, как всадник ругался на всю округу.

— Черт бы вас побрал, вы же прижали ее своим

дурацким кулачищем! Уберите руку! — завопил Вудхаус.

— Ха! — ответствовал блюститель порядка, созерцая свои пальцы с таким видом, словно их искалечили. — От этого вам тоже непоздоровится.

И прежде чем нас отпустить, он еще что-то записал в блокнот.

В тот день Вудхаус впервые соприкоснулся с правилами движения, и я, не предвидя лично для себя каких-либо неприятных последствий, сказал все же, что дело приняло очень серьезный оборот. В этом своем мнении я утвердился еще более, когда в надлежащее время сам получил повестку, из которой узнал, что мне предстоит отвечать перед судом по целому ряду обвинений — от употребления нецензурных слов до создания аварийной ситуации для транспорта.

Правосудие вершилось в захолустном городишке, где была рыночная площадь, окруженная желтоватыми домиками, невысокая башня с курантами, воздвигнутая по случаю юбилея королевы Виктории, и большая хлебная биржа. Вудхаус отвез нас туда в своем автомобиле. Поллент, хоть и не получил повестки, поехал тоже, дабы оказать нам моральную поддержку. Когда

мы дожидались у дверей, подъехал тот самый толстяк на сером коне и затеял громкий разговор со своими коллегами из суда. Одному из них он сказал — я не поленился это записать — такие слова: «От самых моих ворот она пролегает прямо, как по линейке, на три четверти мили. Тут уж никто не устоит, голову даю на отсечение. За прошлый месяц мы слупили с них семьдесят фунтов. Ни один автомобилист не в силах устоять перед соблазном. Советую вам, Майкл, сделать у себя то же самое. Они попросту не в силах устоять».

— Фюить! — присвистнул Вудхаус. — Неприятностей нам не миновать. Вы лучше помалкивайте — и вы, Оллиэтт, тоже! Я уплачу штраф, и мы покончим с этим как можно скорей. А где Поллент?

— Где-то в кулуарах суда, — ответил Оллиэтт. — Я сейчас только видел, как он туда проскользнул.

Меж тем толстяк воссел на председательское место, и я узнал от какого-то зеваки, что это сэр Томас Ингелл, баронет, член парламента, владелец Ингелл-парка в Хакли. Начал он со столь громовой речи, словно обличал мятежи во всех империях мира. Свидетельские показания давались наскоро — в перерывах между фразами этой речи, если только публика, переполнившая

тесный судебный зал, не заглушала свидетелей рукоплесканиями. Все очень гордились своим сэром Томасом и порой отрывали от него глаза, поглядывая на нас и удивляясь, почему мы не аплодируем вместе с прочими.

Изредка осмеливаясь прервать председателя, остальные члены суда потешались над нами ровно семнадцать минут. Сэр Томас объяснил, что ему осточертело видеть бесконечный поток невеж вроде нас, каковые принесли бы более пользы, если бы стали колоть щебень для мощения дороги, вместо того чтобы пугать лошадей, которые стоят дороже, чем они сами вкупе со своими предками. К этому времени уже было доказано, что шофер Вудхауса преднамеренно дал гудок, дабы досадить сэру Томасу, «случайно ехавшему мимо». Последовали еще высказывания — весьма немудрящие, — но даже не уровень, на каком вершилось правосудие, и не смех публики, а отвратительно грубый тон возмутил нас до глубины души. Когда с нами покончили — наложив штраф в двадцать три фунта двенадцать шиллингов и шесть пенсов, — мы остались дожидаться Поллента и присутствовали при слушании следующего дела — кого-то обвиняли в том, что он ехал, не имея водительских прав.

Оллиэтт уже записал для своей вечерней газетки все подробности суда над нами, но мы не хотели давать повод для упреков в предвзятости.

— Ничего, — утешал нас репортер местной газеты. — Мы никогда не сообщаем о сэре Томасе in extenso.[52] Даем лишь сведения о штрафах и взысканиях.

— Что ж, благодарю вас, — сказал Оллиэтт, и я слышал, как он расспрашивал о каждом из членов суда. Местный репортер оказался очень словоохотлив.

Очередная жертва, крупный мужчина с соломенно-желтыми волосами, был одет весьма странно, и когда сэр Томас, на сей раз с подчеркнутым благодушием, обратил на него внимание публики, он заявил, что позабыл права дома. Сэр Томас осведомился, не угодно ли ему, чтобы наряд полиции отправился к нему по месту жительства в Иерусалим и отыскал там права, суд покатился со смеху. Фамилию ответчика мэр Томас тоже признать не пожелал и упорно именовал его «мистер Маскарадный», неизменно вызывая громкий хохот у своих приспешников. Видимо, это было общепринятое здесь аутодафе.

---

[52] notes: 52
Полностью (лат.).

— Надо полагать, меня он не вызвал в суд, потому что я член парламента. Пожалуй, придется мне сделать запрос, — сказал Поллент, вернувшись перед вынесением приговора.

— Пожалуй, придется и *мне* предать это дело гласности, — сказал Вудхаус. — Нельзя же допустить, чтобы такое безобразие продолжалось и впредь.

Лицо у него было застывшее и очень бледное. Лицо Поллента, напротив, потемнело, а у меня, помнится, все нутро выворачивало от ярости. Оллиэтт молчал, как немой.

— Ну ладно, пойдемте завтракать, — сказал наконец Вудхаус. — Тогда мы успеем уехать, прежде чем это сборище начнет расходиться.

Мы избавили Оллиэтта от навязчивого репортера, пересекли рыночную площадь и вошли в гостиницу «Рыжий лев», где человек, которого сэр Томас именовал «мистер Маскарадный», только что принялся за пиво, бифштекс и маринованные огурцы.

— Ага! — приветствовал он нас внушительным голосом. — Товарищи по несчастью. Не угодно ли вам, джентльмены, составить мне компанию?

— С удовольствием, — отвечал Вудхаус — Что думаете делать?

— Сам еще не решил. Все могло бы обернуться к лучшему, только вот… публика не доросла до таких штук. Это выше ее понимания. Иначе тот рыжий мужлан в судейском кресле приносил бы полсотни дохода в неделю.

— Где? — спросил Вудхаус.

Наш собеседник воззрился на него с непритворным удивлением.

— Повсюду в Моих краях, — ответил он. — Но, простите, может быть, вы живете здесь?

— Боже правый! — вскричал вдруг молодой Оллиэтт. — Значит, вы и есть сам Маскерьер? Я так и знал!

— Да, я Бэт Маскерьер. — Он произнес это так веско, словно предъявлял международный ультиматум. — Да, это я самый. Но у вас, джентльмены, есть преимущество.

Поначалу, когда мы знакомились, я был в недоумении. Но потом припомнил яркие многоцветные афиши мюзик-холлов — афиши чудовищной величины, — которые много лет назад были незаметной подоплекой моих поездок в Лондон. Афиши, возвещавшие о выступлениях мужчин и женщин, певцов, жонглеров, подражателей и авантюристов, тайных или явных, которых рассовывал повсеместно в Лондоне и в провинции

Бэт Маскерьер — помню его подпись с длинным причудливым росчерком после конечного «р».

— Я вас сразу узнал, — сказал Поллент, опытный парламентарий, и я немедля подхватил эту ложь. Вудхаус промямлил какие-то извинения. Бэт Маскерьер проявил к нам не более расположения или враждебности, чем стена какого-нибудь из его шикарных заведений.

— Я всегда внушаю Своим людям, что размеры букв имеют предел, — сказал он. — Попробуйте только переступить этот предел, и глаз их не воспримет. Реклама — самая точная из всех наук.

— Кстати, я знаю одного человека, который намерен ею воспользоваться, если только мне не суждено помереть в ближайшие сутки, — сказал Вудхаус и объяснил, каким именно образом все произойдет.

Маскерьер долго и пристально рассматривал его голубыми со стальным отливом глазами.

— Вы это серьезно говорите? — спросил он с расстановкой; голос у него был такой же завораживающий, как и взгляд.

— *Я* говорю серьезно, — сказал Оллиэтт. — Одной этой истории с гудком достаточно, чтоб он вылетел из судейской коллегии не позднее чем через три месяца.

Маскерьер разглядывал его еще дольше, чем Вудхауса.

— Он посмел сказать *мне*, — произнес он вдруг, — что мое место жительства в Иерусалиме. Вы слышали?

— Но главное — в каком тоне, в каком тоне! — вскричал Оллиэтт.

— Вы и это заметили, да? — сказал Маскерьер. — Вот что значит артистический темперамент. С ним многого можно достичь. А я — Бэт Маскерьер, — продолжал он. Потом он положил на стол сжатые кулаки, подпер ими подбородок и мрачно уставился прямо перед собой… — Я создал «Силуэты», я создал «Трилистник» и «Джокунду». Я создал Дол Бензаген. — Тут Оллиэтт выпрямился на стуле, потому что он, подобно всей молодежи тех лет, обожал мисс Вайдол Бензаген из «Трилистника» неимоверно и беззаветно. — «А что, позвольте полюбопытствовать, на Вас надето, домашний халат или балахон?» Слышали вы *это*? «И еще, позвольте полюбопытствовать, вам недосуг было расчесать патлы?» Слышали вы *это*? А теперь послушайте меня!

Голос его гремел на всю кофейню, потом вдруг понизился до шепота, столь же зловещего, как шепот хирурга перед операцией. Он говорил

несколько минут без умолку.

Поллент пробормотал:

— Правильно! Правильно!

Я заметил, как сверкают глаза Оллиэтта — именно к Оллиэтту Маскерьер главным образом обращался, — а Вудхаус подался вперед и скрестил руки на груди.

— Вы *заодно* со мной? — продолжал Маскерьер, объединяя нас всех единым взмахом руки. — Когда я берусь за дело, джентльмены, то довожу его до конца. Чего Бэт не может осилить, то осилит его самого! Но я еще не нанес удар. Это вам не одноактная комедия или интермедия. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вы заодно со мной, джентльмены? Превосходно! Что ж, давайте объединим наши активы. Одна лондонская утренняя газета и одна ежедневная провинциальная, кажется, вы так сказали? К тому же, один коммерческий еженедельник и один член парламента.

— Боюсь, что от всего этого маловато будет пользы, — сказал Поллент с усмешкой.

— Зато преимущества будут. Преимущества будут, — возразил Маскерьер. — И, кроме того, у нас имеются мои скромные владения — Лондон, Блэкберн, Ливерпуль, Лидс — насчет Манчестера я скажу особо — и сам Я! Бэт Маскерьер. — Имя

и фамилию он тихо и благоговейно вымолвил в пивную кружку. — Джентльмены, когда мы сообща покончим с сэром Томасом Ингеллом, баронетом, членом парламента и прочая и прочая, Содом и Гоморра покажутся дивным уголком старой доброй Англии в сравнении с тем, что будет. Сейчас мне надо срочно возвращаться в Лондон, но надеюсь, джентльмены, вы окажете мне честь отобедать со мной в ресторане «Отбивная котлета» — в янтарном кабинете, и мы с вами хорошенько продумаем сценарий. — Он положил молодому Оллиэтту руку на плечо и присовокупил: — Ваша смекалка мне очень пригодится.

С этим он отбыл в роскошном лимузине, устланном мехами и сверкающем никелем, после чего в зале как будто стало гораздо просторней.

Несколько минут спустя мы велели подать и наш автомобиль. Когда Вудхаус, Оллиэтт и я садились в него, по другую сторону площади из Дома Правосудия вышел сэр Томас Ингелл, баронет, член парламента, и взгромоздился на своего коня. Позднее я часто думал о том, что, если бы он уехал молча, ему все же удалось бы спастись, но он, усевшись в седло, заметил нас и счел необходимым крикнуть:

— Вы все еще здесь? Мой вам совет, провали-

вайте, да впредь будьте поосмотрительней.

В тот же миг Поллент, который задержался, покупая почтовые открытки, вышел из гостиницы, перехватил взгляд сэра Томаса и неторопливо, с ленцой, уселся в автомобиль. На секунду мне показалось, что по лицу баронета, обрамленному седыми бакенбардами, скользнула тревожная тень.

— Надеюсь, — сказал Вудхаус, когда мы отъехали на несколько миль, — надеюсь, он вдовец.

— Да, — отозвался Поллент. — На счастье его бедной покойной супруги, и я надеюсь, право, очень надеюсь, что это так. Кажется, в суде он меня не видел. Кстати, вот история прихода Хакли, которую написал здешний священник, а вот ваша доля иллюстрированных открыток. Итак, сегодня все мы обедаем с мистером Маскерьером?

— Да! — ответили мы в один голос.

* * *

Если Вудхаус ничего не смыслил в журналистике, то молодой Оллиэтт, который прошел суровую школу, смыслил в этом деле изрядно. Наша полупенсовая вечерка, назовем ее, к примеру, «Плюшка», дабы как-то отличить ее от процветающей сестренки, утренней «Ватрушки»,

была не только больна, но и продажна. Мы убедились в этом, когда некий незнакомец принес нам проспект нового нефтяного месторождения и потребовал поместить на первой полосе статью о его доходности. Оллиэтт добрых три минуты толковал с ним, сыпля отборными студенческими словечками. Обычно он говорил и писал на профессиональном языке — выразительной смеси американизмов и хлестких острот. Но хотя жаргон разнообразен, правила игры всегда одинаковы, и мы с Оллиэттом, а под конец и некоторые другие, получили от нее огромное удовольствие. Прошла не одна неделя, за деревьями еще не было видно леса, но когда сотрудники поняли, что владельцы газеты поддержат их, будут ли они писать правду или неправду, особенно неправду (в чем и заключается единственный секрет журналистики), и судьба их не зависит от случайного настроения случайного же хозяина, они начали творить чудеса.

Но мы не обошли вниманием Хакли. Как выразился Оллиэтт, первой нашей заботою было создать вокруг этого места «притягательную атмосферу». Он стал ездить туда на мотоцикле с коляской по субботам и воскресеньям; поэтому я решил не бывать в тех краях, ограничиваясь

наблюдениями со стороны. И все же именно мне довелось сделать первое кровопускание. Двое обитателей Хакли обратились в редакцию с письмами, оспаривая один-единственный абзац в «Плюшке», где всерьез сообщалось, что в Хакли видели удода, которого, «разумеется, немедленно подстрелили местные охотники». Оба письма отличались запальчивостью, и мы их напечатали. Собственные наши домыслы о том, как упомянутый удод получил свой хохолок непосредственно от царя Соломона, должен с прискорбием отметить, настолько противоречили истине, что сам приходский священник — отнюдь не охотник, как указал он, а поборник истины — написал нам, дабы исправить ошибку. Мы напечатали письмо на видном месте и выразили автору благодарность.

— Этот священник может нам пригодиться, — сказал Оллиэтт. — Он мыслит весьма беспристрастно. Я его расшевелю.

Незамедлительно он измыслил мистера М. Л. Сигдена, человека, далекого от изысканных вкусов, каковой на страницах «Плюшки» осведомился, возможно ли, что Хакли-на-Удоде попросту Хамли, где он провел детство, и не появилось ли случаем это искаженное название

в результате тяжбы между каким-нибудь крупным землевладельцем и железной дорогой в ошибочно понятых интересах мнимой изысканности. «Ибо я знавал и любил это место наряду с девицами в моей юности — eheu ab angulo![53] — под названием «Хамли», — писал М. Л. Сигден из Оксфорда.

Невзирая на издевки других газет, «Плюшка» отнеслась к этому серьезно и сочувственно. Нашлись люди, которые отрицали возможность, что Хакли подменили при рождении. И лишь приходский священник — отнюдь не философ, как указал он, а поборник истины — выразил некоторые сомнения, каковые и предал гласности, возражая мистеру М. Л. Сигдену, который на страницах «Плюшки» высказал догадку, что первое поселение могло возникнуть еще во времена англосаксов и носило тогда название «Хрюкли», а нормандцы именовали его «Глиню», потому что там много глины. У священника были свои соображения на сей счет (он утверждал, что там преобладает галечник), а у М. Л. Сигдена был изрядный запас воспоминаний. И странное дело — такое редко случается, когда что-либо

---

[53] notes: 53
Увы, из-за угла! (лат.)

произвольно печатают из номера в номер, — читатели наши получили немало удовольствия от этой переписки, а другие газеты не скупились на цитаты.

— Секрет власти, — сказал Оллиэтт, — заключается отнюдь не в размерах дубинки. Важно, чтоб дубинку эту можно было поднять. (Под этим подразумевается «притягательная» цитата в шесть или семь строк.) — Видели вы на прошлой неделе в «Зрителе» целый подвал о «Сельском упорстве»? Это сплошь Хакли. На будущей неделе я напишу «Впечатления» о Хакли.

Мы опубликовали свои «Впечатления» в пятницу вечером, рассказав о приятных прогулках по окрестностям Лондона на мотоциклете-соколяскою, к которым в виде иллюстраций (нам так и не удалось заставить машину работать как следует) были приложены расплывчатые карты. Оллиэтт обыграл этот материал с пылом и нежностью, которые я неизменно относил за счет мотоциклетной коляски. Его описание Эппингского леса, например, воплощало в себе самый дух юной любви. Но от его «Впечатлений» о Хакли стошнило бы и мыловара. Они являли собою химическое соединение мерзкой развязности, язвительнейших намеков, слюнявой добродетели

и опостылевшего «попечения о благе общества», причем получился такой пахучий перегной, что я чуть не прыгал от восторга.

— Да, — сказал он, выслушав похвалы. — Это самая животрепещущая, притягательная и напористая штуковина, какую я сделал до сего дня. Non nobis gloria![54] Я повидался с сэром Томасом Ингеллом в собственном его парке. Он снова удостоил меня беседы. Он и вдохновил меня написать главное.

— Что же это? «Тягучая медлительность местного выговора» или «безразличие к аденоидам тамошних ребятишек»? — осведомился я.

— Ничуть не бывало! Это написано лишь для того, чтобы приплести медицинского эксперта из страховой кассы. Заключительные строки — вот чем мы… то бишь я горжусь всего более.

Здесь повествовалось о «мглистой полутьме, простирающей свои туманные длани над рощицей»; о «весело резвящихся кроликах»; о «суягных комолых шотландских овцах»; и о «притягательном, цыганского типа облике их смуглоликого высокоученого владельца — человека, известного на Королевских сельскохозяйственных

[54] notes: 54
Не нам принадлежит слава! (лат.)

выставках не менее, чем наш почивший Король-Император».

— «Смуглоликий» — это превосходно, равно как и «суягные», — сказал я, — но доктор из страховой кассы будет недоволен упоминанием про аденоиды.

— А сэр Томас будет недоволен вдвойне описанием своего лица, — сказал Оллиэтт. — Но если б вы только знали, что я вычеркнул!

Он оказался прав. Доктор потратил субботу и воскресенье (в этом главное преимущество статей, публикуемых в пятницу), стараясь сразить нас профессиональными возражениями, которые нисколько не интересовали наших подписчиков. Так мы ему и ответили, после чего он, безо всякого промедления, ринулся с этим ответом прямо в редакцию «Ланцета», где живо интересуются гландами, и решительно позабыл о нашем существовании. Зато сэр Томас Ингелл оказался не таков, он обладал большей твердостью. Он, надо полагать, тоже не скучал всю субботу и воскресенье. Письмо, которое мы получили от него в понедельник, свидетельствовало, что он одинокий отшельник, ведущий праведную жизнь, и ни одна женщина, сколь мало бы ни интересовали ее мужчины, не выбросила бы это

письмо в корзинку для бумаг. Он решительно возражал против наших отзывов о его собственном стаде, о его собственноручных трудах в его собственных владениях, которые он именовал Образцовым Хозяйством, и против нашего дьявольского бесстыдства; но особенно яростно он возражал против нашей характеристики его внешности. Мы ответили ему по почте, вежливо осведомляясь, предназначено ли его письмо для опубликования. Он, вспомнив, как я полагаю, герцога Веллингтона, ответил, в свою очередь: «Публикуйте и катитесь ко всем чертям»[55].

— Эге! Так легко он не отделается, — сказал Оллиэтт и сел сочинять заголовок к письму.

— Минутку, — сказал я. — Не станем упускать свои преимущества в игре. Ведь сегодня вечером мы обедаем с Бэтом. (Кажется, я позабыл упомянуть, что с тех пор, как Бэт Маскерьер пригласил нас отобедать в янтарном кабинете «Отбивной котлеты», прошла целая неделя.) — Обождите, пускай сперва все наши ознакомятся с этим письмом.

— Пожалуй, вы правы, — сказал Оллиэтт. — Оно

---

[55] notes: 55

…«Публикуйте и катитесь ко всем чертям»… — Слова приписываются герцогу Веллингтону, полководцу и государственному деятелю, одному из победителей Наполеона. Повод не известен.

может пропасть зря.

Итак, за обедом письмо сэра Томаса было пущено по рукам. Похоже, что Бэта занимали совсем иные раздумья, зато Поллент проявил живейший интерес.

— Мне пришла в голову прекрасная мысль, — тотчас сказал он. — Вы не могли бы поместить в завтрашнем номере «Плюшки» какой-нибудь материал про ящур, который свирепствует в стаде этого деятеля?

— Да хоть про чуму, если угодно, — отвечал Оллиэтт. — Там всего-то навсего жалкие пять голов шортгорнской породы. Одну скотину я видел своими глазами, она лежала у него в парке. Она и послужит нам первоисточником.

— Так и сделайте, а письмо до времени придержите. Пожалуй, *я* самолично этим займусь.

— Но почему? — спросил я.

— Да потому, что в Палате общин скоро поднимется шум из-за ящура, и он обратился ко мне с письмом после того, как наложил на вас штраф. Потребовалось десять дней, чтобы это обдумать. Вот, пожалуйста, — сказал Поллент. — Сами видите — на бланке члена Палаты общин.

Вот что мы прочли:

«Уважаемый Поллент!

Невзирая на то, что в прошлом наши пути были весьма различны, я уверен, Вы согласитесь с тем, что на трибуне парламента все его члены обладают полнейшим равенством прав. Посему я беру на себя смелость обратиться к Вам в связи с делом, которое, осмелюсь полагать, заслуживает совершенно иного истолкования, нежели то, каковому его подвергли, по всей видимости, Ваши друзья. Не соблаговолите ли довести до их сведения, что все обстояло именно так и я действовал отнюдь не под влиянием предубеждения или враждебности, когда исполнял свой долг судьи, хотя долг этот, как вы, будучи моим собратом в сфере правосудия, можете себе представить, часто бывает неприятен

вашему покорнейшему слуге

Т. Ингеллу.

P. S. Я уже принял меры, дабы надзор за соблюдением правил дорожного движения в моей округе, где ваши друзья допустили грубое нарушение означенных правил, осуществлялся значительно мягче против прежнего».

— И что же вы ответили? — полюбопытствовал Оллиэтт после того, как все мы обменялись мнениями.

— Я написал, что в данном случае решительно

ничем не могу быть полезен. Да я и вправду не мог — тогда. Во всяком случае, не забудьте, пожалуйста, поместить столбец про ящур. Мне нужен материал, который я мог бы использовать.

— На мой взгляд, «Плюшка» уже использовала весь наличествующий материал, — заметил я. — А «Ватрушка» когда вступит в игру?

— «Ватрушка», — объяснил Вудхаус, и впоследствии я вспомнил, что говорил он, словно член кабинета министров перед утверждением государственного бюджета, — сохраняет за собою полное право свободно освещать события по мере того, как они будут развиваться.

— Эге-ге! — Бэт Маскерьер отогнал прочь все мысли, в которые был погружен. — «События по мере того, как они будут развиваться». Да ведь и я не собираюсь пребывать в бездействии. Только какой прок ловить рыбу без приманки. Вы, — обратился он к Оллиэтту, — подготовьте хорошую приманку… Я всегда говорил Своим людям… Но что за дьявол?

В другом кабинете, через площадку, грянула песня.

— Там какие-то дамы из «Трилистника», — начал объяснять официант.

— Ну, это я и сам знаю. А вот что такое они

поют?

Он встал и вышел за дверь, где веселое общество приветствовало его появление бурными аплодисментами. Затем воцарилась тишина, какая наступает в классе при входе учителя. Но вскоре голосок, который нам очень понравился, завел снова:

— «Как пойдем мы в мае собирать орешки, собирать орешки, собирать орешки».

— Это всего-навсего Дол и с нею там ядреные орешки, — объяснил он, когда вернулся. — Она обещала прийти сюда к десерту.

Он сел, напевая себе под нос этот старинный мотивчик, а потом стал занимать нас росказнями про артистический темперамент и не дал никому слова вымолвить до тех самых пор, покуда в наш кабинет не вошла мисс Вайдол Бензаген.

Мы послушались Поллента, по крайней мере отчасти, и тиснули в «Плюшке» коротенькую статейку про коров, которые лежат на земле и пускают изо рта слюни, причем статейку эту, в зависимости от желания, можно было равно счесть злобной клеветой или же, если б за дело взялся знающий юрист, достоверной картинкой, писанной с натуры.

— К тому же, — сказал Оллиэтт, — мы наме-

каем на «суягных комолых шотландских овец». Мне посоветовали никак не затрагивать целомудренных телок породы шортгорн. А Поллент приглашает нас побывать сегодня вечером в Палате общин. Он велел оставить нам места на галерее для посетителей. Право же, Поллент начинает мне нравиться.

— А вы, кажется, начинаете нравиться Маскерьеру, — заметил я.

— Да, но сам я его боюсь, — возразил Оллиэтт с полнейшей серьезностью. — Право слово. Он Абсолютно Аморальная Личность. До сих пор я таких не встречал.

Все вместе мы отправились в Палату общин. Обсуждался ирландский вопрос, и едва я заслышал крики и завидел довольно своеобразные физиономии, я сразу сообразил, что не миновать столкновений, но предсказать, сколько именно их будет, я, право же, не был способен.

— Ничего особенного, — успокоил нас Оллиэтт, которого слух в таких случаях не обманывал. — Просто они закрыли порты для экспорта — ну да, конечно, — для экспорта скота из Ирландии! В Баллихеллионе свирепствует ящур. Теперь я понимаю, что замыслил Поллент.

В тот миг свирепствовала вся Палата общин, и,

как я понял, отнюдь не шутя. Один из министров с листком, где было напечатано что-то на пишущей машинке, едва отражал непрерывный град оскорблений. До известной степени он напомнил мне трепещущего охотника, который отбивает лису у разъяренных гончих псов.

— Начинаются прения. Они вносят запросы, — сказал Оллиэтт. — Глядите! Поллент встал с места.

Сомнений быть не могло. Звуки его голоса, который, по утверждению его врагов, давал ему единственное преимущество в парламенте, заставили утихнуть неистовый шум, подобно тому как иной раз зубная боль заставляет утихнуть обыкновенный звон в ухе. Он заявил:

— Исходя из сказанного, позволительно ли мне будет спросить, приняты ли за последнее время какие-либо меры для ликвидации возможной вспышки упомянутой болезни по *эту* сторону пролива?

Он поднял руку, а в руке у него был дневной номер «Плюшки». В редакции мы сочли за благо не включать эту статейку в следующий выпуск. Он хотел продолжать, но некто в сером сюртуке оглушительно взревел и вскочил на скамью напротив, размахивая другим номером той же

«Плюшки». Это был сэр Томас Ингелл.

— Будучи владельцем стада, на каковое здесь столь презренно и трусливо намекают…

Тут голос его захлестнула волна криков: «К порядку» — причем преобладали голоса ирландцев.

— Что случилось? — спросил я у Оллиэтта. — Ведь он в своем праве, разве не так?

— Да, конечно, но ему следовало выразить свою ярость в форме запроса.

— Исходя из сказанного, мистер председатель, сэррр! — проревел сэр Томас, воспользовавшись коротким затишьем. — Известно ли вам, что… что все это попросту заговор… трусливый и презренный заговор, который замыслили нарочно для того, дабы выставить Хакли на посмешище — выставить *нас* на посмешище? Тайный заговор, дабы выставить на посмешище *меня* лично, да-с, мистер председатель, сэр!

Лицо его казалось совсем черным в обрамлении седых бакенбардов, и он бил руками по воздуху, словно барахтался в воде. На миг его неистовство озадачило и укротило членов Палаты, и председатель воспользовался этим, чтобы отвлечь внимание от Ирландии, пустив всю свору по другому следу. Он обратился к сэру Томасу Ингеллу

со сдержанным порицанием, причем, я полагаю, предназначал свои слова для всех членов Палаты, которые, слушая его, несколько поостыли. Затем снова заговорил Поллент, возмущенный и обиженный.

— Я могу лишь выразить глубочайшее изумление по поводу того, что в ответ на мой простой вопрос предыдущий оратор, почтенный член нашей Палаты, счел возможным прибегнуть к личным нападкам. И если я как-либо невольно задел…

Тут снова вмешался председатель, который явно умел улаживать такие дела.

Он, в свою очередь, выразил изумление, и сэр Томас вынужден был сесть на место среди осуждающего молчания, за которым, казалось, таился холод минувших столетий. Государственная деятельность возобновилась.

— Замечательно, — сказал я, чувствуя, как меня попеременно бросает то в жар, то в холод.

— Вот теперь-то мы опубликуем его письмо, — сказал Оллиэтт.

Так мы и сделали — непосредственно вслед за подробнейшим отчетом о его яростном выступлении. От комментариев мы решили воздержаться. Обладая редкостным чутьем, которое позволяет

прозревать подоплеку событий и свойственно англосаксам, все прочие газеты, а также приблизительно две трети наших корреспондентов пожелали знать, каким именно образом можно выставить на посмешище человека в большей мере, нежели он сделал это сам. Но мы позволили себе лишь слегка исказить его фамилию, напечатав «Инджл», а в остальном не сочли возможным бить лежачего.

— Да в этом и нет никакой надобности, — сказал Оллиэтт. — И без того вся пресса подняла шумиху.

Даже Вудхаус слегка подивился той легкости, с какой все произошло, и сказал нам об этом.

— Вздор! — воскликнул Оллиэтт. — Мы еще не взялись за дело всерьез. Хакли покуда еще не сенсация.

— Как прикажете вас понимать? — осведомился Вудхаус, который теперь испытывал глубочайшее уважение к своему молодому, но уже отнюдь не дальнему родственнику.

— Понимать? Господь с вами, достопочтенный наставник, — понимать надо так, что в результате моих стараний едва жители Хакли начнут ворочаться с боку на бок во сне, сотрудники агентств «Рейтер» и «Пресс» повыскакивают из

постелей и бегом кинутся на телеграф.

Далее он принялся с жаром говорить о каких-то реставрационных работах, необходимых для церкви в Хакли, к которой, по его словам, — а он, видимо, проводил там каждую субботу и воскресенье, — предшественник нынешнего приходского священника относился с преступной небрежностью и уничтожил «окошко для прокаженных» или «наблюдательное отверстие» (не знаю уж, право, что это могло бы значить), дабы устроить в ризнице уборную. Мне это не показалось столь сенсационным материалом, чтобы сотрудники агентств «Рейтер» или «Пресс» охотно пожертвовали ради него своим сном, и я ушел, предоставив Оллиэтту разглагольствовать перед Вудхаусом о купели четырнадцатого века, которую, по его словам, он отыскал в закутке, где церковный сторож держит свои метлы и лопаты.

Сам я предпочел тактику более мирного проникновения во вражеский стан. Я откопал в захламленной библиотеке при редакции «Плюшки» случайный экземпляр «Календаря» Хона[56] и

[56] notes: 56

…случайный экземпляр Календаря Хона… — Вильям Хон, английский литератор начала XIX в., сатирик, его «Календарь» («Книга на каждый день»), высоко ценимая Вальтером Скоттом, содержала самый разнообразный материал.

вычитал там, что существует некий крестьянский танец, основанный, подобно всем крестьянским танцам, на таинствах, которые некогда свершали друиды по случаю летнего солнцестояния (каковое наступает непреложно) и также поутру в Иванов день, а это свежо и живительно для взора лондонского жителя. Моей заслуги тут нет никакой: книга Хона — сущий клад, откуда всякий может черпать сокровища, — если не считать того, что я переосмыслил упомянутый танец и дал ему название «Дрыгли», стяжавшее бессмертную славу. Танец этот, написал я, и поныне можно видеть «во всей его потрясающей первозданной чистоте в Хакли, единственном месте, где еще живы важнейшие обряды средневековья»; и сам я так полюбил собственную выдумку, что много дней не желал с нею расстаться, всячески ее украшая и совершенствуя.

— Пожалуй, пора пускать это в дело, — сказал наконец Оллиэтт. — Сейчас нам самое время вновь предъявить свои права. Всякие чужаки уже начинают пользоваться нашим молчанием. Читали вы статейку в «Бельведере» про Образцовое Хозяйство сэра Томаса? Наверняка он возил туда кого-то из сотрудников редакции.

— Ни с чем не сравнимы укоризны от любяще-

го, — сказал я. — Одно упоминание о трактире, где продают только безалкогольные напитки, само по себе…

— Мне больше понравилось то место, где описана прачечная, крытая белой черепицей, и Падшие Девственницы, которые стирают сэру Томасу ночные рубашки. Нашему брату, знаете ли, до этого далеко. Нет у нас настоящего нюха, чтобы разводить слюнявую болтовню на сексуальные темы.

— Я всегда говорил то же самое, — возразил я. — Пускай себе усердствуют. Теперь эти чужаки работают на нас. А кроме того, мне хочется еще немного усовершенствовать мое описание танца «Дрыгли».

— Не надо. Вы его только испортите. Давайте протолкнем ваш материал в сегодняшний номер. Ведь прежде всего это литературное произведение. Я вовсе не намерен говорить вам комплименты, но… и прочее и прочее.

Я с полнейшим основанием подозревал молодого Оллиэтта в чем угодно, но хотя и знал наперед, что мне придется заплатить за это дорогой ценой, все же поддался на его лесть, и моя бесценная статья о танце «Дрыгли» была напечатана. В следующую субботу он попросил меня

выпустить «Плюшку» самостоятельно, поскольку ему необходимо отлучиться, и я естественно предположил, что отлучка эта связана с бордовой мотоциклетной коляской. Но я ошибся.

В понедельник утром, за завтраком, я просмотрел «Ватрушку», дабы убедиться, по обыкновению, насколько она хуже моей любимой, хоть и убыточной «Плюшки». Едва я развернул газету, мне бросился в глаза заголовок: «Как голосованием признали Землю плоской». И я прочел… прочел о том, что «Геопланарное общество» — общество, которое твердо придерживается убеждения, что Земля плоская, — в субботу устроило ежегодный банкет и сессию в Хакли, и после убедительных речей, под выражения самого пылкого восторга, жители Хакли численностью в 438 человек единогласно признали, что Земля плоская. Кажется, я ни разу не перевел дух, покуда не проглотил залпом два следующих столбца. Написать такое мог один-единственный человек на свете. Это было само совершенство — звучные, взволнованные, суровые и вместе с тем глубоко человечные строки, сильные, живые, захватывающие — прежде всего, захватывающие, — достаточно напористые, чтобы потрясти целый город, и всякий мог найти там подходящую

цитату. А еще в номере была статья, серьезная и сдержанная, так что я чуть не лопнул от восхищения, но вдруг вспомнил, что меня обошли — бесчестно и непростительно отвергли. Я побежал к Оллиэтту на дом. Он завтракал, и, надо отдать ему справедливость, по лицу его было видно, что он терзается угрызениями совести.

— Я не виноват… — начал он. — Это все Бэт Маскерьер. Клянусь, я непременно позвал бы вас, если б только…

— Неважно, — сказал я. — Это лучшее из всего, что вы когда-либо написали или напишете впредь. Скажите, а есть там хоть доля истины?

— Истины? Боже правый! Да неужто вы думаете, будто я мог такое сочинить?

— И это предназначено исключительно для «Ватрушки»? — воскликнул я.

— Это обошлось Бэту Маскерьеру в две тысячи, — ответил Оллиэтт. — Можете ли вы полагать, что он допустил бы кого-нибудь еще? Но клянусь вам всем святым, я ничего не знал, пока он не позвал меня и не попросил написать репортаж. Он велел развесить по Хакли афиши в три краски: «Ежегодный банкет и сессия геопланариев». Да, он выдумал «геопланариев». Хотел, чтоб в Хакли подумали, будто это такие аэропланы. Конечно,

я знаю, что действительно существует общество, члены которого считают Землю плоской — пускай теперь благодарят за рекламу, — но Бэт своего добился. Уж это точно! Вся затея — его рук дело, верьте слову. Ради этого он закрыл половину своих мюзик-холлов. И подумать только — в субботу. Они — то бишь мы — отправились туда в автобусах, их было три, один — розовый, другой — бледно-желтый, а третий — голубой, как незабудка, — в каждом двадцать человек, а по бокам и сзади надписи: «Признаем Землю плоской». Я ехал с Тедди Рикетсом и Лэйфоуном из «Трилистника», и с обеими сестрами из «Силуэтов», и — обождите минутку — с трио Кросслиф. Вы ведь знаете «Постоянное драматическое трио» из «Джокунды» — Ада Кросслиф, «Кумпол» Кросслиф и малютка Викторина. Они самые. А еще там был Хоук Рэмсден, главный осветитель в «Марджане и Дрекселе», и Билли Тэрпин тоже. Ну конечно, вы его знаете! Гордость северного Лондона. «Я арбитр, который добился, что меня невзлюбили в Блэкхите». Да, это он! А еще был там Макглаз — тот самый одноглазый малый, от которого без ума весь Глазго. Разговор о подчинении себя интересам Искусства! Макглаз задавал серьезные вопросы и принял эту веру только в конце пре-

ний. Была там целая куча девчонок, совсем мне незнакомых, и — да, конечно, — была Дол!.. Сама Дол Бензаген! Мы сидели рядом, когда ехали туда и обратно. В жизни не видал такой прелести. Она просила передать вам привет и заверить, что никогда не забудет про Нелли Фэррен. Говорит, что вы указали ей идеал, к которому надо стремиться. Она? Ну, она, конечно, была секретарем женской секции «геопланариев». Я уже позабыл, кто ехал в других автобусах, — все больше всякие провинциальные звезды — но играли они великолепно. Со времен вашей юности искусство мюзик-холла изменилось до неузнаваемости. Они ничуть не переигрывали. Понимаете, люди, которые верят, что Земля плоская, одеваются совсем не так, как все остальные. Вероятно, вы заметили, что я намекнул на это в своем репортаже. Они предпочитают плоскокройный ионический стиль — неовикторианский, если не считать турнюров, так мне сказала Дол, — но сама Дол выглядела в этом наряде просто божественно! И малютка Викторина тоже. А еще была одна девушка в голубом автобусе — правда, провинциалочка, но этой зимой она переберется в Лондон и всех затмит, — Уинни Динс. Попомните мое слово! Она рассказала в Хакли, сколько ей пришлось выстрадать во

имя Великого Дела, служа гувернанткой в богатом семействе, где все были убеждены, что Земля — шар, и она предпочла отказаться от места, нежели учить столь безнравственным основам географии. Это было на многолюдном собрании перед баптистским молитвенным домом. И она всех повергла в грязь! Мы должны что-нибудь подыскать для Уинни… Но Лэйфоун! Лэйфоун не имел себе равных. Эффект, личное обаяние, убедительность — сплошные сюрпризы! Он прямо из кожи вылез, чтоб добиться убедительности. Черт побери, да он и *меня* убедил своей речью! (Он-то? Он, само собой, был президентом «геопланариев». Разве вы не читали мой репортаж?) Эта теория дьявольски правдоподобна. В конце концов никто по-настоящему не доказал, что Земля шар, верно?

— Оставим Землю в покое. А что же Хакли?

— Ого, в Хакли все были на взводе. Таковы уж эти образцовые хозяйства, нет ничего хуже, чем дать людям понюхать огненного зелья. Там остался один-единственный трактир, где подают спиртное, его сэру Томасу прикрыть не удалось. Бэт этим воспользовался. Велел отвезти туда в двух грузовиках угощение — обед на пятьсот персон и выпивки на десять тысяч. Жители Хак-

ли проголосовали, как миленькие. Уж будьте уверены. Кто не голосует, тот не обедает. Принято единогласно — в точности, как я сказал. По крайней мере, только приходский священник да местный доктор были против. Но они не в счет. Ну да сэр Томас тоже был там. Подошел и глядел на нас из-за ворот своего парка да скалил зубы. Ничего, сегодня он еще не так оскалится. Есть такая анилиновая краска, ее наносят по трафарету, а она на целый фут въедается даже в камень, и уж это навсегда. Так вот, Бэт распорядился на обеих створах парковых ворот и на всех сараях и стенках, куда только можно добраться, написать по трафарету: «Признали Землю плоской!» Господи, ну и пьянка была в Хакли! Пришлось дать им выпить вволю, только бы они простили нам, что мы не аэропланы. Неблагодарное мужичье! Понимаете ли вы, что никакой император не властен был бы над теми талантами, какие излил на них Бэт? Право, одна Дол чего стоит… А к восьми часам на месте не осталось даже клочка бумаги! Вся наша компания упаковалась и отбыла, а в Хакли кричали «ура» в честь того, что Земля плоская.

— Прекрасно, — начал я, — как вам известно, я один из трех совладельцев «Плюшки»…

— Я не забыл про это, — перебил он меня. — Все

время помнил, и не было в моей голове мысли важнее. Я написал для сегодняшнего номера «Плюшки» особый репортаж — в идиллической форме — и, чтобы показать, как я о вас думаю, на обратном пути рассказал про ваш танец «Дрыгли» Дол, а она рассказала Уинни. Уинни возвращалась в нашем автобусе. Мы отъехали немного, вылезли и сплясали его в открытом поле. У нас и вправду получился танец — в конце Лэйфоун придумал еще «арестанец», вроде шествия арестованных бандитов. Бэт послал с нами одного кинооператора на случай, если понадобится что-нибудь заснять. Этот малый — сын священника — очень напористый человек. Он сказал, что кинематограф не интересуют собрания qua[57] собраний — там мало действия. Фильмы сами по себе — вид искусства. Но от «Дрыгли» он пришел в восторг. Сказал, что это совсем как видение апостола Петра в Иоппии. И отснял чуть не миллион футов пленки. А потом я сфотографировал танец — исключительно для «Плюшки». Фотографии уже в редакции, только не забудьте, надо заретушировать левую ногу Уинни в первой фигуре танца. Это слишком захватывающее зрелище…

---

[57] notes: 57
В виде (лат.).

Вот и все! Но говорю вам, Бэта я боюсь. Это сам Дьявол во плоти. Он обделал все это дельце. А сам даже не поехал. Сказал, что только отвлекал бы своих людей.

— Но почему же он меня не позвал? — допытывался я.

— Да потому, как он объяснил, что вы отвлекали бы меня. Как он объяснил, ему нужна моя смекалка при полном хладнокровии. И взял свое. По-моему, это лучшее, что я написал. — Он протянул руку, схватил номер «Ватрушки» и с наслаждением перечитал свое сочинение. — Да, бесспорно, лучшее — и всякий найдет здесь подходящую цитату, — заключил он, еще раз пробежал столбец глазами, потом сказал: — А, черт, до чего же я вчера был гениален!

Сердиться на него у меня не оказалось времени. Все утро в редакции «Плюшки» агенты «Пресс» униженно вымаливали разрешение, зависевшее, как они слышали, от меня, опубликовать некие фотографии некоего танца на лоне природы. Когда я прогнал пятого по счету просителя, который ушел, чуть не плача, ко мне хоть отчасти вернулось прежнее самоуважение. Настало время выпускать рекламный номер «Плюшки». Поскольку искусство говорит за себя, я велел напечатать

всего два слова (из которых одно, как стало ясно впоследствии, оказалось лишним): «Это Дрыгли!» — красными буквами, против чего возражал наш редактор; но уже в пять часов дня он сказал мне, что я подлинный Наполеон всей Флит-стрит. Репортаж Оллиэтта в «Плюшке» о развлечениях и любовных празднествах «геопланариев» не обладал тем потрясающим совершенством, с которым он выступил в «Ватрушке», но зато разил глубже; а уж фотографии (из-за них, сохранив левую ногу Уинни, я и поспешил пустить в ход нашу сомнительную газетку) стяжали бессчетное множество похвал, а через сутки — и денег. Но даже тогда я не все понимал.

Спустя неделю, насколько мне помнится, Бэт Маскерьер по телефону пригласил меня в «Трилистник».

— Ну, теперь ваша очередь, — сказал он. — Оллиэтта я не зову. Приходите в мою ложу.

Я пришел, и мне, гостю Бэта, оказали такой прием, какой самому королю не снился. Мы сидели в глубине ложи и оглядывали зал, куда набились тысячи зрителей. Шло обозрение «Марджана и Дрексел», захватывающая, ослепительная программа, истинным создателем которой был Бэт — хоть он и уступил эту честь Лэйфоуну.

— Да-а, — сказал Бэт мечтательно, когда Марджана «задала жару» сорока разбойникам, которые «разместились» в сорока кувшинах для масла. — Это называется попасть в самую точку. Не так уж важно, что человек делает; и как делает, тоже неважно. Главное, *когда*, — надо выбрать психологический момент. Пресса на это не способна; деньги тоже; и смекалка тоже. Много значит удача, остальное — гениальность. Сейчас я говорю не о Своих людях. Я говорю о Себе.

А потом Дол — кроме нее, никто на это не осмелился — постучала в дверь и встала позади нас, тяжело дыша, словно живая Марджана. Тем временем Лэйфоун разыгрывал сцену в полицейском суде, и весь зал вдоль и поперек надрывался со смеху.

— Ага! Признайся, дружок, — спросила она меня в двадцатый раз, — любили вы Нелли Фэррен в своей молодости?

— Любили ли мы ее? — отозвался я. — «Если б земля, и небо, и море...» Нас было три миллиона, Дол, и все мы перед ней преклонялись.

— Как же ей это удалось? — допытывалась Дол.

— На то она и была Нелли. При каждом ее выходе зрители ворковали, как голуби.

— Я имела довольно успеха, но ни разу еще не

заставила их ворковать, — сказала Дол с тоской.

— Важно не как, а когда, — повторил Бэт. — Ага, вот оно!

Он подался вперед, а публика начала волноваться и орать во всю глотку. Дол убежала. Извилистая, безмолвная процессия входила в зал полицейского суда под едва слышную музыку. Участники ее были одеты… но весь мир благодаря кинематографу знает теперь, как они были одеты. И они танцевали, танцевали, танцевали тот самый танец, который потом полгода отплясывало все человечество, и завершили его «арестанцем», после чего зрители чуть не попадали с кресел, рыдая в изнеможении. На галерке кто-то простонал: «Господи, это «Дрыгли»!» — и мы услышали, как это слово подхватили прерывающимися голосами, потому что зрители еще не могли перевести дух. А потом появилась Дол с электрической звездой в черных волосах, на трехдюймовых каблуках, сверкавших брильянтами, — чудесное видение оставалось недвижимым ровно тридцать секунд при смене декораций, но вот полицейский суд на заднем плане превратился в Маникюрный дворец Марджаны, и зрители очнулись. Звезда на ее челе погасла, и она, заливаемая мягким светом, выступила — медленно,

очень медленно, под влюбленный напев струн — на восемнадцать шагов вперед. Вначале перед нами предстала лишь ослепительная королева; потом эта королева впервые заметила своих подданных; и наконец к нам простерла трепетные руки счастливая женщина, которая внушала глубокое благоговение, но преобразилась и озарена была простой пленительной нежностью и добротою. Я расслышал бессвязный восторженный лепет — те самые воркующие звуки, с которыми не сравнится целая буря рукоплесканий. Звуки эти затихали, возобновлялись и очарованно затихали снова.

— Ей это удалось, — прошептал Бэт. — Никогда еще я не видел ее в таком ударе. Я ей советовал зажечь звезду, но был неправ, и она это знала. Она подлинная актриса.

— Дол, ты прелесть, — сказал кто-то негромко, но слышно было на весь зал.

— Благодарю вас! — отвечала Дол, и ее отрывистый возглас прозвучал, как последний удар, замкнувший железные оковы. — Добрый вечер, мальчики! Я только что была… обождите… где же я, черт побери, была? — Она обернулась к бесстрастным рядам танцоров и продолжала: — Ах, как мило, что вы мне напомнили, мои славные,

румяные мордашки. Я только была там, где… ну, где «голосованием признали Землю плоской».

И она грянула песню в сопровождении всего оркестра. За ближайшие полгода песня эта сотрясла всю обитаемую землю. Постарайтесь же представить себе страсть и бешеный ритм, которые прорвались наружу в блистательный миг ее рождения! Дол исполнила припев только раз. После второго куплета она воскликнула: «Вы *заодно* со мной, ребята?» — и весь зал дружно подхватил: «*Земля* плоска, плоска, как доска, потому что доски очень даже плоски», — заглушив все инструменты, кроме фаготов и контрабасов, которые выделяли главное слово.

— Великолепно, — сказал я Бэту. — А ведь это всего лишь вариации на тему детской песенки про орешки.

— Да, но вариации эти сочинил *я*, — отвечал он.

Дойдя до последнего куплета, она сделала знак дирижеру Карлини, и тот бросил ей свою палочку. Она поймала палочку с мальчишеской ловкостью. «Вы *заодно* со мной?» — воскликнула она снова и — поддерживаемая обезумевшей публикой — заставила смолкнуть весь оркестр, одни только контрабасы глухо взревывали при

слове «*Земля*»… «Как голосованием признали *Землю* плоской, признали *Землю* плоской!» Это было похоже на бред. Потом Дол увлекла за собой танцоров, и они трижды пронеслись вокруг сцены, с грохотом отплясывая импровизированный «арестанец», а под конец она дрыгнула ножкой, и ее туфелька, сверкающая брильянтами, взлетела к люстре, словно ракета.

Я видел, как над залом вырос лес рук, стремившихся ее поймать, слышал, как рев и топот, вздымаясь вихрями, слились в неистовом урагане; слышал, как песня, на которую преданные контрабасы набрасывались, словно бульдог на норовистого быка, звучала, несмотря ни на что; но вот, наконец-то, занавес опустился, и Бэт повел меня в артистическую уборную, где лежала обессиленная Дол, только что со сцены, куда ее уже в седьмой раз вызывали раскланиваться. А песня проникала сквозь все оштукатуренные перегородки и сотрясала железобетонное здание «Трилистника», как паровые копры сотрясают стенки дока.

— Я достигла своей вершины — впервые в жизни. Ага! Признайся, дружок, удалось мне это? — спросила она хриплым шепотом.

— Конечно, да, вы же сами знаете, — ответил я,

а она взяла склянку и понюхала какое-то снадобье. — Вы заставили их ворковать.

Бэт кивнул.

— А бедняжка Нелли умерла где-то в Африке, если не ошибаюсь?

— Я хотела бы умереть раньше, чем они перестанут ворковать, — сказала Дол.

— «Признали *Землю* плоской… признали *Землю* плоской!»

Теперь могло показаться, будто это насосы откачивают воду из затопленного рудника.

— Они разнесут театр на куски, если вы опять не выйдете! — крикнул кто-то.

— О господи, — пробормотала Дол, пошла на сцену в восьмой раз и теперь, чтобы остановить эту лавину, сказала, зевая: — Не знаю, как *вы*, ребята, а *я* еле жива. Уймитесь-ка лучше.

— Обождите минуточку, — сказал мне Бэт. — Сейчас я выясню, хорошо ли прошло это обозрение в провинции. Уинни Динс гастролировала в Манчестере, а Рэмсден — в Глазго, да еще выпущены кинофильмы. У меня выдались нелегкие суббота и воскресенье.

Вскоре телефон принес ему самые утешительные известия.

— Ну вот и все, — заключил Бэт. — А *он* сказал,

что мое место жительства в Иерусалиме.

И он расстался со мною, мурлыкая себе под нос «Священный град». Подобно Оллиэтту, я почувствовал, что боюсь этого человека.

Когда я вышел на улицу и увидел, как из кинематографов толпами извергаются люди, скачут по тротуару и напевают эту песню (Бэт позаботился, чтобы фильм всюду показывали под граммофон), когда далеко на юге, за Темзой, я увидел слово «Дрыгли», сверкающее красными электрическими буквами, страх мой возрос неизмеримо.

* * *

Ближайшие дни не принесли, пожалуй, ничего особенного, кроме ожидания, мучительного, как в бреду, когда больному чудится, будто прожектора соединенных военно-морских сил всего мира нашаривают крохотный обломок крушения — совсем одинокий среди темного, зловещего моря. Потом эти лучи скрестились. Земля, как мы ее себе представляли, — вся поверхность нашего шара — обрушила свое безликое и уничтожающее любопытство на Хакли, где голосованием ее признали плоской. Земля желала знать о Хакли подробности — где это и что это за место и как там разговаривают, — она уже знала, как там

танцуют, — и как думают тамошние жители в своих загадочных душах. И тогда вся наша ретивая, беспощадная пресса выставила Хакли на всеобщее обозрение, словно капельку воды из пруда, которую волшебный фонарь крупно показывает на экране. Но экран, доставшийся Хакли, лишь соответствовал тому значению, какое имела печать в жизни человечества. Волею судьбы именно тогда, в нужную минуту, праздный взор нашего мира не находил ничего, воистину достойного внимания. Одно зверское убийство, политический кризис, неосмотрительный или рискованный шаг какого-нибудь европейского политикана, легкая простуда у короля заслонили бы важность наших стараний, подобно тому как случайное облачко затмевает пылающий лик солнца. Но погода была самая благоприятная во всех смыслах. Нам с Оллиэттом не пришлось и пальцем пошевелить, дальнейшее зависело от нас не более, чем от бессильного альпиниста, который последним своим криком уже вызвал падение лавины. Эта стихия бушевала, и ширилась, и летела в незримую даль сама собой — сама собой. Когда она вырвалась на простор, ее не остановило бы даже крушение царств.

Но Земля наша все-таки проникнута добротою.

В то самое время, когда Песня изводила и терзала ее до умопомрачения своими неотразимыми раскатами «та-ра-ра-бам-ди-эй», которые надо помножить на серьезность западноафриканского напева «Каждый делает вот так», да еще прибавить вдвойне адское неистовство известного мотива из «Доны и Гаммы»; когда все насущные задачи, литературные, драматургические, художественные, общественные, муниципальные, политические, торговые и административные, требовали, чтобы люди признали Землю плоской, приходский священник из Хакли обратился к нам с письмом — опять же как поборник истины, — где указывал, что «мнимая плоскообразность сей юдоли наших бренных трудов» была признана в Хакли отнюдь *не* единогласно: он и местный доктор голосовали против. И сам великий барон Рейтер (я уверен, что именно он, а не кто иной) распространил письмо полностью вдаль, вглубь и вширь по сей юдоли наших трудов. Ведь Хакли окружала Сенсация. «Плюшка» тоже поместила фотографию, которую я сфабриковал не без труда.

— Отважный у нас народ, — сказал Оллиэтт, когда мы обсуждали положение дел за обедом у Бэта. — Только англичанин мог написать такое

письмо при нынешних обстоятельствах.

— А мне вспомнился некий турист в Пещере Ветров под Ниагарой. Одинокий человек в макинтоше. Но вы, вероятно, видели нашу фотографию? — сказал я с гордостью.

— Да, — отвечал Бэт. — Я ведь тоже побывал на Ниагаре. А как относятся ко всему этому в Хакли?

— Само собой, они в некотором недоумении, — сказал Оллиэтт. — Но деньги загребают лопатой. С тех пор как начались автобусные экскурсии…

— А я и не знал этого, — ввернул Поллент.

— Ну как же. Комфортабельные рейсовые автобусы — обеспечивается экскурсовод в форменной одежде и музыкальный рожок. Мотивчик там уже приелся за последнее время, — продолжал Оллиэтт.

— Этот мотив играют у него под окнами, правда? — осведомился Бэт. — Он не может запретить ездить через свой парк.

— Не может, — подтвердил Оллиэтт. — Кстати, Вудхаус, я приобрел для вас у церковного сторожа ту купель. Заплатил пятнадцать фунтов.

— И что же прикажете мне с нею делать? — спросил Вудхаус.

— Подарите ее музею Виктории и Альберта[58]. Кроме шуток, это работа четырнадцатого века. Верьте моему слову.

— Но теперь... стоит ли? — сказал Поллент. — Не подумайте, что я готов отступиться, а все же, много ли мы выиграем?

— Да ведь я говорю правду, — настаивал Оллиэтт. — Помимо всего прочего, это мое увлечение. Я всегда мечтал стать архитектором. Беру все на себя. Для «Плюшки» этот материал слишком серьезен, а для «Ватрушки» уж слишком хорош.

Он прорвался в редакцию солидного архитектурного еженедельника, где и слыхом не слыхали про Хакли. Публикация его была сугубо беспристрастна и содержала лишь достоверный факт со ссылками на многочисленные авторитеты. Он с несомненностью установил, что двадцать лет назад в Хакли, по указке сэра Томаса, вышвырнули прочь старинную купель и заменили ее новой, из Батского камня с цветной инкрустацией; и с тех самых пор старинная купель валялась за церковной сторожкой. Он доказал, при поддержке крупнейших ученых, что во всей Англии лишь

---

[58] notes: 58

Музей Виктории и Альберта — был учрежден при покровительстве королевы Виктории и ее мужа принца Альберта для демонстрации «произведений искусства всех времен и народов».

одна-единственная купель может сравниться с этой. Теперь Вудхаус купил ее и преподнес благодарному Южному Кенсингтону, получив заверение, что скорей Земля станет хоть трижды плоской, чем Хакли, где не видят дальше своего носа, получит назад это сокровище. Многие епископы и почти все члены Королевской академии, не говоря уже про общество «Бисер перед свиньями», усердно писали письма в газеты. В связи с этим «Панч» поместил политическую карикатуру; «Таймс» — небольшую редакционную статью под заголовком «Страсть к новшествам»; а «Наблюдатель» — научно обоснованный и весьма занятный очерк «Земля Хаусмания». Огромный, далекий мир развлекался, повторяя на всех языках и на все лады: «Еще бы! Этого и следовало ожидать от Хакли!» И ни сэр Томас, ни приходский священник, ни церковный сторож — вообще никто не осмелился выступить с опровержением.

— Поймите, — сказал Оллиэтт, — удар, нанесенный Хакли, гораздо сильней, чем кажется, — именно потому, что здесь каждое слово — правда. Согласен, ваш танец «Дрыгли» породило вдохновение, но он не имеет корней в…

— Пока что хватит двух земных полушарий и

четырех континентов, — ввернул я.

— Он не имеет корней в сердце Хакли, вот что я хотел сказать. Отчего вы ни разу не съездили туда? Ведь вы не видели Хакли с тех самых пор, как нас там задержали.

— Я свободен только по субботам и воскресеньям, — сказал я, — а в эти дни туда обычно ездите вы… и некая особа в мотоциклетной коляске. Я опасался даже…

— Ну, на *этот* счет будьте спокойны, — отвечал он весело. — Мы уже давным-давно помолвлены. Собственно говоря, дело сладилось, когда я написал про «суягных комолых овечек». Поедемте туда в субботу. Вудхаус предложил отвезти нас сразу после завтрака. Он тоже хочет посмотреть на Хакли.

Поллент не мог составить нам компанию, зато Бэт поехал вместо него.

— Странно все-таки, — сказал Бэт, — что с того первого раза никто из нас, кроме Оллиэтта, даже не взглянул на Хакли. Но я всегда так и говорю Своим людям. Местный колорит хорош, когда замысел уже созрел. А до этого он только мешает.

По дороге Бэт рисовал нам головокружительные картины успеха — международного и финансового, — который стяжали «Дрыгли» и Песня.

— Между прочим, — сказал он. — Я уступил Дол все права на граммофонные записи «Земли». Она прирожденная актриса. Не сообразила даже потребовать с меня тройной гонорар наутро после премьеры. Только бы зрители ворковали, чего ж еще.

— Подумать только! А какая ей выгода от граммофонных записей? — спросил я.

— Бог знает! — ответил он. — Я лично на этом деле заработал пятьдесят четыре тысчонки, а ведь главное впереди. Вот послушайте!

Бледно-розовый автобус с ревом катил вслед за нами, и музыкальный рожок играл: «Как голосованием признали *Землю* плоской». Через несколько минут мы обогнали другой автобус с красивым деревянным кузовом, где пассажиры гнусаво распевали все то же.

— Не знаю, чье это агентство. Вероятно, Кука, — сказал Оллиэтт. — Да, тяжело им приходится.

Мотив неотступно преследовал нас до Хакли.

Хоть я и не ожидал ничего иного, все же я был разочарован, когда увидал воочию то место, которое мы — могу сказать без преувеличения — создали и явили перед народами. Трактир, где подают спиртное; зеленая лужайка посередине; баптистская молельня; церковь; сторожка

при ней; домик приходского священника, откуда мы получали такие изумительные письма; ворота в парк сэра Томаса, красноречиво возвещающие доныне: «Признали *Землю* плоской!» — все это было так ничтожно, так заурядно, так невыразительно, как фотография комнаты, где совершилось убийство. Оллиэтт, разумеется, знал здесь каждый уголок и стремился показать нам все в самом выгодном свете. Бэт уже срисовал отсюда фон для одной из своих пьес и теперь утратил любопытство к тому, что исчерпано до конца, но Вудхаус сказал, выразив и мои чувства:

— Неужели это все… ради чего мы так старались?

— Ну, я-то знаю, — возразил Оллиэтт, желая нас утешить. — «Я слышал, как пел Аполлон незнакомую песнь: Илиона туманные башни открылися взору». Порой я сам испытывал такое ощущение, хотя для меня здесь был сущий рай. Но им приходится тяжко.

Еще один автобус, четвертый за последние полчаса, свернул в парк сэра Томаса, дабы возвестить усадьбе: «Признали *Землю* плоской»; какие-то туристы, вероятно, американцы, дружно фотографировали ворота парка; а в кафе, напротив кладбищенской часовни, нарасхват раскупали

открытки с изображением старинной купели, которая двадцать лет провалялась за церковной сторожкой. Мы вошли в трактир и пожелали хозяину новых прибылей.

— Деньги мы загребаем вовсю, — сказал он. — Но ежели рассудить, деньги иногда достаются уж больно дорого. Они не идут нам впрок. Над нами смеются. Право слово… Да вы небось слышали, какое тут у нас было голосование…

— Побойся бога, хватит поминать про голосование! — возопил с порога какой-то пожилой мужчина. — Плывут к нам денежки или не плывут, все одно мы сыты этим по горло.

— И я, стало быть, так думаю, — сказал трактирщик, не вступая в пререкания, — я думаю, сэр Томас мог бы получше устроить иные дела.

— Он мне велел… — Пожилой мужчина протиснулся к стойке, плечом расталкивая посетителей. — Двадцать лет назад он велел мне уволочь ту купель в закуток, где я инструмент держу. *Велел* самолично. И вот теперь, через двадцать лет, собственная моя жена обходится со мной так, будто я отпетый палач.

— Это церковный сторож, — объяснил нам трактирщик. — Его хозяюшка торгует открытками — ежели хотите, можете купить. А только нам

сдается, сэр Томас мог бы получше управиться.

— Но при чем здесь он? — спросил Вудхаус.

— Доподлинно мы ничего сказать не беремся, только мы так думаем, он мог бы избавить нас от этой кутерьмы с купелью. Ну а ежели говорить про голосование…

— Хватит! Ох, хватит! — взревел сторож. — Не то я перережу себе глотку нынче ночью. Вон прикатили еще любители поразвлечься!

У дверей остановился автобус, и оттуда во множестве высыпали мужчины и женщины. Мы вышли взглянуть. Они привезли свернутые хоругви, аналой из трех отдельных частей и, чему я особенно подивился, разборную фисгармонию, какую обычно берут на корабль, уходящий в море.

— Армия спасения? — предположил я, хотя форменной одежды не видел.

Двое из прибывших развернули на древках полотнище с лозунгом: «Земля воистину плоская!» Мы с Вудхаусом взглянули на Бэта. Он покачал головой.

— Нет, нет. Я здесь ни при чем… Если б я только видел их наряды раньше!

— Боже правый! — вскричал Оллиэтт. — Да ведь это члены настоящего «Общества»!

Вся братия прошествовала на луг с уверенностью, которая показывала, что люди взялись за привычное дело. Рабочие сцены не могли бы быстрей собрать из трех частей кафедру, а стюарды — установить фисгармонию. Едва крестовидные ноги успели втолкнуть в гнезда, прежде чем туристы успели двинуться от ворот парка, какая-то женщина уселась за фисгармонию и запела гимн:

Слову истины внемлите,
Свет да виждет человек,
Создал Бог ему обитель, —
Землю, плоскую вовек.

И когда не стало боле
Бездны с Первозданной Тьмой,
Здесь, согласно высшей воле,
Поселился род людской.

Я увидел на лице Бэта выражение черной зависти.

— Будь проклята Натура, — пробормотал он. — Никогда ее не ухватишь. Подумать только, я забыл про гимны и фисгармонию!

Тут вступил хор:

Слову истины внемлите,

Свет да виждет человек —
О признайте! О примите
Землю, плоскую вовек!

Они пропели еще несколько куплетов с истовостью ранних христиан, обреченных на растерзание львам. А потом раздался свирепый рык. Сторож вместе с повиснувшим на нем трактирщиком, приплясывая, выскочил из дверей. Каждый норовил переорать другого.

— Загодя прощенья просим за его выражения! — крикнул хозяин. — И лучше вам уехать отсюдова. (Тут-то сторож разразился бранью.) — Вот уж, ей-ей, не время и не место, чтоб… чтоб сызнова про это языком трепать.

А толпа густела. Я видел, как полицейский сержант вышел из своего домика, подтягивая пояс.

— Но помилуйте, — сказала женщина, сидевшая за фисгармонией, — право же, это какое-то недоразумение. Ведь мы не суфражистки.

— К чертовой матери! Они дали бы нам хоть передохнуть! — вскричал сторож. — А вы проваливайте! Да без разговоров! Лопнуло мое терпение! Проваливайте живо, не то мы вам попомним ту купель!

Толпа, которую непрестанно пополняли жители всех близстоящих домов, дружно вторила

этому напутствию. Сержант протолкался вперед.

Мужчина, который стоял у аналоя, сказал:

— Но поверьте, мы ваши добрые друзья и благожелатели. Послушайте меня хоть минуту.

И в эту самую минуту автобус, проезжавший мимо, как нарочно, сыграл Песню. Дальнейшие события развивались стремительно. Бэт, Оллиэтт и я, различными путями постигшие психологию толпы, поспешно отступили к дверям трактира. Вудхаус, владелец стольких газет, жаждал, я полагаю, близкого общения с читающей публикой и нырнул в самую людскую гущу. Все прочие требовали, чтобы члены «Общества» убрались, пока не поздно. Когда дамочка, сидевшая за фисгармонией (тут я начал понимать, почему иногда нужно убивать женщин) указала на ворота парка с трафаретными надписями и назвала эти ворота «святынею нашей общей веры», толпа зарычала и всколыхнулась. Полицейский сержант восстановил порядок, но посоветовал «Обществу» не медлить. Члены «Общества» отступили к автобусу, ведя, так сказать, арьергардные словесные бои на каждом шагу. Разобранную фисгармонию погрузили последней, и толпа, бессмысленная, как все толпы, проводила ее приветственными кликами, а потом шофер дал газу, и автобус

умчался прочь. Тогда люди начали расходиться, одобряя всех победителей, кроме церковного сторожа, который, по общему мнению, осрамил свою должность, так как позволил себе неприлично выражаться о дамах. Мы пошли через луг к Вудхаусу, который разговаривал с полисменом у ворот парка. Приблизясь десятка на два шагов, мы увидели, как из привратницкой опрометью выбежал сэр Томас Ингелл и ринулся на Вудхауса с занесенной тростью, вопя в исступлении:

— Я тебя научу надо мной смеяться, ах ты…

Но полностью слова его записаны у Оллиэтта. Когда подоспели мы, сэр Томас уже лежал на земле; Вудхаус, смертельно бледный, держал трость и говорил сержанту:

— Я требую привлечь этого господина к ответственности за оскорбление действием.

— Но боже мой! — воскликнул сержант, который был еще бледнее Вудхауса. — Ведь это же сам сэр Томас.

— Кто бы он ни был, его нельзя оставлять на свободе, — сказал Вудхаус.

Толпа, почуяв неладное, вновь начала скапливаться, и страх перед назревающим скандалом, свойственный всякому англичанину, побудил нас вслед за сержантом скрыться в привра-

ницкой. Ворота и дверь мы предусмотрительно заперли.

— Сержант, вы видели, как он совершил на меня нападение, — продолжал Вудхаус. — Будьте свидетелем, что я применил силу лишь в пределах самообороны. Будьте свидетелем, что я даже не нанес ущерба собственности этого господина. (Эй, вы! Нате, вот ваша трость!) Вы слышали, какой грязной бранью он меня осыпал.

— Я… я осмелюсь сказать, что не все разобрал, — произнес сержант, запинаясь.

— Ну что ж, зато *мы* разобрали! — сказал Оллиэтт и повторил все, к ужасу жены привратника, которая закрыла передником лицо.

Сэр Томас, усевшись на табуретку, снова обрел дар речи. Он сказал, что «довольно натерпелся с тех пор, как его фотографируют, словно дикого зверя», и открыто выразил сожаление, что не убил «этого типа», который «хотел снюхаться с сержантом, дабы выставить его на посмешище».

— Вы его знаете, сэр Томас? — осведомился сержант.

— Нет! Но пора всем здесь дать наглядный урок. А этого мерзавца я в жизни не видел.

Думается мне, неотразимый взгляд Бэта Маскерьера воскресил прошлое в его памяти, потому

что он вдруг переменился в лице и у него отвисла челюсть.

— Да ведь я его знаю! — простонал он. — Теперь я вспомнил.

Тут какой-то трясущийся человек вошел через заднюю дверцу. Он назвался местным ходатаем. Не стану утверждать, что он лизал пятки Вудхаусу, но даже это мы сочли бы более достойным, чем его старания. Он уверял, что дело можно уладить тихо, мирно и к обоюдному согласию, если предложить золото — побольше золота. Сержант тоже так считал. Однако Вудхаус вывел их обоих из заблуждения. Сержанту он сказал:

— Выступите вы свидетелем или нет?

А ходатаю назвал своих адвокатов, и тот, ломая руки в отчаянье, воскликнул фальцетом:

— Ох, сэр Т.! Сэр Т.!

Потому что фирма пользовалась не меньшей знаменитостью, чем сам Бэт Маскерьер.

И они начали совещаться трагическим шепотом.

— Я вовсе не поклонник Диккенса, — сказал Оллиэтт Бэту и мне, отведя нас к окну, — но всякий раз, как я сталкиваюсь со скандалом, оказывается, что полицейский суд буквально кишит героями его книжек.

— Я и сам давно это заметил, — сказал Бэт. — Но странно, публика не принимает Диккенса без обработки — по крайней мере, в Моем деле. Любопытно, почему это так.

Тут сэр Томас снова рассвирепел и проклял день своего или, быть может, нашего рождения. Хоть он и был радикалом, я опасался, что он снизойдет до извинений и сумеет извернуться с помощью *лжи*, на то он и член парламента. Но он целиком и полностью утратил власть над собой. Он задавал дурацкие вопросы — например, зачем нас вообще занесло в эти края и какую сумму Вудхаус рассчитывает с него заполучить путем вымогательства. Но ни Вудхаус, ни сержант, ни трясущийся ходатай его даже не слушали. После заключительных переговоров, которые состоялись в дальнем углу, у очага, было решено, что в понедельник сэру Томасу надлежит предстать перед своими собратьями в сфере правосудия и ответить за преднамеренное оскорбление действием, нарушение общественного порядка, бранные слова и прочее. Оллиэтт особо выделил бранные слова.

Потом мы уехали. В вечерних сумерках местность казалась прелестной, и мелодичные звуки лились нам вслед, как из соловьиного гнездыш-

ка.

— Надеюсь, в понедельник свидимся, — сказал Вудхаус, когда мы вернулись в город.

До тех пор он даже не обмолвился о происшедшем.

И мы свиделись — а весь мир по-прежнему распевал, как *Землю* признали плоской, — в том же желтом, как глина, городишке, где была рыночная площадь, большая хлебная биржа и маленький юбилейный памятник. Не без труда нашли мы себе места в судебном зале. Адвокат, которого Вудхаус выписал из Лондона, оказался человеком решительным и умел говорить так, что самые звуки его голоса содержали потрясающие улики. Когда началось разбирательство, он встал и заявил, что его клиент намерен отказаться от обвинения. Его клиент, продолжал он, не принял и, разумеется, не мог при данных обстоятельствах принять от имени общественной благотворительности любую денежную компенсацию, каковую ему могли бы предложить, учитывая состояние сэра Томаса. В то же время его клиент, как никто другой, с искренней признательностью оценил дух, в котором упомянутое предложение было сделано лицами, облеченными соответствующими полномочи-

ями. Но, в сущности, — здесь он заговорил как светский человек среди равных себе — некоторые… э… подробности стали известны его клиенту уже *после* того прискорбного неистовства, каковое… Он выразительно пожал плечами. Нет нужды входить в эти подробности, однако он смеет заверить, что, если бы только печальная истина обнаружилась ранее, его клиент — тут он опять ввернул «разумеется» — даже не помыслил бы… Не договорив, он только махнул рукой, и одураченные судьи уже по-иному, с опаской поглядели на сэра Томаса. Поистине, продолжал адвокат, теперь им самим ясно, что было бы по меньшей мере жестоко продолжать разбирательство этого… э… злополучного дела. А посему он просит разрешить ему отказаться от обвинения in toto[59] и одновременно выразить от имени своего клиента глубочайшее сожаление всем, кому данный процесс и широкая огласка причинили неприятности, подобно его клиенту, который, да будет ему позволено заверить еще раз, даже не помыслил бы, разумеется, возбуждать иск, если бы, как он уже, можно надеяться, ясно изложил, клиент его располагал определенными фактами

---

[59] notes: 59
В целом (лат.).

в то время, когда… Но довольно, больше он не станет говорить. И я подумал, что он довольно наговорил за свой гонорар.

По наитию свыше адвокат сэра Томаса — готовый из кожи вылезти, только бы не зашла речь о бранных словах его подзащитного, — встал и поблагодарил коллегу. Потом сэр Томас — еще не сознававший, что его постигло бедствие хуже проказы, но готовый откупиться любой ценой — последовал этому примеру. Его выслушали с молчаливым любопытством, и народ поспешно расступился, когда прошел Гиезий.

— Ваш удар был жесток, — сказал Бэт Вудхаусу, когда все кончилось. — Даже его люди думают, что он помешался.

— Неужели? Сегодня за обедом я покажу вам несколько его писем, — отвечал Вудхаус.

Он принес письма в янтарный кабинет «Отбивной котлеты». Мы забыли даже то удивление, которое вызывали у нас и Песня, и «Дрыгли», и все щедроты судьбы, которые только нам, казалось, и были предназначены. Оллиэтта даже не заинтересовало, что словечко «прихаклить» вошло в язык авторов газетных статей. Мы прозревали наготу души, ярко освещенной до самых темных глубин и терзаемой страхом «потерять

положение».

— А потом это ничтожество поблагодарило вас за то, что вы прекратили процесс? — спросил Поллент.

— Да, и подтвердило свою благодарность телеграммой. — Вудхаус повернулся к Бэту. — Вы по-прежнему считаете, что мой удар был слишком жесток?

— Не-ет! — отвечал тот. — В конце концов — я сейчас говорю о всяком поприще — Искусство, вопреки всем нашим стараниям, никогда не может сравниться с Натурой в любых перипетиях жизни. Подумать только, как это вышло…

— Дайте-ка мне еще разок просмотреть ваше дельце, — сказал Поллент и взял «Плюшку», где был напечатан полный отчет.

— Кстати, Дол сегодня не заглянет сюда?.. — начал Оллиэтт.

— Она занята своим Искусством, — ответил Бэт с горечью. — А что толку в Искусстве? Пускай кто-нибудь мне объяснит! — Уличная шарманка тотчас возвестила о том, как признали *Землю* плоской. — Граммофоны вытесняют шарманки, но уже через двенадцать часов после рождения Песни я выпустил на улицы сто семьдесят четыре таких вертушки, — сказал он. — Это не считая

провинции.

Его хмурое лицо несколько прояснилось.

— Послушайте, — сказал Поллент, оторвавшись от газеты. — Едва ли вы или эти ослы из парламента могли знать, но ваш адвокат должен был знать, что все вы неслыханно осрамились, когда затеяли этакое дело об оскорблении действием.

— Но почему же? — осведомился Вудхаус.

— Это смехотворно. Это нелепо. Во всей процедуре не было и на грош законности. Разумеется, вы могли отказаться от обвинения, но что за форму вздумалось вам избрать, ведь это ребячество — и к тому же нарушение закона. Куда, черт побери, смотрел начальник полиции?

— Ну, он ведь друг сэра Томаса. Впрочем, как и остальные, — ответил я.

— Повесить его надо. А заодно и председателя суда. Это я вам как юрист говорю.

— Позвольте, но что же вменяется нам в вину? Недонесение о государственной измене, или уголовное преступление, или что еще? — спросил Оллиэтт.

— Потом объясню.

И Поллент снова углубился в газету, хмуря брови и время от времени недобро усмехаясь. Наконец он расхохотался.

— Благодарю вас! — сказал он Вудхаусу. — Это должно принести изрядную пользу нам.

— Как вас понимать? — спросил Оллиэтт.

— Нашим сторонникам. Тут замешаны сплошь радикалы во главе с начальником полиции. Нужен запрос. Непременно нужен запрос.

— Но я желал отказаться от обвинения так, как это угодно мне, — настаивал Вудхаус.

— Само обвинение тут ни при чем. Встает вопрос о законности ваших дурацких методов. Только вам все равно не понять, толкуй я хоть до утра. — Он принялся расхаживать по кабинету, держа руки за спиной. — Любопытно, удастся ли мне вдолбить в тупую башку нашего лидера, какие последствия… Вот что бывает, когда в судебную коллегию сажают радикально настроенных тупиц, — пробормотал он.

— Да сядьте вы! — сказал Вудхаус.

— Где мне сейчас разыскать вашего адвоката? — спросил Поллент отрывисто.

— В «Трилистнике», — ответил Бэт, не задумываясь. — Я предоставил ему на сегодняшний вечер свою ложу. Он ведь тоже по-своему человек искусства.

— В таком случае я съезжу и потолкую с ним, — сказал Поллент. — Ведь для нас это поистине

дар божий, надо только действовать умеючи.

И он ушел, даже не извинившись.

— Право, сколько можно, конца-то все нет и нет, — заметил я с глупым видом.

— Это выше моего понимания! — сказал Бэт. — Пожалуй, знай я, что так выйдет, я нипочем не стал бы… Впрочем, все равно. Ведь он сказал, что мое место жительства…

— Но главное, в каком тоне — в каком тоне! — Оллиэтт чуть не сорвался на крик.

Вудхаус промолчал, погруженный в задумчивость, но лицо его покрылось бледностью.

— Ну, как бы там ни было, — продолжал Бэт, — к счастью, я всегда полагался на бога, и провидение, и все прочее. Иначе я давно пал бы духом. Мы покорили весь мир — всю поверхность земного шара. Теперь мы даже при желании не можем это дело остановить. Оно должно заглохнуть само собой. Я больше ни за что не отвечаю. Чего теперь, по-вашему, ожидать? Помощи ангелов?

Я не ожидал ничего. Не ожидал ничего похожего на то, что мне довелось увидеть. К политике я равнодушен, но коль скоро она, видимо, норовила «прихаклить» остальных, заинтересовался ею и я. У меня создалось впечатление, что это собачья жизнь, которой сами собаки не позавидуют,

в чем я окончательно уверился однажды утром, когда небритый и неумытый Поллент ввалился ко мне в десять часов и попросил позволить ему принять ванну и поспать.

— А на поруки вас взять не надо? — спросил я.

Он был во фраке, и глаза у него глубоко ввалились.

— Нет, — сказал он хрипло. — Мы всю ночь заседали. Голосовали пятнадцать раз. Сегодня вечером продолжим. Я живу далеко, а вы тут рядом, поэтому…

И он начал раздеваться в передней.

Он проспал до часу дня, а потом мрачно поведал мне, как, по его словам, вершилась история, хотя на деле это была всеобщая истерия. Разразился политический кризис. Поллент и прочие члены парламента «решали дела» — я так и не понял, что это были за дела, — восемнадцать часов кряду, и безжалостные лидеры уже названивали по телефонам, созывая их для новой грызни. Поэтому он злобно фыркал и опять распалял себя, вместо того чтобы отдохнуть.

— Сегодня я буду добиваться ответа на свой запрос о нарушении процессуальных норм применительно к Хакли, можете, если угодно, послушать, — сказал он. — Из этого решительно

ничего не выйдет — положение наше сейчас шаткое. Я их предупредил: но другого случая мне надо неделями дожидаться. Пожалуй, Вудхаус тоже захочет пойти туда.

— Без сомнения. Все, что касается Хакли, нас интересует, — сказал я.

— Боюсь, это никого не поразит. Обе стороны выдохлись окончательно. Теперешняя ситуация складывалась исподволь. Назревал скандал, и прочее, и прочее.

Он снова дал себе волю.

Я позвонил Вудхаусу, и мы вместе отправились в парламент. День был пасмурный, в воздухе парило, чувствовалось приближение грозы. По той или иной причине каждая сторона была исполнена решимости непреложно доказать свою доблесть и стойкость. Отовсюду раздавались свирепые голоса: «Если они не уступят, мы им не дадим пощады». «Доконаем этих скотов сразу. За ночь они совсем сникли». «Смелей! Без уверток! Я же знаю, *вы* побывали в турецкой бане». Все это и еще многое я расслышал мимоходом. Зал парламента был уже переполнен, и чувствовалось, как наэлектризована эта измученная толпа, которая сама себя взвинчивала, омрачая спокойствие дня.

— Плохо дело! — шепнул Вудхаус. — Заседание кончится скандалом. Поглядите на передние скамьи!

И он условными знаками дал мне понять, что каждый там едва сдерживается. Но старания его были излишни. Я видел, что они готовы перегрызться, как собаки, хотя кость им еще не бросили. Какой-то хмурый министр встал, чтобы ответить на отрывистый вопрос. Его сторонники разразились вызывающими криками. «Довольно! Довольно!» — долетало с задних скамей. Я видел, что лицо председателя застыло, как у рулевого, который выравнивает капризную яхту, настигнутую волной. Он едва успел предотвратить беду. Через несколько минут налетел новый, как будто беспричинный шквал, грозный, яростный и все же бессильный. Но порыв иссяк — слышен был его последний вздох, — каждый вдруг вспомнил с досадой, сколько еще тягостных часов предстоит высидеть, и государственный корабль поплыл дальше.

Потом встал Поллент — и при звуках его неумолимого голоса по рядам пробежала мучительная дрожь. Он зачитал длинный запрос, полный юридических тонкостей. Суть же сводилась к тому, что он желал бы знать, известно ли соответству-

ющему министру, что такого-то числа, в таком-то месте такие-то мировые судьи допустили грубое нарушение процессуальных норм при слушании дела, возбужденного… Я услышал лишь отчаянный, безнадежный возглас: «К черту!» — который прорвался сквозь эту невыносимую пытку. Но Поллент гнул свое:

— …вследствие известных событий, каковые имели место в Хакли.

Депутаты замерли, приоткрыв рты, будто собирались икнуть, и я вдруг заподозрил… А Поллент повторил:

— В Хакли, где…

— «Голосованием признали *Землю* плоской».

Эти слова пропел на задней скамье одинокий голос, словно сиротливая лягушка квакнула в дальнем пруду.

— «Признали *Землю* плоской», — каркнул кто-то с другой стороны зала.

— «Признали *Землю* плоской».

Вступили сразу несколько голосов. И еще несколько.

Поймите, наконец-то всеобщее изматывающее нетерпение изливалось наружу, и депутаты рявкали на все лады, проворно, как моряки отдают швартовы.

— «Там голосованием Признали *Землю* плоской».

Уже угадывался знакомый мотив. Грянули новые голоса, ноги начали отбивать такт. Но даже тогда мне не пришло в голову, что вскоре…

— «Там голосованием Признали *Землю* плоской!»

Теперь легче было уследить, кто не поет. Такие еще оставались. И вдруг (вот доказательство, на какой шаткой основе держатся убеждения независимой фракции) один из независимых вскочил на скамью и заиграл на воображаемом контрабасе, взмахивая рукой с ловкостью истого виртуоза.

Последний швартов был отдан. Государственный корабль беспомощно поплыл по бурным волнам мелодии.

— «Там голосованием Признали *Землю* плоской!

Там голосованием Признали *Землю* плоской!»

Ирландцы первыми сообразили свернуть листки, на которых была отпечатана повестка дня, в трубки и при слове «*Земля*» искусно дудели «*друм-друм*». Лейбористы, всегда верные традициям и приличиям во время кризиса, сдерживались дольше других, но стоило им начать,

как они взревели неистовей всяких синдикалистов. И без различия между партиями, без оглядки на избирателей, позабыв о честолюбии или выгоде, депутаты пели кто во что горазд, раскачивали свои дряблые тела, судорожно топотали распухшими ногами. Они распевали «Там голосованием Признали *Землю* плоской»: во-первых, потому что им самим хотелось, а во-вторых — такова эта чудовищная песня, — потому что они не могли остановиться. Ни в коем случае не могли остановиться.

Поллент все еще стоял. Кто-то показал на него пальцем, раздался хохот. Другие тоже начали тыкать пальцами, словно фехтовали под собственное пение. В этот миг из-за председательского кресла чуть ли не плечом к плечу появились двое и замерли, объятые ужасом. Как оказалось, один был премьер-министр, а другой — просто курьер. Они сразу завладели вниманием депутатов, по щекам у которых катились слезы. Шесть сотен указательных пальцев обратились в их сторону. При этом депутаты раскачивались, подпрыгивали, корчились и все-таки пели. Когда они ослабевали хоть на мгновение, ирландцы вопили: «Вы со мной *заодно*, ребяты?» — и все, подобно Антею, обретали новые силы. Позже ни-

кто не мог сказать, что происходило на галереях для прессы и для гостей. Только Палата, исступленная и обезумевшая Палата представителей, приковала к себе все взгляды, оглушила все уши. Я видел, как сидевшие на обеих передних скамьях подались вперед, некоторые уткнули лбы в свои портфели, остальные закрыли лица руками; и плечи их так тряслись, что депутаты презрели последние приличия. Лишь председатель сохранил невозмутимость. На другой день все газеты Великобритании засвидетельствовали, что он даже не наклонил головы. Сам Ангел Конституции, поскольку ни один смертный не мог бы тут помочь, безошибочно предрек ему мгновение, когда в зале начнут отплясывать «Дрыгли». По газетным сообщениям, он сказал: «Я услышал, как ирландцы стали пританцовывать. Тогда я объявил перерыв». А Поллент утверждал, будто он добавил: «И в жизни не был я благодарен рядовому члену парламента так горячо, как мистеру Полленту».

Он ничего не стал объяснять. Он не упомянул о порядках или беспорядках. Он попросту объявил перерыв до шести вечера. И депутаты покинули зал — иные чуть ли не на четвереньках.

Я погрешил против истины, когда сказал, что

не смеялся один лишь председатель. Вудхаус все время сидел рядом со мной. Лицо у него было суровое и очень бледное — мне рассказывали, что столь же бледен был сэр Томас Ингелл, когда по специальному приглашению явился для личной беседы к лидеру своей партии.

«ЖЕНА МОЕГО СЫНА»[60]

Перевод К. Телятникова

С юношеских лет он страдал болезнью века, и к тридцати годам был основательно поражен этим тяжким недугом. С несколькими друзьями он очень ловко реорганизовал Небеса, однако реорганизация Земли, которую они называли Обществом, оказалась еще более увлекательным делом. Оно требовало Работы, которая заключалась в ежедневных разъездах по всему городу на такси, в замечательных беседах с замечательными собеседниками, длившихся часами, в переписке, отмеченной блеском ума и знаний, в умении помолчать (но с убеждением, что скоро настанет и твой черед сказать свое веское слово), пока другие излагают свои умозаключения, в посещении картинных галерей, чаепитий, концертов, театральных представлений, мюзик-холлов и кинематографов, и все это в атмосфере любви к прекрасным дамам, волосы которых насквозь пропахли сигаретным дымом. И каждый

[60] notes: 60

Впервые рассказ опубликован в 1917 г., вошел в сборник «Различные особи».

вечер, возвращаясь домой после столь насыщенного делами трудового дня, Фрэнкуэл Мидмор был уверен, что он со своими друзьями еще на шаг приблизил Мир к Истине, Рассвету и Новому Общественному Порядку.

Он говорил, что по своему темпераменту более склонен оперировать конкретными фактами, нежели абстрактными идеями. Люди же, которые весь день занимаются исследованием фактов, к вечеру обычно устают. И именно в силу особенностей своего характера, а может быть, и из-за женщины, он с самого начала примкнул к Радикально Левым в качестве исследователя, экспериментирующего в области Социальных Отношений. А поскольку среди Радикально Левых было немало женщин, искренне желавших помочь юным экспериментаторам с солидным независимым доходом в их стремлении постигнуть основные ценности бытия, то Фрэнкуэл Мидмор отнюдь не мог пожаловаться на судьбу.

Но однажды судьбе было угодно сыграть с ним злую шутку. Его тетушка, вдова, которая в значительной мере по складу своего характера и еще более в результате брака была отгорожена от всего того, к чему так стремилась матушка Фрэнкуэла, неожиданно умерла и оставила ему

кое-какое имущество. А поскольку как раз этим летом миссис Мидмор исповедовала учение, категорически отрицавшее существование смерти, то естественно она не могла снизойти до присутствия на похоронах, и вот в самый разгар сезона, когда борьба за Социальное Возрождение происходит наиболее плодотворно, принимая форму продолжительных и весьма интимных дискуссий в самом узком кругу после вечернего чая, Фрэнкуэлу пришлось покинуть Лондон и отправиться в пропитанное сыростью имение. Там он смог оценить по достоинству бодрящий ритуал английских похорон, и у свежей могилы на него роняла слезы пожилая гробообразная женщина с длинным носом, называвшая его «мастер Фрэнки», а потом его поздравил с прибытием, прикрывая рот отлично резонирующим цилиндром, какой-то господин, которого он сначала принял за немого и который оказался адвокатом его покойной тетушки. Вот что он написал миссис Мидмор на другой день, вслед за красочным описанием похорон:

«Насколько мне известно, она оставила мне что-нибудь около четырех-пяти сотен в год. Эти деньги дает Тэр-Лэнд, как они называют здешнее имение. Бесподобный Сперрит, адвокат, и его

зеленоглазая дочь, которая все время что-то мурлыкает себе под нос, но упорно молчит, о чем бы ни зашла речь, кроме охоты, пожелали показать мне мои новые владения. Весь Тер-Лэнд похож на шоколадно-фисташковый торт — коричневый и зеленый в полоску, с отдельными вкраплениями в виде крестьян, которые вообще не говорят ни слова. На случай, если здесь будет недостаточно сыро, через имение протекает вполне сырой ручей. Усадьба стоит на самом берегу ручья. Загляну туда позднее. Если тебе хочется получить что-нибудь на память о Дженни, напиши мне. По-моему, ты говорила, что средневикторианская мебель снова пользуется спросом? Старая служанка Дженни — ее зовут Рода Долби — сказала, что Дженни обещала ей тридцать фунтов в год. В завещании об этом нет ни полслова. Отсюда, как я полагаю, слезы на похоронах. Все-таки это почти десять процентов дохода. Полагаю, что Дженни уничтожила все свои личные бумаги и все записи, касающиеся ее vie intime,[61] если только в такой дыре вообще возможна хоть какая-нибудь жизнь. Этот Сперрит сказал, что если я располагаю собственными средствами, то смогу

[61] notes: 61
Личная жизнь (франц.).

жить в имении. Я не стал говорить ему, что готов заплатить любую сумму, только бы не жить здесь. Это несправедливо и жестоко, когда один человек угнетает других людей в духе нашей дурацкой социальной системы, и поскольку это все мое, я продам имение, как только окаянный Сперрит найдет покупателя».

На другой же день, перед тем как вернуться в город, Мидмор отправился к мистеру Сперриту, чтобы высказать ему эту идею.

— Именно так, — сказал адвокат. — Я вас понял, разумеется. Но сам по себе дом довольно старомодный: у покупателей такие дома сейчас не пользуются спросом. Нет парка, а кроме того, большая часть земли сдана в бессрочную аренду мистеру Сиднею. До тех пор пока он вносит арендную плату, вы не имеете права согнать его с земли, и даже если он перестанет платить, — на лицо мистера Сперрита набежала тень, — вам будет не так-то просто с ним расстаться…

— Кажется, имение дает около четырехсот фунтов в год? — спросил Мидмор.

— Ну, едва ли… е-два-ли. За вычетом поземельного и подоходного налогов, церковной десятины, взносов по страхованию от пожара и всякого рода денежных сборов и расходов на ремонт, в

прошлом году у нас осталось двести пятьдесят четыре фунта. Ремонтные работы — довольно большая статья расходов… из-за ручья. Я называю его Лирис… помните, из Горация.

Мидмор нетерпеливо взглянул на часы.

— Надеюсь, вы все-таки найдете покупателя? — спросил он.

— Разумеется, я сделаю все возможное, если таковы ваши инструкции. Итак, мы обсудили все, кроме… — тут Мидмор немного привстал, но маленькие серые глазки мистера Сперрита спокойно выдержали взгляд его больших карих глаз, — кроме будущего Роды Долби, служанки миссис Уэрф. Должен вам сказать, что мы не успели оформить в виде завещания последнюю волю вашей тетушки. Незадолго до смерти она стала очень скрытной — с пожилыми людьми это случается часто — и написала его в Лондоне. Думаю, что ее подвела память, или она потеряла свои записи. Обычно она прятала их в футляр для очков… не беспокойтесь, мистер Мидмор, на моей машине вы доедете до станции за восемь минут… Но как я уже сказал, всякий раз, когда миссис Уэрф составляла свое завещание *здесь*, она всегда оставляла Роде тридцать фунтов в год. Чарли, покажите завещания!

Лысоватый клерк с длинным носом быстро разложил по столу бумаги, словно сдал карты, и тяжело вздохнул, стоя за спиной у Мидмора.

— Конечно, эти документы не имеют законной силы, — заметил мистер Сперрит. — Взгляните, вот этот датирован одиннадцатым января тысяча восемьсот восемьдесят девятого года…

Мидмор посмотрел на часы и неожиданно для себя самого вдруг сказал не слишком любезно:

— Весьма сожалею, что они не имеют законной силы… во всяком случае, на сегодняшний день.

По дороге на станцию он с досадой думал о том, что двести пятьдесят четыре фунта — это не совсем четыреста фунтов и что ему действовал на нервы длинный нос Чарли. Потом он сел в вагон первого класса, и мысли его вернулись в Лондон.

Из двух или трех экспериментов в области Социальных Отношений, которые Мидмор тогда проводил, один вызывал у него особенный интерес. Эксперимент этот продолжался уже несколько месяцев и обещал дать совершенно удивительные результаты, о которых он с наслаждением размышлял всю дорогу до города. Поэтому он почувствовал себя немного застигнутым врасплох, когда, войдя в свои апартаменты, прочитал письмо на двенадцати страницах,

объясняющее ему в стиле, принятом у Радикально Левых, которые всегда пишут «я» с красной строки и тщательно выводят все «т», что даме его сердца открылись величайшие ценности в душе другого человека. Она не ссылалась на кредо Радикально Левых в оправдание этого шага, а просто процитировала его основные положения, закончив письмо страстным призывом предоставить ей право на самовыражение и возможность самой распоряжаться своей жизнью, тем более что, как она подчеркнула, живем мы только раз. Если же она когда-нибудь почувствует, что общество Фрэнкуэла Мидмора «в полной мере отвечает ее духовным потребностям», то она непременно поставит его об этом в известность. Фрэнкуэл не нашел утешения в том, что всего три года назад сам направил подобного же рода послание, без обратного адреса, женщине, которая в результате его упражнений в самовыражении основательно ему наскучила.

Поскольку в данный момент у него не было другого собеседника, он обратился к газовой плите в выражениях достаточно сильных, хотя и не слишком изысканных. Затем он подверг острой критике своих лучших друзей, и ее лучших друзей, мужчин и женщин, с которыми и он, и она, и

все остальные так мило болтали, когда их веселое приключение было в самом расцвете. А потом припомнил — вероятно, где-то около полуночи, — какому критическому анализу в плане не только общечеловеческом, но и весьма интимном, она подвергала того, с кем была осуждена сосуществовать на основе того крайне эфемерного союза, что именуется браком. Еще позднее, в тот мрачный час, когда в хлевах начинает просыпаться скот, ему вспомнились некоторые другие аспекты ее естества, и тут земля разверзлась, и ад поглотил его, терзаемого желанием и всеми покинутого, даже самим господом богом. На следующее утро часов в одиннадцать к нему зашли Элифаз из Теманы, Билдад из Шуаха и Цофар из Наамы[62], которые договорились встретиться, чтобы узнать, как он принял это известие; однако швейцар сказал им, что Иов уехал… вероятно, в имение.

Мидмор с радостью убедился в том, что на его стучащих болью висках не написано ничего такого, что мистер Сперрит мог бы истолковать как историю его поражения — ведь несчастные любовники, так же как и счастливые, почему-то

---

[62] notes: 62

…Элифаз из Теманы, Билдад из Шуаха и Цофар из Наамы… — Из книги Иова, гл. 2, стих 11.

полагают, что весь мир посвящен в их сердечные дела. Во всяком случае, мистер Сперрит объяснил радость Мидмора совершенно иными причинами. Он проводил Фрэнкуэла в малую гостиную. Казалось, весь дом был полон гостей, которые во весь голос распевали какие-то дурацкие песни о коровах, а в прихожей пахло мокрыми плащами.

— Сегодня вечером мы поем зимнюю кантату «Высок прилив на бреге Линкольншира»[63], — объяснил мистер Сперрит. — Я знал, что вы вернетесь. Нам надо еще обсудить с вами кучу всяких мелочей. Что же касается дома, то там все готово, и вы можете в любой момент переехать туда. Правда, я не мог выгнать оттуда Роду… и Чарли тоже не мог. Ведь она родная сестра вашей няни, которая привезла вас сюда, когда вам было всего четыре года, и нужно было как можно скорее поставить вас на ноги после кори.

— Правда? Я болел корью? — рассеянно спросил Мидмор, ощущая какой-то неприятный вкус во рту. — Как вы думаете, я смогу переночевать там сегодня?

В это время тридцать развеселых юных голосов громко призвали кого-то «поднять бокалы — и до

---

[63] notes: 63
Высок прибой на бреге Линкольншира… — народная песня.

дна, до дна, до дна!».

Мистеру Сперриту пришлось повысить голос, чтобы перекрыть шум:

— Разумеется. Если бы я попросил вас остаться у меня, этого Рода мне никогда бы не простила… Конечно, она немного не в своем уме, но это чистая, преданная душа, всегда готовая вам помочь. Ne sit ancillae,[64] я бы сказал.

— Спасибо. Мне пора. Я немного пройдусь.

Ошеломленный, с ощущением дурноты, он, спотыкаясь, вышел на улицу и в обступивших его зимних сумерках увидел массивный квадратный дом на берегу ручья.

Его прибытие в этот дом отнюдь нельзя назвать триумфальным, ибо, как только дверь была отперта и у Роды вырвалось изумленное восклицание, он храбро шагнул и тут же потерял сознание, как это нередко бывает с теми, кто в течение двадцати двух часов много предается эмоциям и мало ест.

— Извините, — сказал он, когда к нему вернулся дар речи.

Он лежал возле самой лестницы, а его голова покоилась на коленях у Роды.

---

[64] notes: 64
Да не будет служанкино… (лат.).

— Ваш дом — ваша крепость, сэр, — сказала она ему прямо в волосы. — Я поняла сразу по запаху, что вы не пили. Ложитесь на диван, а я пока приготовлю ужин.

Рода помогла ему добраться до гостиной, обитой желтым шелком и пропитанной запахом засохших листьев и керосиновой лампы. До него доносилось какое-то умиротворяющее мурлыканье, и оно заглушало пронзительные звуки, от которых у него раскалывалась голова. А потом ему показалось, будто он слышит топот копыт по мокрому гравию и чей-то голос, поющий песню о кораблях, овечьих стадах и зеленой траве. Голос приблизился к самому окну, плотно закрытому ставнями:

Хоть обыщите целый свет,
Среди всех женщин, не секрет,
Милейшая — Элизабет,
Жена моего сына.

Копыта стали отбивать легкий галоп, и в этот момент в комнату вошла Рода с подносом.

— А потом я уложу вас в постель, — сказала она. — Утром придет Сидней.

Мидмор не стал задавать вопросов. Оплакивая свою бедную истерзанную душу, он с трудом

дотащился до постели и уже хотел было снова предаться горестным размышлениям, но еда и горячий херес мгновенно усыпили его.

Утром его разбудил голос Роды, которая спрашивала, что он хочет — «лежачую, стоячую или сидячую», и Фрэнкуэл догадался, что речь идет о ваннах.

— Вы можете воспользоваться всеми тремя, — предложила Рода. — Здесь все ваше, сэр.

Мидмор уже собрался было снова возроптать на судьбу, на этот раз при дневном свете, но последние слова Роды приятно поразили его. Оказывается, все, на что он здесь ни посмотрит, принадлежит ему и только ему. Резная чиппендейлская кровать[65] с четырьмя столбиками по углам, которая стоила, очевидно, несколько сот фунтов; великолепные кресла орехового дерева в стиле эпохи короля Вильгельма и королевы Марии (он видел кресла похуже, которые продавались по двадцать гиней каждое); овальное зеркало в виде медальона; каминная решетка искусной работы — XVIII век; тяжелые парчовые шторы — все было его и только его. А потом еще огромный сад с великим множеством птиц,

[65] notes: 65

Чиппендейлская кровать. — Мебель, называемая по имени известного в Англии мастера и владельца фирмы середины XVIII в.

на которых он с удовлетворением поглядывал, когда брился; тутовое дерево, солнечные часы и ручей стального цвета, монотонно журчащий на одном уровне с лужайкой в каких-нибудь ста ярдах от дома. Его личной и весьма специфической собственностью был запах сосисок и кофе, который он с наслаждением вдыхал, стоя на широкой квадратной лестничной площадке второго этажа, окруженный со всех сторон какими-то таинственными дверями и развешанными по степам гравюрами Бартолоцци[66]. После завтрака он в течение двух часов исследовал свои новые владения. Его сердце радостно прыгало в груди, когда он находил такие вещи, как швейные машины, кресло на колесах с резиновыми шинами в выложенном кафелем коридоре, малаккская трость с малахитовым набалдашником, десятки нераспечатанных коробок с канцелярскими принадлежностями, перстни с печатью, связки ключей, а на самом дне ридикюля из стальной сетки лежал маленький кожаный кошелек, в котором было семь фунтов десять шиллингов золотом и одиннадцать шиллингов серебром.

— Вы очень любили играть с этим кошельком,

[66] notes: 66

Гравюры Бартолоцци. — Итальянский художник XVIII в. Франческо Бартолоцци работал в Англии, ввел в моду гравюры с красным оттенком.

когда моя сестра привезла вас сюда после кори, — сказала Рода под звон монет, которые Мидмор пересыпал к себе в карман. — А вот здесь был кабинет вашей бедной дорогой тетушки.

Она открыла низкую дверь.

— Ах да! — воскликнула Рода. — Я совсем забыла про мистера Сиднея. Вот и он.

В большом кресле в стиле ампир сидел старик огромного роста с красными веками, которые непрерывно моргали из-под густых седых бровей; в руках он держал шапку. Выразительно сопя, Рода вышла из комнаты.

Мистер Сидней молча оглядел Мидмора с головы до ног, потом ткнул большим пальцем в сторону двери.

— Думаю, она сказала вам, кто я такой, — начал он. — Я ваш единственный арендатор. И мое хозяйство не даст никакого дохода, если не будет твердо стоять на собственных ногах. Как насчет моего свинюшника?

— А в чем дело? — осторожно спросил Мидмор.

— За этим я к вам и пришел. Советы графств становятся все более привередливыми. Вы знаете, что в Пашелле была свиная лихорадка? Да, была. Свинюшники должны быть из кирпича.

— Понятно, — вежливо согласился Мидмор.

— Я много раз заходил к вашей тетке по этому поводу. Не скажу, что она была несправедлива, но она понимала условия аренды не так, как я. Я уже привык к тому, что меня все водят за нос, но без свинюшника мне никак не обойтись.

— Когда бы вы хотели выстроить его? — спросил Мидмор, полагая, что выбрал самый легкий путь.

— Когда угодно, мне все равно. Ему несладко приходится в старом свинюшнике. А я заплатил за него восемнадцать шиллингов.

Мистер Сидней скрестил руки на своей палке и больше не подавал признаков жизни.

— Это всё? — запинаясь, спросил Мидмор.

— Пока всё… кроме… — он раздраженно посмотрел на стол, — кроме моих обычных… Где Рода?

Мидмор поднял колокольчик и позвонил. В комнату вошла Рода с бутылкой виски и стаканом. Мистер Сидней налил себе виски, придерживая бутылку четырьмя негнущимися пальцами, резким движением поднялся на ноги и, ковыляя, вышел из комнаты. В дверях он сердито прокричал:

— Может быть, для вас и безразлично, утону я или нет, но шлюзы давно пора оборудовать колесом и воротом. Я слишком стар, чтобы поднимать

их ломом… в мои-то годы.

— Вот мы и избавились бы от него, если бы он утонул, — пробурчала Рода. — И не обращайте на него внимания. Это он дурака валяет. Ваша бедная дорогая тетушка давала ему «его обычное» — это не то виски, которое пьете вы, — и отправляла его домой.

— Понимаю. А свинюшник — это то же самое, что свинарник?

Рода кивнула головой.

— Ему, действительно, нужен свинарник, — сказала она, — но вы вовсе не обязаны обеспечивать его строительными материалами. Загляните в договор об аренде — третий ящик слева в бомбейском бюро, — и, когда он придет в следующий раз, попросите его перечитать договор. Он задохнется от злости, потому что не умеет читать!

Мидмор не обладал знаниями, которые позволили бы ему постигнуть сокровенный смысл и значение договора об аренде, написанного от руки в конце восьмидесятых годов, но Рода растолковала ему, о чем шла речь в этом документе.

— Здесь вообще ничего не поймешь, — бодро заключила она, — если не считать того, что вы не можете согнать его с земли, а он может делать все,

что ему заблагорассудится. Нам еще повезло, это он *ведет хозяйство*, и если бы не эта женщина…

— Да? Оказывается, есть еще миссис Сидней?

— О боже, конечно, нет! Никто из Сиднеев никогда не женится. Они *содержат* женщин. Эта уже четвертая с тех пор, как… насколько мне известно. Когда-то он был очень привлекательным мужчиной.

— А дети?

— Если они и есть, то, наверное, уже взрослые. Но, в конце концов, не можете же вы думать с утра до ночи о том, как бы соблюсти его интересы. Кстати, ваша бедная дорогая тетушка заболела от этих мыслей несварением желудка. Вы уже были в оружейной комнате?

Мидмор придерживался весьма твердых взглядов относительно того, что убийство животного ради удовольствия аморально. Но нельзя было не согласиться, что ружья покойного полковника Уэрфа, которые стоили семьдесят гиней каждое, были великолепны, хотя и выполняли грязную работу. Мидмор зарядил одно из ружей, взял его наизготовку и прицелился — просто прицелился — в фазана, который взлетел из кустарника за кухней. Раздался выстрел, и огненно-золотистая птица, убитая наповал, рухнула на лужайку. Ро-

да, которая мыла посуду в помещении при кухне, похвалила его за прекрасный выстрел и сказала, что ленч уже на столе.

Всю вторую половину дня он потратил на то, что с картой в одной руке и ружьем в другой обходил границы своих владений. Они лежали в неглубокой и совсем неживописной долине, окруженной со всех сторон лесами и разрезанной пополам ручьем. В верхнем течении ручья находился его собственный дом, а менее чем в полумиле от него, вниз по течению, посреди старого фруктового сада расположилась приземистая крестьянская усадьба красного цвета, возле которой громоздилось нечто напоминающее шлюзные ворота на Темзе, но только поменьше. Фрэнкуэл сразу сообразил, кому принадлежит этот дом. Мистер Сидней еще издали заметил его и что-то промычал насчет свинюшников и шлюзов. Эти последние представляли собой огромные раздвигающиеся ворота из довольно трухлявого дуба, перегораживающие ручей. Их массивные створы приходилось двигать ломом вдоль зазубренной железной балки, и когда мистер Сидней открыл их, вода в ручье сразу убыла наполовину. Завороженными глазами Мидмор следил за тем, как, словно по волшебству, понижается уровень

воды меж заросших ольхой берегов. И это тоже принадлежало ему.

— Понимаю, — сказал Мидмор. — Как интересно! А что это за колокол? — продолжал он, указывая на старый корабельный колокол, висящий на грубо сколоченной башне в конце флигеля. — Это что, бывшая часовня?

Некоторое время гигант с красными глазами безуспешно пытался что-то ответить и только яростно моргал.

— Да, — сказал он наконец. — Моя часовня. Когда вы услышите, как звонит этот колокол, вы поймете, что такое настоящий звон. И это все я построил. Никто другой не взялся бы за такое дело. Но думаю, вам это все равно.

Он закрыл шлюзные ворота, и вода в ручье с ворчаньем и чмоканьем снова поднялась до прежнего уровня.

Мидмор отправился дальше, сознавая, что, если бы в беседе участвовала Рода, ему было бы спокойнее.

Проходя мимо окон, он заметил в одном из них гладкую полную женщину с седыми волосами, аккуратно разделенными на прямой пробор под вдовьим чепцом; женщина сделала ему почтительный реверанс. И хотя в соответствии с кредо

Радикально Левых она имела полное право на самовыражение всеми доступными ей способами, этот реверанс возмутил Мидмора до глубины души. А по дороге домой его окликнул из-за забора какой-то явный идиот, который завывал и пританцовывал вокруг него, пытаясь что-то сказать.

— Что было надо от меня этому чудовищу? — спросил Мидмор за чаем.

— Джимми? Он всего-навсего хотел узнать, не нужно ли вам отправить какую-нибудь телеграмму, — ответила Рода. — Он совершенно нормальный, пока не наткнется на текущую воду. Тогда у него будет припадок. И даже если в разговоре с ним просто упомянуть про воду, у него начинаются судороги.

— Почему же его не поместят туда, где за ним будет соответствующий уход?

— А кому он мешает? Он незаконный ребенок, дитя любви, но его родители могут содержать его. Если его запереть в сумасшедшем доме, он сразу умрет от тоски, как дикий кролик в неволе. Не хотите ли взглянуть на аллею, сэр?

В сгущающихся сумерках Мидмор разглядел на посыпанной гравием аллее большие круглые следы, и такие же следы были на лужайке.

— Это ваши соседи возвращались с охоты, —

объяснила Рода. — После смерти полковника ваша бедная дорогая тетушка всегда разрешала им ездить по нашей аллее, чтобы не делать крюк. Полковник не пускал сюда посторонних, так как считал, что надо беречь природу, но ваша тетушка увлекалась охотой и была прекрасной наездницей, пока ее не скрутил радикулит.

— А нельзя ли найти кого-нибудь, кто заровнял бы дорогу граблями? — неопределенно спросил Мидмор.

— Конечно. И завтра утром здесь все будет в полном порядке. Но… вас не было, когда они возвращались домой; мистер Фишер — он хозяин имения — просил передать вам привет и сказать, что если вы разрешите им ездить по вашей аллее и старая договоренность останется в силе, то его карьер для добычи гравия будет всегда, как и прежде, к вашим услугам. Он подумал, что вам, возможно, об этом ничего не известно, и я тоже забыла поговорить с вами. Гравий у мистера Фишера прекрасный и очень украшает нашу аллею. Конечно, мы должны возить его из карьера, но…

Мидмор беспомощно посмотрел на нее.

— Рода, — сказал он, — что я должен сделать?

— О сэр, пусть они ездят по нашей аллее, — ответила она. — Кто знает, быть может наступит

день, когда и вы сами захотите поохотиться.

Вечером пошел дождь, и к Мидмору снова вернулось плохое настроение, с чем, как известно, труднее всего бороться. И вот он очутился в отделанной деревянными панелями комнате, именуемой «библиотека», и, пролистав несколько десятков томов, с трепетом осознал, какие ужасные наклонности крылись в душе покойного полковника Уэрфа. От этих фолиантов веяло смертью так же основательно, как и плесенью. Мидмор открывал и снова ставил на место книгу за книгой, пока внимание его не привлекли грубые цветные иллюстрации с изображением всадников[67]. Он наугад прочитал несколько страниц, потом перешел в гостиную и, не переставая читать, удобно устроился возле камина. Это был грязный, отвратительный мир, куда он заглянул первый раз в жизни, мир пьяниц и обжор, настоящий ад, населенный барышниками

---

[67] notes: 67

…цветные иллюстрации с изображением всадников. — Здесь и далее персонажи рассказа читают и обсуждают книги некогда популярного английского писателя Роберта Смита Сэртиса — он был современником и до некоторой степени соперником Диккенса. Как и молодой Диккенс, Сэртис взялся писать серию «охотничьих» приключений, но у Диккенса получился «Пиквикский клуб», а у Сэртиса — «Шутки и удовольствия Джороксов», второстепенная и ныне забытая книга, имевшая, однако, в свое время некоторый успех. Джороксы — преуспевающая буржуазная семья с претензией на «аристократизм».

и мошенниками, старыми своднями и юными девственницами без средств к существованию, стыдливо продававшими себя за недвижимость и просто за наличные богатым евреям, мелким лавочникам и всякому сброду в «диккенсовско-навозном духе» (по определению самого Мидмора). Но он все читал и читал, зачарованный сюжетом, и со страниц книги сходили ее персонажи: один из них, очень похожий на человека с красными веками у ручья, просил своего помещика (здесь Мидмор сообразил, что именно он был тем самым помещиком) построить ему новый сарай, а другой, тоже похожий на него самого, высказывал недовольство по поводу следов, оставленных на гравии лошадиными копытами. Каким бы чудовищным по своей концепции ни было содержание романа, кое-что в нем, несомненно, было списано прямо с натуры. Мидмор долго еще копался в книгах того же автора, пока в комнату не вошла Рода с серебряным подсвечником в руках.

— Рода, — спросил он, — вы когда-нибудь слышали о персонаже, которого звали Джеймс

Пиг[68]... и еще Бэтсей[69]?

— Конечно, слышала, — ответила Рода. — Полковник частенько захаживал на кухню в халате и читал нам вслух про всех этих Джороксов.

— О господи! — воскликнул Мидмор и, взяв под мышку книгу под названьем «Хэндлей Кросс», отправился в спальню, и луна в туманном ореоле еще никогда не видела более одинокого Колумба, странствующего в неведомых мирах.

* * *

Теперь мы опустим множество важных событий. Ведь Мидмор никогда не отрицал, что для подлинного эпикурейца важнейшим стимулом в проведении социальных исследований служат насущные потребности старого дома, очень четко сформулированные Родой, которая заметила, что сквозь черепицу над карнизом, лишь слегка скрепленную мхом, пробивается дневной свет. Кроме того, результаты пролонгированного исследования кажутся не такими

---

[68] notes: 68

Джеймс Пиг — шотландец, который служит у мистера Джорокса в охотниках

[69] notes: 69

Бэтсей — повар того же мистера Джорокса; в романе «Хэндли Кросс» сам мистер Джорокс превратился в сельского сквайра, любителя парфорсной охоты.

уж убийственно мрачными, когда подумаешь, что можешь в любой момент попасть в общество водопроводчиков (все водопроводы страдают хроническим аппендицитом), деревенских идиотов (Джимми уже взял Мидмора под свое хилое крыло, ежедневно поджидая его у ворот) и гиганта с красными веками, каждое действие которого — это непрогнозируемое надругательство над нормами поведения. Ближе к весне в доме появилось несколько друзей Мидмора из Радикально Левых. И вот настал день, когда одна подвода с кирпичами, а другая с песком и мешками извести двинулись к дому Сиднея, чтобы обеспечить строительство свинюшника, о котором он ежедневно напоминал. Мидмор пригласил своих друзей на небольшую экскурсию, чтобы показать им Сиднея как «тип крестьянина». Они подъехали к его дому как раз в тот момент, когда Сидней, охрипший от гнева, приказывал каменщику с его помощником и всеми подводами поворачивать оглобли. Расположившись поудобнее, гости приготовились послушать, что здесь происходит.

— Вы не предупредили меня заранее, что поросенка надо будет переместить в коровник, — кричал Сидней.

Между тем поросенок — по крайней мере, во-

семнадцати дюймов в длину — поднял голову и добродушно улыбнулся из своего свинарника.

— Но, дорогой мой… — начал Мидмор.

— Никакой я вам не дорогой! Вы не имеете права являться сюда и учинять здесь произвол. А вы учиняете произвол! Убирайтесь все отсюда, и чтобы ноги вашей не было на моей земле, пока я вас сам не позову.

— Но вы же сами просили… — Мидмор почувствовал, что у него срывается голос, — чтобы вам построили свинюшник.

— Допустим, просил. Но это еще не значит, что вы можете не ставить меня в известность о перемещении поросенка. Явились сюда без всякого предупреждения! А поросенка надо переводить в коровник…

— Тогда откройте дверь, и пусть он бежит в свой коровник, — сказал Мидмор.

— Не учиняйте здесь произвола! И убирайтесь к черту с моей земли. Я не потерплю произвола.

Подводы развернулись и двинулись в обратный путь, а Сидней вошел в дом, хлопнув дверью.

— Утверждаю, что это чрезвычайно знаменательный факт, — заявил один из гостей. — В сущности говоря, это логическое следствие многовекового феодального гнета — неистовство

страха.

Вся честная компания взирала на Мидмора с глубоким сожалением.

— Он же мне плешь проел со своим свинарником, — вот и все, что нашелся ответить Мидмор.

Пустившись в рассуждения, друзья Мидмора неопровержимо доказали, что если бы он более последовательно исповедовал учение Радикально Левых, то уже давным-давно вся земля была бы застроена «прелестными маленькими свинарниками», и строили бы их сами крестьяне в антрактах между спектаклями с исполнением народных танцев.

Мидмор почувствовал немалое облегчение, когда дверь снова распахнулась и мистер Сидней предложил им незамедлительно удалиться на дорогу, которая, как он подчеркнул, была в общественном пользовании. Повернув за угол, они увидели в окне полную женщину во вдовьем чепце, которая сделала каждому из них реверанс.

Они мгновенно нарисовали весьма драматическую картину жизни этой женщины, начисто лишенной каких-либо средств самовыражения — «прожив монотонную серую жизнь, она равнодушно встретила смерть», процитировал один из них, — и принялись рассуждать о той огромной

роли, которую призваны сыграть в провинции любительские спектакли. Всего лишь месяц назад Мидмор непременно выложил бы им все, что сам узнал и что рассказала ему Рода о способах самовыражения, к которым частенько прибегал мистер Сидней. Но в данном случае он почему-то не стал вмешиваться в беседу, предоставив своим друзьям полную возможность перейти от провинциального театра к театру столичному и, наконец, к театру в мировом масштабе.

После того как гости разъехались, Рода посоветовала ему самому съездить в город, «если ему уж очень захочется снова их увидеть».

— Но мы только немножко посидели на полу на диванных подушках… — начал оправдываться ее хозяин.

— Они уже не дети, чтобы устраивать такую возню, — возразила Рода. — И это только начало. Я видела то, что видела. И потом они черт знает что болтали и смеялись в коридоре, когда шли в ванные комнаты… и когда принимали ванну.

— Рода, не валяйте дурака, — сказал Мидмор.

Но ни один мужчина не сможет заставить замолчать женщину, на коленях которой лежала его голова.

— Очень хорошо, — фыркнула Рода, — но это

не меняет дела. А теперь вот что я вам скажу: отправляйтесь сегодня же вечером к Сиднею и поставьте его на место. Он был прав, когда говорил, что вы были обязаны заранее известить его о перемещении поросенка, но он не имел никакого права делать вам выговор в присутствии ваших гостей. Не умеет себя вести, не получит свинюшника. Он сообразит, чем это пахнет.

Мидмор приложил все усилия к тому, чтобы поставить мистера Сиднея на место. Он вдруг заметил, что ругает старика с удовольствием и в выражениях, какие еще никогда не употреблял в своей жизненной практике. Он завелся — заимствование из языка водопроводчиков — и объявил мистеру Сиднею, что тот похож на индюка, аморален, как приходский бык-производитель, и может выбросить из головы всякую надежду на новый свинюшник, пока он, Мидмор, жив.

— Очень хорошо, — согласился гигант. — Думаю, вы здорово разозлились на меня, раз пришли и выложили все начистоту, как мужчина мужчине. И правильно сделали. Я не сержусь. А теперь пришлите мне кирпичи и песок, и я сам построю этот свинюшник. Если вы заглянете в мой договор об аренде, то прочтете там, что обязаны обеспе-

чивать меня строительными материалами для ремонта помещений. Только… только я подумал, что не будет большой беды, если я попрошу вас… сделать *всю* работу.

Мидмор даже рот раскрыл от удивленья.

— Тогда какого же черта вы отослали обратно подводы и каменщиков, которых я прислал сюда именно для того, чтобы они сделали *всю* работу?

Мистер Сидней присел на шлюзные ворота, задумчиво сдвинув брови.

— Понимаете, — медленно ответил он, — это было бы, черт побери, все равно что обмануть младенца. И моя баба сказала то же самое.

В течение нескольких секунд учение Радикально Левых с их специфически радикальным чувством юмора боролось с учением Матери-Земли, у которой было свое чувство юмора. И тогда Мидмор расхохотался так, что едва мог устоять на ногах. Потом мистер Сидней тоже расхохотался; сначала это было хриплое рычание, которое, нарастая *crescendo*, в конце концов превратилось в могучий рев. Они пожали друг другу руки, и Мидмор отправился домой, нисколько не жалея, что в обществе своих друзей держал язык за зубами.

Подходя к дому, он встретил на дороге небольшую кавалькаду из нескольких мужчин и жен-

щин. Одежда и лица их были покрыты пылью. Мидмор уже сам порядком проголодался и потому спросил у них, не хотят ли они перекусить. Они ответили, что хотят, и Мидмор пригласил их в дом. Джимми принял у них лошадей, которые, видимо, были ему знакомы. Рода забрала их измятые шляпы, проводила дам наверх, чтобы они могли поправить прически, а потом накормила всех свежими булочками, яйцами-пашот и гренками с анчоусами; в завершение трапезы были поданы напитки из буфета Коромандельского дерева, о существовании которого Мидмор даже не подозревал.

— И я утверждаю, — сказала мисс Конни Сперрит, которая положила ногу на каминную решетку, а в руке с висящим на ней хлыстом держала горячую сдобу, — что Рода готовит замечательно. И всегда готовила замечательно. Я помню это с восьми лет.

— Вам было семь, мисс, когда вы начали охотиться, — заметила Рода.

— Итак, — продолжал мистер Фишер, магистр английских гончих — МАГ, обращаясь к Мидмору, — когда он обосновался на земле этого разбойника Сиднея, вашего арендатора, нам пришлось всех их выгнать отсюда вон. Этим подонкам здесь

настоящее раздолье. И они знают об этом. Да что там... — он вдруг понизил голос. — Я, конечно, не хочу сказать ничего плохого о Сиднее как об арендаторе, но я уверен, что старый негодяй способен отравить кого угодно.

— Сидней на многое способен, — прочувственно согласился Мидмор, но, как и в прошлый раз, распространяться на эту тему не стал.

Это была очень странная компания, и все же после того, как они с шумом и топотом высыпали во двор к своим лошадям, Мидмору показалось, что его дом — ужасно большой и весь какой-то взбудораженный.

Можно считать, что с этого дня началась его сознательно двойная жизнь. И проходила она в то лето в несколько необычных местах, как, например, в манеже возле Хейес Коммон или в тире неподалеку от Уормвуд Скрабз. Если полдня седло натирает вам ссадины, а ружейный приклад набивает синяки, то вечером вы чувствуете себя на лондонских раутах немного не в своей тарелке, а когда вам приходится платить по счетам за эти удовольствия, вы, естественно, сокращаете другие статьи расходов. И вот на доброе имя Мидмора упала тень. Его лондонские друзья начали поговаривать о том, что сердце

его становится все черствей, а узел на кошельке все туже, и это, несомненно, свидетельствует о его измене Делу, которому они служат. Один из них, наперсник прежних дней, потребовал у Мидмора отчета о его нравственном самосовершенствовании за последние несколько месяцев. Такового он не получил, ибо Мидмор в данный момент подсчитывал, во сколько ему обойдется ремонт конюшни, которая так обветшала, что даже деревенский идиот Джимми извинился перед гостями, заводя в стойла их лошадей. Бывший наперсник удалился и, чтобы досадить Мидмору, состряпал из эпизода со свинюшником газетный фельетон. Мидмор прочитал этот фельетон глазом не менее практичным, чем глаз женщины, а поскольку наибольшим опытом он обладал в сфере общения с прекрасным полом, то моментально нашел одну даму, которой мог рассказать о своих горестях, связанных с изменой близкого друга. Она проявила столько сочувствия, что Мидмор даже поведал ей о том, как его истерзанное сердце — о, как ей это знакомо — нашло у-утешение совсем в другом районе Лондона, местонахождение которого он охарактеризовал весьма неопределенно на случай, если об этом прознают его дорогие друзья. И поскольк-

ку его прозрачные намеки указывали прямо на снисходительный Хэмпстед[70], а его самым неотложным делом была покупка лошади у барышника на Бэкингем-уэй[71], он почувствовал, что провернул весьма удачную операцию. Через пару дней, когда его друг-борзописец заговорил с ним, соблазнительно улыбаясь, о «тайных садах» и тех у-утехах, на которые имеет право каждый, кто следует нормам Расширенной Морали, Мидмор одолжил ему пять фунтов, которые, когда он получил их обратно, пошли в уплату за гнедого мерина стоимостью девяносто гиней. Так что нельзя не согласиться с высказыванием, которое он прочитал в одной из книг покойного полковника Уэрфа: «Современный молодой человек предпочтет, чтобы поставили под сомнение его нравственность, нежели его умение разбираться в лошадях».

Более всего другого в данный момент Мидмор желал ездить верхом и не просто верхом, а гарцевать на гнедом мерине в черных яблоках, который стоил девяносто гиней и имел досадную привычку задевать за препятствия. И если

---

[70] notes: 70
Хемпстед — в то время окраина Лондона

[71] notes: 71
Бэкингем-уэй — самый центр.

не считать мистера Сиднея, любезно предоставившего в его распоряжение свой роскошный луг за шлюзными воротами, Мидмор никого не хотел посвящать в суть проблем, которые, как он справедливо полагал, возникнут у него осенью. Поэтому он сообщил друзьям, которые недвусмысленно намекали на свою готовность навестить его в имении в конце недели, что сдал в наем свой полученный в наследство дом. Эти деньги, сказал он, позволят ему поправить дела, поскольку за последнее время он потратил большие суммы на не совсем разумные благотворительные мероприятия. Он не хочет называть имен, но они могут сами догадаться. И они догадались и, как истинные друзья, предали весьма широкой огласке эту новость, которая проливала свет на многое.

Оставалась еще одна супружеская пара, его бывшие соратники, которых надо было как-то успокоить. Они были преисполнены сочувствия и самого дружеского расположения, но их вечно снедало любопытство, как и всех обезьян, чье вегетарианское меню стало составной частью их воинствующего радикализма. Мидмор встретил их в пригородном поезде, возвращаясь в город, когда не прошло и двадцати минут с тех пор, как

кончился его двухчасовой урок в манеже (одна гинея за час) по преодолению препятствий по программе курса повышенного типа. Конечно, он успел переодеться, но его левая рука, онемевшая от поводьев, слегка дрожала, придерживая газету. По наитию, которое является лучшим помощником настоящего лжеца, Мидмор тут же объяснил им, что врачи осудили его на полный покой. Вот уже много недель он лежит один в полутемной комнате, лишенный даже писем, и пьет молоко. Его удивило и обрадовало, как легко, оказывается, самая обыкновенная ложь воздействует на необыкновенный интеллект. Они проглотили ее в мгновение ока и даже посоветовали ему питаться орехами и фруктами; однако в глазах женщины он прочитал истинную причину, на которую она будет ссылаться, объясняя его вынужденное уединение… В конце концов она имеет такое же право на самовыражение, как и он сам, а Мидмор твердо верил в полное равенство полов.

Это уединение вызвало лишь один маленький всплеск в могучем потоке жизни. Дама, которая десять месяцев назад написала ему письмо на двенадцати страницах, теперь написала еще одно, на восьми страницах, с анализом мотивов,

по которым ей следовало бы вернуться к нему — хочет ли он этого? — раз он болен и одинок. И если очистить память от мелких ссор и горестных недоразумений, то многое можно еще вернуть. Было бы желание…

Но все желания и помыслы Мидмора были в данный момент сосредоточены на том дьявольском развлечении меж мокрых от росы рощиц, которое называется охотой на лис. Охота была назначена на утро.

— У вас неплохая посадка, — заметила мисс Сперрит, глядя на него сквозь утренний туман. — Но вы все время его осаживаете.

— Он очень натягивает поводья, — промычал в ответ Мидмор.

— Так оставьте его в покое. И не наткнитесь на ветку, — крикнула мисс Сперрит, когда они понеслись во весь опор через лес.

Лисы здесь водились в изобилии. Гончие подняли одного лисенка, который помчался из леса в направлении широкого поля.

— Стой! Назад! — закричал кто-то. — Верните их, Мидмор. Это земля вашего негодяя Сиднея. Здесь всюду проволока.

— О Конни, остановись! — взвизгнула миссис Сперрит, глядя, как ее дочь атакует живую изго-

родь на границе владений мистера Сиднея.

— К черту проволоку! Я убрал ее еще две недели назад. Вперед!

Это был голос Мидмора, который проделал брешь в изгороди немного ниже по склону.

— Я знала об этом! — крикнула Конни и поскакала через луг, по обыкновению что-то мурлыкая себе под нос.

— Ну конечно! Если у кого-то есть собственные источники информации, он может позволить себе толкаться, — заявила дама в амазонке табачного цвета, которую мисс Сперрит чуть не сшибла с лошади.

— Что? Мидмор обуздал Сиднея? Вам, Сперрит, этого никогда не удавалось, — сказал мистер Фишер, МАГ, расширяя брешь, проделанную Мидмором.

— Нет, черт его побери! — ответил мистер Сперрит запальчиво. — И скачите дальше, сэр! Injecto ter pulvere,[72] скоро ваша лошадь забьет мне все глаза землей из этой канавы.

Они убили лисенка совсем рядом с убежищем, в которое он бежал по совету своей мамы: это были те самые два акра земли, заросшей мож-

---

[72] notes: 72
Трижды обдав грязью (лат.).

жевельником, куда мистер МАГ не имел доступа последних пятнадцать сезонов. Стоя перед домом мистера Сиднея, он выразил благодарность всем участникам охоты и самому мистеру Сиднею.

— А если у вас будут какие-нибудь к нам претензии… — продолжал он, обращаясь к Сиднею.

— Никаких претензий не будет, — ответил Мидмор. — Ведь это было бы все равно, что обмануть младенца… Правда, мистер Сидней?

— Ваша взяла! — вот и все, что мог сказать мистер Сидней. — Вообще-то меня не возьмешь голыми руками, но… на этот раз ваша взяла, мас Мидмор.

Мидмор показал на новый свинюшник, выстроенный в нарушение условий договора о пожизненной аренде. Жест этот поведал историю свинюшника тем, кто еще не был в нее посвящен, и они одобрительно зашумели.

Эти языческие радости сменялись для Мидмора не менее языческой ленью вечеров, когда другие люди предаются безудержному веселью. Однако Мидмор предпочитал полежать на желтой шелковой кушетке с книгой самого возмутительного содержания или пойти в гости к Сперритам или еще каким-нибудь дикарям их пошиба. Там не требовалось игры ума или полета фантазии.

Они лгали без подъема и по необходимости, не из любви к искусству, и все они, и мужчины и женщины, придерживались раз и навсегда выработанной линии поведения со спокойным безразличием крупных животных. Потом он возвращался домой и узнавал их на страницах книг по естественной истории мистера Сэртиса, что лежали у него на столе рядом с диваном. Сначала эти люди относились к нему довольно равнодушно, но когда история об убранной проволоке и отвоеванных для охоты двух акрах, поросших можжевельником, получила широкую огласку, они признали его как партнера, принимающего их правила игры. Правда, они не торопились с вынесением окончательного решения, поскольку были страстными охотниками и опасались, что Мидмор скорее будет служить прекрасной маммоне, разводя фазанов, чем преследовать лис во славу страшноватого бога охоты. Но после того, как он выбрал охоту, они не стали спрашивать, какой интеллектуальный процесс привел его к этому выбору.

Он охотился три, а иногда и четыре раза в неделю, для чего ему понадобился не только гнедой мерин (94 фунта 10 шиллингов), но и хорошо воспитанный гнедой жеребец в белых

чулках (114 фунтов), а также вороная кобыла с несколько длинноватым крупом, но зато с губами мягкими, как шелк (150 фунтов), настолько явно оказывающая предпочтение дамам, что было бы просто жестоко упустить ее. Кроме того, Мидмор справедливо полагал, что при таком деликатном обращении это восхитительное существо можно будет с выгодой продать. И потом их охота — это спокойная, почти интимная, милая, маленькая охота, без участия посторонних, не жаждущая хвалебных отзывов в «Филде»[73], где заправляет некий малоприятный МАГ, охота, исполненная радушия, имеющая своих собственных лошадей и к тому же состоящая не из новичков, за исключением Мидмора, а из опытных охотников. Правда, после того как мистер МАГ сделал несколько замечаний Мидмору, мисс Сперрит сказала:

— Очень жаль, но пока что вы действительно ничего не знаете, кроме собственной лошади. Однако придет время, и вы всё узнаете. Для этого нужны годы и го-о-ды. Вот я занимаюсь этим пятнадцать лет и все еще только учусь. А вы совсем неплохо начинаете.

И Мидмор начал учиться, не обращая внимания

---

[73] notes: 73

«Филд» — модный в то время охотничье-спортивный журнал.

на ветер, дождь и грязь и совершенно искренне удивляясь, чем его притягивают бурлящие под ливнем канавы и залитые водой луга и почему он с таким упоением гоняет по двору конюхов и каменщиков.

Чтобы ответить на эти вопросы, он вырвался в конце недели из царства зимних проливных дождей и снова вступил в некогда покинутый им мир, подобно Галахаду[74], исцеленному отдыхом. Глядя через его плечо в ожидании следующего гостя, его прежние друзья все, как один, согласились, что Мидмор стал совершенно другим человеком. Когда же они спросили у него о симптомах нервного истощения и перешли к своим собственным недугам, он понял, что в значительной мере утратил свое прежнее искусство *лжи*. Кроме того, за три месяца отсутствия в лондонском обществе он безнадежно отстал от жизни. Здесь изменилось все — тактика игры, характер намеков и даже жаргон. Старые пары распались и образовались новые пары, а порой и целые треугольники, в результате чего Мидмор не раз попадал впросак. Лишь один великий муж (тот, кто сделал репортаж об эпизоде со сви-

[74] notes: 74

…подобно Галахаду… — Сэр Галахад — один из рыцарей Круглого Стола.

нюшником) не дрогнул под натиском времени, и Мидмор одолжил ему еще пять фунтов за стойкость и прямоту. Промозглым утром некая дама пригласила его присутствовать при провозглашении Единства Импульса в Человечестве, что было воспринято Мидмором как многосложное выражение повседневной практики мистера Сиднея плюс громогласный призыв «вернуть цивилизации здравый смысл».

— Вы не зайдете ко мне завтра к чаю? — спросила она после ленча, разгрызая орешки, которые брала из блюдечка.

Мидмор ответил, что, когда долго отсутствуешь, накапливается множество неотложных дел.

— Но вы вернулись такой сильный и здоровый… И я надеюсь, что Дэфни — так звали автора писем на двенадцати и восьми страницах — тоже будет с нами. Она не разобралась тогда в своих чувствах, как это часто бывает… — бормотала собеседница Мидмора, — но я думаю, в конце концов… — и она всплеснула своими тонкими маленькими ручками. — Во всяком случае, подобного рода недоразумения каждая мятущаяся душа должна улаживать в своих же собственных интересах.

— Да, конечно, — согласился Мидмор с глубо-

ким вздохом.

Эти грязные уловки произрастали в этой грязной атмосфере так же изобильно, как грибы в навозной яме. Внезапно он погрузился в глубокую задумчивость, потом покачал головой, словно его терзали какие-то неясные воспоминания, и тут же удалился без всяких церемоний, не прощаясь, чтобы успеть к двенадцатичасовому экспрессу, где всегда можно встретить приятелей, которые всю дорогу говорят о лошадях и о погоде и о том, как погода влияет на лошадей. Больше всего его огорчало то, что он потерял целый день, который мог провести со своими гончими.

Он, не дрогнув, выдержал пристальный взгляд Роды; в этот сырой и холодный вечер в гостиной, где они пили чай, было тепло и уютно. В конце концов его поездка в Лондон была не такой уж неудачной. Он сжег целый мешок писем у себя в квартире. Квартира… — он машинально подошел к истрепанным томам возле софы, — квартира — это прожорливый зверь. А что касается Дэфни… он открыл наугад одну из книг и прочитал: «И его светлость увидел картину необыкновенной красоты и силы…» Но мысли его возвращались к Дэфни: «И я все время думал… А она… Мы все были болтуны и комедианты… Я болтал не так

уж много, слава богу… зато вдохновенно ломал комедию». Он перелистал назад несколько страниц Sortes Surteesianae и прочитал: «Когда гости наконец встали, чтобы идти спать, и начали подниматься по лестнице, у каждого вдруг возникла мысль, что все они еле волочат ноги, с трудом переступая со ступеньки на ступеньку». Мидмор громко рассмеялся, глядя на огонь в камине.

— Как насчет завтра? — спросила Рода, входя в комнату; на плече у нее висела одежда. — Все время, пока вас не было, лил дождь. За пять минут вас всего залепит грязью. Сейчас лучше не ходить в парадном костюме. Боюсь, после стирки ваша одежда немножко села. Померьте-ка, пожалуйста.

— *Здесь*?

— Где вам будет угодно. Я купала вас, когда вы были меньше, чем нога ягненка, — заявила бывшая служанка его тетушки.

— Рода, на днях я найму камердинера и женатого дворецкого.

— Много разумных вещей, к сожалению, говорят только в шутку… Но завтра никто не поедет на охоту.

— Почему? Они отменили встречу?

— Они сказали, что в такой грязи лошади сколь-

зят и засекаются, и сегодня они уже испытали это удовольствие. Я только что говорила с Чарли.

— Ого!

Видимо, слово личного секретаря мистера Сперрита имело вес.

— Чарли приходил помочь мистеру Сиднею поднять ворота, — продолжала Рода.

— Шлюзные ворота? Но теперь они открываются очень легко. Я оборудовал их колесом и воротом.

— Когда вода в ручье прибывает, створы нужно совсем поднять, чтобы их не забило всяким хламом. Вот почему пришел Чарли.

Мидмор нетерпеливо проворчал:

— С тех пор как я здесь, мне все уши прожужжали про этот ручей. Но пока что он ничего такого не натворил.

— Лето было сухое, — ответила Рода. — Если хотите взглянуть, я принесу фонарь.

И они окунулись в бескрайнюю промозглую ночь. На полпути к лужайке свет фонаря отразился в мелкой, бурой от грязи воде, проколотой по краям стебельками травы. А дальше, за полосой света, между кустами и стволами деревьев, извивался и неистовствовал ручей.

— Что же теперь будет с нашим розарием? —

были первые слова Мидмора.

— Обычно после наводнения клумбу приходится насыпать заново. Ах! — Рода подняла фонарь. — Вон, смотрите, два садовых кресла ударяются о циферблат солнечных часов. Да, розам от этого не поздоровится!

— Какой абсурд! — воскликнул Мидмор. — Ведь должна же быть какая-то продуманная система… чтобы… бороться с такими вещами.

Он долго вглядывался в стремительно несущуюся муть. Казалось, воде и грохоту не будет конца. А пока он был в городе, он не заметил ничего такого, что его могло бы насторожить…

— Тут уж ничего не поделаешь, — сказала Рода. — Каждый раз одно и то же и, к сожалению, слишком часто. Пойдемте-ка лучше домой.

Казалось, вся земля у них под ногами, превратившись в тысячи хлюпающих звуков, медленно сползает к хрипло ревущему ручью. В доме кто-то отчаянно завывал:

— Боюсь воды! На помощь! Боюсь воды!

— Это Джимми. Вода всегда действует на него таким образом, — объяснила Рода.

Несчастный бросился к ним навстречу, дрожа от страха.

— Молодец, Джимми! Какой ты молодец, Джим-

ми! Иди в комнату. А что Джимми нам принес? — говорила Рода нараспев.

Джимми принес промокшую записку, которая гласила:

«Дорогая Рода! Мистер Лоттен, с которым я возвращалась сегодня вечером домой, сказал, что, если дождь не прекратится, пруд, который он вырыл у старой мельничной плотины Коксена, может разлиться, как это уже было однажды, когда размыло плотину. Если это произойдет, вся вода хлынет в ручей. Может быть, все и обойдется, но, вероятно, вам надо быть настороже. К. С.».

— Если плотину Коксена прорвет, это означает… Я пойду заберу ковер из гостиной и отнесу его наверх, так будет спокойнее. Молоток с клещами в библиотеке.

— Одну минуту. Вы сказали, что шлюзные ворота Сиднея подняты?

— Да, оба створа. Это может выручить его, если пруд Коксена разольется… Один раз я уже видела, как это происходит.

— Я только схожу к Сиднею. Рода, зажгите, пожалуйста, фонарь.

— *Его* вы с места не сдвинете. Он живет там с

самого дня рождения. Но *она* ничего этого еще не знает. Я схожу за вашим плащом и высокими сапогами.

— Боюсь воды! Боюсь воды! — рыдал Джимми, забившись в угол и закрыв глаза руками.

— Все в порядке, Джимми! Джимми может поиграть с ковром, — говорила Рода, когда Мидмор выходил из дома в окружающий мрак и рев стихии.

Он никогда еще не попадал в такое нелепое положение, когда ровным счетом ничего нельзя поделать. Внезапно он увидел в бушующем потоке отражение еще одного фонаря.

— Эй! Рода! Вы получили мою записку? Я пришла, чтобы знать это наверняка. А потом подумала: а вдруг Джимми испугался воды!

— Это я, мисс Сперрит, — закричал Мидмор. — Да, мы получили вашу записку, спасибо.

— Тогда возвращайтесь домой. О господи!.. У вас что-нибудь случилось?

— Нет, ничего. Я просто иду к Сиднею посмотреть, что у него там делается.

— *Его* вы не убедите оставить дом. Хорошо, что я встретила Боба Лоттена. Я говорила ему, что нельзя запруживать воду из-за этих дурацких форелей, пока он не перестроил плотину.

— Это далеко отсюда? Я был там только один раз.

— Всего каких-нибудь четыре мили — и вода будет здесь. Он сказал, что открыл все шлюзы.

Конни повернулась и пошла рядом с ним, наклонив голову в надвинутом на лоб капюшоне, по которому сбегали последние струйки дождя. Как обычно, она что-то мурлыкала себе под нос.

— Ради всего святого, зачем вы вышли в такую погоду? — спросил Мидмор.

— Когда вы ездили в Лондон, здесь было еще хуже. Теперь дождь почти прекратился. Если бы не этот пруд, я бы так не беспокоилась. Слышите, колокол Сиднея! Скорее!

Она бросилась бежать. Надтреснутый звон колокола слабо разносился над долиной.

— Не сходите с дороги! — крикнул Мидмор.

В канавах, полных до краев, хлюпала вода, поля по берегу ручья были тоже залиты водой и, казалось, медленно плыли во мраке ночи.

— Не беспокойтесь, с дороги я не сойду, — ответила Конни. — У него горит свет, значит, там все в порядке.

Облегченно вздохнув, она остановилась.

— Но вода уже в саду. Посмотрите!

И она стала размахивать фонарем, освещая

передний ряд старых яблонь, отражавшихся в тихой, широко разлившейся воде за полузатопленной изгородью. Сверху доносилось глухое постукивание шлюзных ворот да еще какой-то прерывистый визг на два голоса, монотонный, как сирена.

— Верхний голос — это поросенок, — рассмеялась мисс Сперрит.

— Прекрасно! Я заберу *ее* отсюда. А вы стойте там, где стоите; потом я провожу вас домой.

— Но вода еще только-только перелилась через дорогу, — запротестовала она.

— Неважно. И не двигайтесь с места. Обещаете?

— Ладно. Тогда возьмите мою палку и ощупывайте дорогу, чтобы не попасть в какую-нибудь яму. Вода могла смыть сейчас все что угодно. Послушайте, ведь это жаворонок!

Мидмор взял палку и ступил в воду, которая медленно заливала дорогу, что вела к дому Сиднея от самого шоссе. Вода уже доходила ему до колен, когда он постучал в дверь. Оглянувшись назад, он увидел, что фонарь мисс Сперрит словно плавает посреди океана.

— Я не могу вас впустить, а то вместе с вами сюда попадет вода, — закричал мистер Сидней.

— Я заткнул все щели. Кто вы?

— Заберите меня отсюда! Заберите меня отсюда! — отчаянно завизжала женщина, и ее энергично поддержал поросенок из свинарника за домом.

— Я — Мидмор! Старую мельничную плотину Коксена, говорят, вот-вот прорвет. Выходите!

— Я говорил, что ее прорвет, когда они выкопали там пруд и стали разводить рыбу. А плотину-то как следует не укрепили. Впрочем, долина довольно широкая. Воде есть где разлиться… Замолчи, а то я засуну тебя в погреб!.. Идите домой, мас Мидмор, и подайте в суд на маса Лоттена, как только смените носки.

— Черт бы вас подрал! Скоро вы вылезете из своей берлоги?

— Зачем? Чтобы умереть от холода? Мне и здесь хорошо. Я все это уже видел. А вот ее вы можете забрать. От нее ни радости, ни пользы… Лезь через окно. Я же говорил тебе, дура ты этакая, что заткнул все дверные щели.

Окно открылось, и женщина бросилась на руки к Мидмору, чуть не сбив его с ног. Мистер Сидней высунулся из окна с трубкой во рту.

— Заберите ее к себе домой, — сказал он и пророчески добавил:

Две женщины в одном домишке,
Две кошки в ссоре из-за мышки,
Две собачонки — кость одна:
Пусть их рассудит сатана.

Я все это уже видел.

Он плотно закрыл и запер окно.

— Повозку! Повозку! Вы должны были достать мне повозку. Я промокну и утону, — причитала женщина.

— Перестаньте! Мокрее, чем вы есть, вы уже не будете. Пошли!

Ему не доставляло ни малейшего удовольствия ощущение воды, заливающей ноги выше голенищ.

— Ура-а-а! Скорее! — Фонарь мисс Сперрит весело раскачивался в каких-нибудь пятидесяти ярдах от них.

Женщина метнулась к фонарю, как перепуганная гусыня, споткнулась и упала на колени, однако Мидмор одним рывком поднял ее, и она снова побежала, пока не свалилась у ног Конни.

— Если вы тотчас же не отправитесь в дом к мистеру Мидмору, то схватите бронхит, — сказала мисс Сперрит без капли сочувствия в голосе.

— О боже! О боже! Да простит мне наш небесный отец мои прегрешения и призовет меня

вернуться домой, — рыдала женщина. — Но я не хочу идти в *этот* дом! Не хочу!

— И прекрасно. Оставайтесь здесь. Если мы побежим, — шепотом сказала мисс Сперрит Мидмору, — она последует за нами. Только не слишком быстро!

Они пустились легкой рысцой, а женщина заковыляла следом за ними, стеная на ходу, как вдруг они увидели третий фонарь: это были Рода и Джимми, которого она держала за руку. Рода сказала, что отнесла ковер наверх, и теперь провожала Джимми домой, потому что он боялся воды.

— Все в порядке, — сказала мисс Сперрит. — Рода, заберите миссис Сидней и уложите ее в постель, а я возьму Джимми с собой. Ведь ты больше не боишься воды, Джимми, правда?

— Теперь я ничего не боюсь. — Джимми взял ее за руку. — Только уйдем подальше от этой воды. Ладно?

— Я пойду с вами, — вмешался Мидмор.

— Никуда вы не пойдете. Вы насквозь промокли. Ведь эта дура дважды обрызгала вас с головы до ног. Идите домой и переоденьтесь. Возможно, вам всю ночь придется шлепать по воде. Сейчас только половина восьмого. А мне ничто не

угрожает.

Легко перескочив через перелаз, Конни стала быстро подниматься по тропинке по склону холма и скоро была почти в полной безопасности вдали от бурного потока, заливавшего долину.

Рода молча препроводила миссис Сидней домой.

— Ваша одежда на кровати, — сказала она Мидмору, когда тот вошел в комнату. — А за *этой* я присмотрю. Нечего ей реветь.

Мидмор поспешил переодеться в сухой костюм и быстро взбежал по склону холма; в награду за свое проворство он успел заметить свет фонаря, заворачивающего в ворота дома, где жили Сперриты. Возвращаясь домой мимо усадьбы Сиднея, он увидел там слабый свет, мерцающий над тремя акрами блестящей, как зеркало, воды, потому что дождь прекратился и небо почти очистилось от облаков, хотя ручей шумел громче, чем когда бы то ни было. Теперь оставался лишь этот сомнительный пруд, который в любой момент мог дать о себе знать… пруд да еще этот захлестнутый наводнением мир, брошенный на его и только его попечение.

— Нам придется не спать всю ночь, — сказала Рода после ужина.

А поскольку из гостиной открывался самый лучший вид на панораму поднимающейся воды, они сидели там долго-долго, глядя в окно, и все часы в доме составили им компанию.

— Нет, не вода, а грязь, которая останется на плинтусе после того, как вода сойдет, — вот что меня беспокоит больше всего, — прошептала Рода. — Прошлый раз, когда прорвало плотину Коксена, я помню, как вода поднялась до второй… нет, до третьей ступеньки на лестнице Сиднея.

— И что же сделал Сидней?

— Он сделал зарубку на ступеньке. И еще сказал, что это рекорд. Это в его духе.

— Вода подошла к самой аллее, — сказал Мидмор еще через несколько минут томительного ожидания. — А ведь дождь прекратился, помните, когда еще не было восьми.

— Значит, плотину Коксена прорвало, и это первый натиск воды, которая идет оттуда.

Стоя рядом с Мидмором, Рода пристально вглядывалась в темноту. Под внезапно усилившийся грохот ручья вода прибывала резкими пульсирующими ударами, поднимаясь каждый раз на один-два дюйма, образуя широкие выступы и лагуны.

— Нельзя же все время стоять. Возьмите стул,

— посоветовал Мидмор, немного помолчав.

Рода оглядела голую комнату.

— Стоит убрать ковер, и совершенно другой вид… Спасибо, сэр, я сяду.

— Вода уже перехлестнула через аллею, — сказал Мидмор. Он открыл окно и высунулся. — Рода, ветер дует от нас, в долину?

— Нет, он дует на нас! Но так бывало и раньше.

Стоял такой грохот, словно волны прибоя разбивались о зазубренные рифы, и в течение двадцати минут грохот этот заглушал все остальные звуки. Широченная полоса воды быстро подступала к маленькой террасе, на которой примостился их дом, огибала углы, поднималась все выше и выше, растягивалась, зияя при свете луны черными разрывами, соединялась с другими такими же полосами, терпеливо поджидая их в незаметных глазу углублениях, и все сливались в одну. Последовал новый порыв ветра.

— Вода у самой стены, — сказал Мидмор. — Я могу дотронуться до нее пальцем.

Он перегнулся через подоконник.

— Я слышу, как она заливается в погреб, — скорбно заметила Рода. — Впрочем, мы сделали все, что могли. Пойду взгляну, что там делается.

Она вышла из комнаты, и в течение получаса

или немного больше, пока она отсутствовала, Мидмор наблюдал, как поток воды тащит через лужайку огромное дерево с обнаженными корнями. Потом о стену ударился плетень, зацепился за железный скребок перед домом, и по воде пошла рябь. Струя воды, льющаяся в погреб, заметно уменьшилась.

— Вода убывает, — закричала Рода, входя в комнату. — Теперь она стекает в погреб лишь тонкой струйкой.

— Одну минуту… Я, кажется… Я, кажется, вижу, как из-под воды появляется скребок в конце аллеи!

А еще минут через десять появилась и сама аллея, которая все более твердела, по мере того как с гравия стекала вода в окаймлявший ее кустарник.

— Пруд уже опустел! — объявила Рода. — Теперь мы будем иметь дело с самым обычным наводнением. Идите лучше спать.

— Мне надо было бы зайти к Сиднею, до того как начнет светать.

— Совсем не обязательно. Из окон второго этажа вы можете увидеть, что у него горит свет.

— Кстати, я совсем забыл о *ней*. Где она?

— В моей постели, — ответила Рода ледяным

голосом. — Не стану же я приводить в порядок комнату специально для этой дряни.

— Но… здесь уж ничего не поделаешь. Она чуть не захлебнулась. И потом, не стоит считаться с предрассудками, Рода, даже если ее положение не совсем… э… обычное…

— Пффф! Меня это нисколько не волнует. — Она наклонилась к окну. — Появляется край лужайки. Вода сходит так же быстро, как и прибывала. Дорогой мой… — ее тон так резко изменился, что Мидмор чуть не подскочил от удивления. — Дорогой мой, разве вы не знаете, что я была у него первая? Вот почему это все так невыносимо.

Мидмор смотрел на ее длинную, как у ящерицы, спину и не мог произнести ни слова.

Она продолжала, говоря по-прежнему в черное оконное стекло:

— Ваша бедная дорогая тетушка была очень добра ко мне. И она сказала, что выделит необходимые средства… но только для одного… Только для одного… Кстати, вы знаете, кто такой Чарли?

— Я всегда думал, что это ваш племянник.

— Да, да, — сказала она жалобно. — Неужели никто об этом вам так и не сказал?.. Но Чарли с самого начала избрал свой собственный путь!.. А *эта* — там, наверху… — у нее никогда никого не

было. Она просто экономка, так сказать. Эдакая тварь! Повернулась и сразу пошла спать. Да еще имела наглость попросить горячего хереса.

— И вы дали ей?

— Я? Ваш херес? Нет!

Внезапно Мидмор вспомнил непристойную песенку, которую пропел ему Сидней из окна своего дома, и еще вспомнил длинный нос Чарли (казалось, нос этот выражал тогда известную заинтересованность), когда он просматривал копии последних четырех завещаний миссис Уэрф, и несколько раз чихнул.

— От этой сырости вы еще и заболеете, — сказала Рода. — Вон, вы уже чихаете! А это верный признак простуды. Лучше ложитесь в постель. Все равно вы сейчас ничего не можете сделать, разве только решить… — она стояла выпрямившись, строго скрестив руки на груди, — решить, как поступить со мной.

— А как я должен с вами поступить? — спросил Мидмор, засовывая в карман носовой платок.

— Теперь, когда вы все знаете, что вы собираетесь делать?

Ответ был запечатлен на ее худой щеке еще до того, как она закончила свой вопрос.

— Рода, посмотрите, пожалуйста, чтобы мы

могли с вами поесть. И не забудьте про пиво.

— Думаю, в кладовой все плавает, — ответила Рода, — но бутылки от сырости не портятся.

Она вернулась с полным подносом, они ели и пили и наблюдали за отступающей водой до самого утра, когда рассвет обратил свой затуманенный взор на остатки того, что еще совсем недавно было прекрасным садом. Мидмор, продрогший и усталый, вдруг заметил, что мурлычет себе под нос:

Поток нахлынул, смыл стада,
Дома, ограды разметал…

Рода, у нас не осталось ни одной розы!

…Погибли многие тогда,
И каждый о своих рыдал…

Это обойдется мне в сотню фунтов.

— Теперь, когда мы знаем самое худшее, — ответила Рода, — мы можем спокойно идти спать. Я лягу в кухне на диване. У него все еще горит свет.

— А *она*?

— Грязная старая кошка! Если бы вы слышали, как она храпит!

В десять часов утра, проведя весьма грустный

час в своем собственном саду на берегу медленно отступающего ручья, Мидмор отправился посмотреть, какой ущерб был нанесен Сиднею. Первый, кого он встретил, был поросенок, взывающий к небесам о завтраке и белый как снег, потому что вода вымыла его из его нового свинарника. Парадная дверь была распахнута, и наводнение зарегистрировало свою высоту в виде грязно-бурой полосы, опоясывающей стены. Мидмор прогнал поросенка и позвал хозяина.

— Я в постели, конечно, — отозвался тот откуда-то сверху. — На сколько ступенек она поднялась? На четыре? Тогда она побила все рекорды. Идите сюда наверх.

— Вы больны? — спросил Мидмор, входя в комнату.

Красные веки весело моргали. Лежа под великолепным стеганым одеялом, мистер Сидней спокойно курил.

— Так! А я лежу и благодарю бога за то, что не я здешний помещик. Велик ли ущерб?

— Вода сошла еще не настолько, чтобы можно было все осмотреть.

— Эти ваши шлюзные ворота снесло куда-то далеко вниз по течению ручья; и ваш розарий отправился вслед за ними. А я вот спас своих

цыплят. Вы бы сходили к мистеру Сперриту и привлекли к суду этого Лоттена за его рыбный пруд.

— Нет, спасибо. У меня и без того хватает хлопот.

— Уже хватает? — ухмыльнулся мистер Сидней. — Как вы поступили вчера вечером с этими двумя моими бабами? Думаю, что они подрались.

— Ах вы проклятый старый негодяй! — рассмеялся Мидмор.

— Иногда — да, иногда — нет, — безмятежно ответил мистер Сидней. — А вот Рода меня не оставила бы вчера вечером. Пожар ли, наводнение — она была бы со мной.

— Почему вы не женились на ней? — спросил Мидмор.

— Слишком большая трата денег. Она была согласна и без женитьбы.

Внизу послышались шаги, ступающие по песку, и чей-то мурлыкающий голос. Мидмор тотчас же вскочил.

— Итак, — сказал он, — я вижу, что у вас все в порядке.

— Все в порядке. Я не помещик, не молод, ничего не хочу. О мас Мидмор! Разве что-нибудь изменили бы ее ежегодные тридцать фунтов,

если бы я на ней женился? Впрочем, Чарли, возможно, и сказал бы, что изменили.

— Правда? — спросил Мидмор, подойдя к двери. — А что сказал бы Джимми по этому поводу?

— Джимми? — усмехнулся мистер Сидней, когда шутка дошла до него. — Но ведь он — не мой. Это уже забота Чарли.

Мидмор захлопнул дверь и сбежал вниз по лестнице.

— Да, это… настоящий разгром, — воскликнула мисс Сперрит, на которой была очень короткая юбка и очень тяжелые сапоги. — Я пришла посмотреть, что здесь делается. «Наш старый мэр залез на колокольню», — промурлыкала она. — Всю ночь пестовали свое семейство?

— Почти! Что, разве не веселое занятие?

Дверь на лестницу была открыта, и Мидмор показал на кучу веток, лежавших на трех нижних ступеньках.

— Это рекорд, однако, — заметила она и тихо спела:

Поток нахлынул, смыл стада,
Дома, ограды разметал,
Погибли многие тогда,
И каждый о своих рыдал.

— Вы всегда напеваете это, — вдруг сказал Мидмор, когда она прошла в комнату, где грязные скользкие стулья лежали в беспорядке на полу, как суда, севшие на мель.

— Правда? Возможно, что вы и правы. Говорят, я всегда что-нибудь мурлыкаю себе под нос, когда еду верхом. Вы заметили?

— Конечно, заметил. Я замечаю каждый…

— О! — прервала она его и поспешно продолжала: — Это из деревенской кантаты, которую мы пели прошлой зимой, — «Невесты Эндерби».

— Нет! «Высок прилив на бреге Линкольншира». — Мидмор почему-то сказал это с некоторым вызовом.

— Именно так. — Она показала на запачканные стены. — Мне кажется… Давайте расставим мебель… А вы тоже знаете эту песенку?

— Конечно. От первого и до последнего слова. Ведь вы пели ее.

— Когда?

— В самый первый вечер, когда я приехал сюда. Было уже темно, вы проезжали мимо окна гостиной и пели: «Хоть обыщите целый свет…»

— Я думала, что в доме никого нет. Ваша тетушка всегда разрешала нам ездить напрямик по аллее. Мо… может быть, вынесем стол в коридор?

Рано или поздно, все придется вынести отсюда. Возьмите за тот край.

Они начали поднимать тяжеленный стол. Задыхаясь от усталости, оба говорили односложно и отрывисто, а их лица стали белыми, как только что вымытый и очень голодный поросенок.

— Осторожно! — крикнул Мидмор; ноги вдруг выскользнули из-под него, а стол, отчаянно хрюкая, накренился и так толкнул Конни, что она куда-то исчезла.

Даже дикий азиатский кабан не сразил бы юную пару с такой научной точностью и сноровкой, но этот маленький поросенок, не обладая дерзостью своего великого предка, с визгом перескочил через их поверженные тела и пустился наутек.

«Вы не ушиблись, дорогая?» — было первое, что спросил Мидмор, и «Нет, только испугалась немного» услышал он в ответ, поднимая ее с пола; ее шляпка сдвинулась на один глаз, а на правой щеке темнело грязное пятно.

* * *

Спустя некоторое время они дали поросенку куриного корма, который нашли в уютном амбаре Сиднея, ведро пахтанья из маслобойни и несколь-

ко луковиц, что лежали в кухне на полке.

— Вероятно, это посевной лук, — заметила Конни. — Впрочем, вы еще услышите об этом.

— Ну и пусть посевной. Каждую из этих луковиц следовало бы позолотить. И потом — мы должны купить этого поросенка.

— И держать его при себе до конца дней, — согласилась Конни. — Но теперь мне пора идти домой. Понимаете, когда я выходила, я и не думала, что… А вы?

— И я тоже! Да… Это должно было произойти… Но если бы час назад мне кто-нибудь сказал!.. Эта ужасная комната… грязный ковер…

— Да, да! Как теперь моя щека — чистая?

— Не совсем. Дорогая, дайте мне на минутку ваш платок… Ну и кувырнулись же вы!

— Не вам говорить. Помните, как вы трахнулись подбородком о стол да еще сказали «бах»! Я чуть не рассмеялась.

— Когда я поднимал вас с пола, дорогая, по-моему, вам было не до смеха. Вы протяжно о-о-охали, как маленькая сова.

— Мое дорогое дитя…

— Повторите еще раз!

— Мое дорогое дитя. (Вам это правда нравится? Так я называю своих лучших друзей.) Мое до-ро-

гоо-е дитя! Я думала, что на мне живого места не останется. Он сразил меня наповал — наш ангел-хранитель!.. Но мне действительно пора идти.

Они вместе вышли из дома, изо всех сил стараясь не взяться за руки.

— Но не через поле, — сказал Мидмор возле перелаза. — Вы можете пройти… мимо вашего собственного дома.

Конни вспыхнула от негодования.

— Все равно очень скоро он станет вашим, — продолжал Мидмор, потрясенный собственной дерзостью.

— Не будьте таким скоропалительным, пожалуйста! — Словно испуганный жеребенок, она метнулась от него через дорогу, но как только вдали появились ворота и аллея, она тут же успокоилась, и глаза у нее загорелись любопытством.

— А вы не будьте такой жеманной, мадам, — парировал Мидмор, — не то я перестану пускать вас на нашу аллею.

— О, я буду хорошей! Я буду очень хорошей! — Внезапно голос ее изменился. — Клянусь, что я постараюсь быть хорошей, дорогой. Но до этого мне еще очень далеко. Право, не знаю, что вы во мне нашли…

— Я хуже вас… гораздо хуже! Бесконечно и

неизмеримо хуже. Но теперь это не имеет никакого значения.

Они остановились у ворот.

— Да, конечно! — сказала она задумчиво, глядя, как совершенно мокрая коляска подъехала к крыльцу, на котором Рода вытряхивала влажный коврик. — Да… Теперь мне действительно пора домой. Нет! Не ходите за мной. Сначала я должна поговорить с мамой наедине.

Он долго провожал ее взглядом, пока она не исчезла на вершине холма.

ВОИНСКИЕ ПОЧЕСТИ[75]

Перевод Е. Суриц

Крытая машина шла за мной от Гилдфорд-роуд до самого поворота к наследственным владеньям Новичка, потом свернула к конюшням.

— Посидим втроем, тихо-спокойно. Умник наверху, переодевается. Ужин в семь пятнадцать, и не опаздывать. Есть хочется. Твоя комната рядом с ним, — говорил Новичок, прижимая к груди запыленную бутыль бургундского.

Потом я увидел подполковника А.-Л. Коркрана. Он попросил у меня запонку и стал рассказывать про Восток и про свой Сикхский полк.

— Ну а как теперь субалтерны? Хорошие? — спросил я.

— Удивительные ребята. Просто удивительные! Только и делаю, что выискиваю для них работу. Все козыряют да заданий просят. Передо мной на задних лапках. Ну, разве я в их годы такой был?

— А если проштрафятся? — спросил я. — Ведь случается?

---

[75] notes: 75

Рассказ опубликован впервые в 1911 г., вошел в сборник «Различные особи».

— Тогда — опять-таки ко мне. По каждому пустяку слезы, муки совести. Вот уж в жизни не совался к полковнику со своими заботами. Овечки. Просто овечки.

— А ты?

— Распекаю их, как папаша. Мол, как же так, и я, мол, вне себя, и родители страшно расстроятся; ну, подпущу насчет устава, помяну десять заповедей. Тут лучше не думать о том, что мы сами могли учудить в их возрасте. Помнишь…

Мы вспоминали ровно до семи часов. Выйдя на галерею, опоясывавшую холл, мы увидели внизу Новичка за беседой с двумя весьма почтительными молодцами, отличной выправкой которых я уже лет десять как любовался во время отпуска. У одного был синяк на щеке, у второго подбит левый глаз.

— Вот-вот, знакомый стиль, — шепнул мне Умник. — Воспитаны на лимонном соке и военных учебниках. Видно, наши девчонки были куда лучше, чем прикидывались; нет, не в отцов пошли, тут я ручаюсь.

— Какого черта? Зачем? — орал Новичок. — Сами знаете, как сейчас на это смотрят!

— Да, сэр, — сказал Бобби Тривет, тот, что был повыше. — Во-первых, Вонтнер чересчур много

болтает. И потом он пошел в армию в двадцать три года. И норовит преподавать нам тактику. Объявил Клаузевица[76] единственным тактиком. И все демонстрирует на сигарах. Да ну его.

— А чьи сигары, ему довольно безразлично, — вставил Имс, тот, что пониже и порозовей.

— А как заведет про университет! — сказал Бобби. — Он понимаете, его кончил. И мы для него неинтеллигентны. Он так и выложил адъютанту, сэр. Представьте, сэр, такой тип.

Мы с Умником отступили за большую японскую вазу с хризантемами и навострили уши.

— Это вы всем Собраньем или вдвоем только? — осведомился Новичок, пожевывая ус.

— Адъютант, конечно, ушел спать, сэр, а старший субалтерн сказал, что ему звание дороже, теперь насчет издевательства над товарищами строго, ну а остальные все — мм — его угостили.

— И здорово? — спросил Новичок. Те против воли улыбнулись.

— Сперва мы ничего, сэр, — сказал Имс. — Он обозвал нас дураками, сопляками и ушел спать, а мы еще посидели и взбеленились, наверное, ну и мы…

---

[76] notes: 76

Клаузевиц Карл (1780—1831) — прусский генерал и теоретик военного дела.

— С ним сквитались? — догадался Новичок.

— Мы, в общем-то, только сказали ему, чтоб он встал, надели на него шлем и портупею и пропели ему кое-что из волшебных сказок-прибауточек нашего прелестного устава. Ну а потом предложили ему выпить за здоровье его коллеги Клаузевица коктейль из молока с ворчестерским соусом. Тут пришлось его держать. Он не из кротких. Такая петрушка. Но сейчас насчет розыгрышей строго. — Бобби косо усмехнулся.

— А потом, — вступил Имс, — потом Вонтнер сказал, что мы попортили ему мебели черт-те на сколько фунтов.

— Ах, так, — сказал Новичок. — Он, значит, из таких? Он зубы-то хоть чистит?

— Что вы, он безумно чистоплотный! — сказал Тривет. — Но у него папаша богатый адвокат.

— Юрисконсульт, — уточнил Имс. — И теперь мистер Вонтнер жаждет нашей крови. Он грозится, что поднимет дикий шум, подаст рапорт по начальству. И пойдет судебное расследование, скандал в газетах и песенки в мюзик-холлах.

— Такой тип, — сказал Тривет. — А надо ведь знать нашего полковника. Старый Мешок вытурит меня в запас, такие случаи были; адъютанту придется уйти из полка, как тому парню в семь-

десят третьем драгунском, помните? И вообще неприятностей не оберешься. Он будет нас травить, а папаша его всегда поддержит.

— Так. Все это очень мило, — сказал Новичок. — Но я не служу примерно с того года, когда ты родился, Бобби. Я-то тут при чем?

— Отец говорил, что я в случае чего всегда могу к вам обратиться. И я видел от вас столько добра, с тех пор как он…

— Лучше оставайся ужинать. — Новичок утер пот со лба.

— Спасибо большое, но… — Тривет запнулся.

— Сегодня, точней, в четыре часа… — вставил Имс.

— Мы пошли к Вонтнеру поговорить. Вчера был скандал, а сегодня он уже вовсю строчил письмо отцу, чтоб тот обратился по начальству. Он прочитал нам выдержки, да я, знаете, в красотах стиля не очень разбираюсь. Мы и так и сяк, извинялись и прочее, но молочный коктейль с майонезом все решил.

— Да, он только и думает, как бы отомстить, — сказал Имс.

— Осрамлю, говорит, весь полк. Особенно рад, что может насолить полковнику. Сам сказал. Старый Мешок не в восторге от лекций Вонтнера

по тактике. Он считает, что тому не мешало бы сперва научиться манерам. И мы подумали… — Тривет оглянулся на Имса, пользовавшегося меньшими привилегиями в доме, потому что у него еще не умер отец.

— Ну, — подхватил Имс, — он начал шуметь, и мы сочли, что следует конфисковать корреспонденцию, — он сощурил подбитый левый глаз, — а потом пригласили его ко мне в машину.

— Он, понимаете, в мешке, — пояснил Тривет. — Так что иначе ему передвигаться трудно. Но мы его пальцем не тронули.

— О, будьте спокойны! Голова торчит, честь честью, и… — Имс наконец решился. — Мы поместили его у вас в гараже — мм — pendente lite.[77]

— У меня в гараже! — голос у Новичка чуть не сорвался от ужаса.

— Да, отец всегда говорил мне, что в случае чего дядя Джордж…

Кончить фразу Бобби не удалось, ибо тут Новичок рухнул на диван, так и охнув:

— Ваши звания!

Наступила долгая, долгая пауза.

— Хороши твои нынешние паиньки! — шепнул

---

[77] notes: 77
Не решая спора (лат.).

я Умнику. Раздувая ноздри, он пальцами отбивал дробь по японской вазе.

— Брось ты отца! — взвыл Новичок. — Такие шутки теперь считаются уголовным преступленьем. Похоже, что теперь…

— Пойдем, — сказал Умник. — Это как у меня в старом линейном батальоне, в Египте. Нас со Старым Мешком в восемьдесят пятом чуть не выгнали из армии из-за вот такой же истории.

Он стал спускаться по ступенькам, и Новичок выкатил на него умоляющий взгляд.

— Я выслушал ваши признанья, юноши, — начал Умник; и тем своим голосом, каким всегда отчитывал подчиненных, то есть почти столь же музыкально, как он пел, он распек молодых людей так, что любо-дорого было при этом присутствовать. До той поры они считали его чуть не родственником (все мы ходили в представителях, исполнителях, заместителях дядюшек для потомства друзей Новичка), добрым и богатым старшим братом. Они еще не видывали полковника А.-Л. Коркрана в судейской мантии. И покуда он рвал и метал, покуда он метал громы и молнии, а они искали и не находили укрытия от этих молний, мне вспомнилось: 1) как в Дальху-

зи[78] перевернули вверх тормашками «Пупсика» Макшейна и младший лейтенант Коркран чуть не предстал в результате перед военным судом; 2) как у капитана Пармили сгорел полог от москитов жарким индийским утром, когда капитан почивал в саду, а лейтенант Коркран, с сигарой в зубах, прогарцевал мимо на коне после удачной картежной ночи в клубе; 3) как морозной ночью в Пешаваре некий капитан ввел в палатку к другому капитану пони вместе с повозкой, на которую затем погрузил палатку, шест, койку и капитана, укутанного в мерзлый брезент: 4) как Эллиота-Хэкера выкупали у него на веранде, а его дама это увидела и расторгла помолвку — к чему и гнуло Собранье, потому что она была евразийка, — и как потом Эллиота-Хэкера напудрили мукой и куркумой с базара.

Когда он перевел дух, я понял, что только матерому грешнику дано порицать грех. Добродетельный некомпетентен.

— Ну, — сказал Умник, — ступайте! Да нет же, не из дому. По комнатам.

— Ужин я тебе пришлю, Бобби, — сказал Новичок. — Иппс!

---

[78] notes: 78

Дальхузи — горная станция в Пенджабе на высоте 3 тыс. м. Пешавар — город и местность в Западном Пакистане.

Ничто на свете не могло поразить дворецкого Иппса. Он вошел и тотчас ушел исполнять приказ. В общем-то, он страдал из-за Бобби, с тех пор как тому исполнилось двенадцать.

— Без ножа зарезали, — сказал Новичок. — Понимаешь, какие последствия для полка? Похоже, что теперь перевелись настоящие саибы.

— Именно. — Дальше Умник адресовался ко мне. — Пойди выпусти из мешка лисицу.

— Гараж не мой, — взмолился я. — Я в гостях. И он меня убьет, ей-богу. Столько часов проторчал в мешке.

— Слушай, — рявкнул Умник. Мы оба вдруг позабыли, сколько нам лет. — Кто старший по званию? Надо выпутываться. Мигом в гараж, окажи ему почтенье и тащи сюда. Он ужинает с нами. Да поворачивайся поживей, трусливый осел!

Я повернулся с достаточной живостью; но, труся по аллее, я размышлял о том, как теперь полагается извлекать субалтерна из мешка, не оскорбляя его достоинства. Прежде, помнится, это делалось так: прорезаешь мешковину, снимаешь с него обувку и даешь деру.

Представьте себе роскошный гараж, в котором бок о бок стоят кобальтово-синий сверкающий серым нутром лимузин и заляпанная, дешевая

колымага. На заднем сиденье этой последней вообразите мешок из-под овса и торчащую из него огнедышащую русую голову; бледное лицо пылает гневом, глаза сверкают, челюсти без устали жуют узел наброшенной на шею веревки. Когда вспыхнуло электричество, мне почудилось, будто зловещая гусеница яростно прядет собственный кокон.

— Добрый вечер, — радушно сказал я. — Позвольте, я вам помогу. — Голова воззрилась на меня в гневе. — Мы их задержали, — продолжал я. — Они не будут больше развлекаться такими играми.

— Играми! — вскрикнула голова. — Это мы еще посмотрим. Ну-ка, выпустите меня.

Столь грозный голос в столь юных устах добра не сулил. И у меня, по обыкновению, не было с собой ножа.

— Вы так изжевали веревку, что до узла не добраться, — ворчал я, трясущимися руками орудуя возле горла гусеницы. Что-то само собой развязалось, и мистер Вонтнер выкатился из мешка — без воротничка, без галстука, в распоротом на спине сюртуке, расстегнутом жилете, с оборванной цепочкой от часов, в задравшихся выше колен брюках.

— Где, — мрачно осведомился он, одергивая штаны, — сейчас господа Имс и Тривет?

— Арестованы оба, разумеется, — отвечал я. — Сэр Джордж, — тут я раскрыл полный баронетский титул Новичка, — мировой судья. Он будет польщен, если вы отужинаете с нами. Комната для вас приготовлена. — Я поднял мешок.

— Да знаете ли вы, — процедил мистер Вонтнер сквозь зубы (правда, нас разделял капот машины), — что все это представляется мне, не скажу, заговором, однако очень похоже на сговор.

Когда жертва вероломства начинает различать и классифицировать — опасность позади. У меня отлегло от сердца.

— Что вы, зачем же так, — сказал я. — Вы попали в беду…

— Наивный глупец! — перебил он меня и как-то истерически хмыкнул. — Позвольте вас заверить, эта беда кой на ком отзовется!

— Как вам угодно — продолжал я. — Но только обидчики ваши арестованы, и задержавший их судья просит вас к столу. Сказать ему, что вы возвращаетесь в Олдершот?

Он сдунул с рукава пылинку.

— Я пока не могу диктовать условия, — сказал он. — Но за этим дело не станет. Немного погодя

я позондирую почву. А пока я принимаю приглашение — оставляя за собой все права, если вы меня поняли, конечно.

Я понял и снова приободрился. Субалтерн, оставляющий за собой все права, — это что-то новенькое.

— Прекрасно, — ответил я. — Если вы идете, я гашу свет.

Он заковылял прочь, а я обшарил мешок и машину в поисках упомянутой Бобби конфискованной корреспонденции. Я ничего не нашел, кроме следов сопротивления, как выразился бы полицейский репортер. Он обколупал сзади передние сиденья и изгрыз кожаную обивку. Очевидно, целеустремленный и настойчивый молодой человек.

— Молодец! — встретил меня Умник. — Видишь, не убил он тебя. Погоди смеяться. Он сейчас беседует с Новичком о показаниях. Слушай. Вы с ним почти одного роста. Беги в свою комнату и передай ему через Иппса чистую рубашку и вечерний костюм.

— Но у меня нет другого, — сказал я.

— У тебя! Не о тебе речь. Тут его задобрить надо. Он в непристойном наряде и непристойном настроении, и, пока не переоденется, с ним сладу

не будет. Тебя мы приносим в жертву. Живей! Да чистые носки не забудь!

Я опять затрусил в свою комнату, переоделся в неуместный, нечищеный спортивный костюм, всадил запонки в чистую рубашку, достал чистые носки, передал полный туалет Иппсу и возвратился в холл как раз в ту минуту, когда Умник произносил:

— Я биржевой маклер, но имею честь представлять интересы Его Величества в территориальном батальоне.

Тут я почувствовал себя слегка отмщенным.

— Я сам весьма ценю территориальных, — сказал мистер Вонтнер, вливая в себя херес (получался, надо думать, занятный коктейль), — но если б у вас был опыт службы, вы бы поняли, что обычный армейский офицер…

Тут Новичок предложил всем переодеться к ужину, и непреклонный, неумолимый Иппс увлек мистера Вонтнера прочь.

— Какого дьявола надо было плести ему о моем судействе? — накинулся на меня Новичок. — Знаешь ведь, что это в прошлом. И почему он при папочке не остался? Мозгляк паршивый!

— Ничуть, — бодро отозвался Умник. — Он просто выбит из колеи. Еще Мошка в гараже его,

наверное, накачал. Но это ничего. Пока мы его поуняли, а за ужином я произведу рекогносцировку. Ты, Новичок, помни, что ты благородный хозяин дома и больше от тебя ничего не требуется. Погоди радоваться! Еще намаешься за ужином. А тебе, Мошка, лучше вообще помалкивать.

— А он мне как раз уже даже нравится, — сказал я. — Чур, я тоже играю!

— Нет, только после моего сигнала. А то пересолишь. Бедняга Старый Мешок. Скандал — это для него зарез!

— Но покамест полку не спросясь навязывают офицеров, такие нарушения дисциплины неизбежны, — начал Новичок. — О господи, помню, как меня самого обработали! — И его передернуло при этом воспоминании.

— Идиотизм! Мы же не принципы обсуждаем! Надо все сделать, чтоб не дошло до следственной комиссии, — сказал Умник.

Через пять минут, — точней в семь часов сорок пять минут, — мы, все четверо, сидели за ужином, который — я утверждаю — мог сотворить только повар Новичка, а вина были достойны папских трапез. Тот, кто оскорблен в лучших чувствах до последней крайности, напоминает тифозного больного. Вопросов не задает, глотает то, что

перед ним ставят, и его не сбить с темы, обычно глупой. Но еда и питье — лучшие лекарства. Бутыль восьмидесятилетнего бренди (Умник-то по своему обыкновению налегал на бургундское) растопила сердце Вонтнера под моей рубашкой. Со мной он вел себя по-хамски, в оксфордских традициях: раз я видел его в мешке, надо было поставить меня на место; но Умнику и Новичку, пока я любовался издали собственным вечерним туалетом, он отчетливо разъяснил план мести. Даже привел кое-какие выдержки из будущих газетных статей, и не заткни мне рот Умник, я бы расхвалил стиль.

— Надо бы с них еще возмещенье убытков содрать, — сказал Умник, когда мистер Вонтнер обрисовал свои законные права.

— С-сэр, — мистер Вонтнер приложился к рюмке, — такие вещи не принято обсуждать в хорошем обществе, но, уверяю вас, мы, Вонтнеры, — он помахал холеной ручкой, — нисколько не нуждаемся в презренном металле.

В последующие три минуты мы узнали, каковы в точности доходы его отца — как подчеркнул мистер Вонтнер, пустяки, о которых настоящий джентльмен и не думает. Умник завидовал вслух, а я впервые пнул ногу Новичка. Затем мы пе-

решли на тему образования, коснулись облика обычного армейского офицера и ужасающего убожества (именно так, я запомнил) гарнизонного общества, особенно женщин. Оказывается, в Собрании ни в коем случае не принято упоминать женские имена. Мы страшно удивились, — Умник по-прежнему затыкал мне рот, — но пришлось поверить мистеру Вонтнеру. Потом он коснулся полковников старой школы, их познаний в тактике. Нет, он лично вовсе не претендует на особые тактические способности, но после трех лет в университете (мы, грешные, университета не кончали) невольно усваиваешь привычку четко мыслить. Он действительно мыслил достаточно четко, и неясно, чего хотели от него тупые полковники. Мы должны были наконец понять, что его долг — заставить уйти в отставку полковника, который сживает его со света; заставить адъютанта перейти в другой полк или вообще со службы, а мальчишек-субалтернов, оскорбивших его достоинство, гнать взашей в другие войска — в Западную Африку, что ли. Сам он по рассмотрении дела намеревался остаться в полку, именно с целью доказать (зла он не затаил), что времена меняются, nosqve

mutamur in illis,[79] если мы, конечно, понимаем, что это значит. Новичок вывернул ноги так, чтоб я не мог его пнуть, и мне оставалось лишь еще раз вознести хвалы аллаху за многообразие творений в его прекрасном мире.

Далее, через посредство старинного бренди мы прочно перешли к тактике и великому генералу Клаузевицу, неизвестному обычным армейским офицерам. Тут Новичок, пошептавшись с Иппсом, мрачным как ночь, извинился и ушел, но Умник, полковник территориальных войск, захотел подковаться в тактике. Десять минут подряд он получал ценные указания — смешивались Вонтнер и Клаузевиц, но верх то и дело брал Вонтнер в парах бесценного коньяка. Когда Новичок вернулся, Вонтнер вновь категорически потребовал, чтоб тот снял с него показания. Я усмотрел в этом семейные свойства Вонтнеров, мысленно нарисовав их себе до третьего колена.

— Вот так черт, они спят оба! — мрачно сказал мне Новичок. — Иппс накачал их крепким портвейном.

— Спят! — Умник тотчас встал. — Но какая же разница? Для порядка надо удостоверить их лич-

---

[79] notes: 79
И мы меняемся с ними (лат.).

ность. Я провожу вас.

Мы пошли по белой каменной лестнице, что ведет в холостяцкие покои. Мистер Вонтнер, кажется, удивился, что преступники не брошены в подземелье.

— О, пока вина не доказана, считается, что ты невиновен, — сказал Умник, шагая вверх по ступенькам. — Как они запихали вас в мешок, мистер Вонтнер?

— Бросились на меня сзади — двое на одного, — отчеканил мистер Вонтнер. — Сперва я им всыпал, но потом они связали мне руки и ноги.

— Сфотографировали они вас в мешке?

— Этого еще не хватало. — Мистера Вонтнера передернуло.

— Слава богу. Ужасно трудно смывать такое пятно, как фотография, верно? — обратился ко мне Умник на площадке. — В газете, разумеется.

— Но можно сделать зарисовки по рассказам очевидцев для иллюстрированных журналов, — сказал я.

Мистер Вонтнер повернулся кругом. Впервые после нашей беседы в гараже он удостоил меня вниманьем.

— Ах, — сказал он, — у вас притязанье на особую осведомленность в этой области?

— Я журналист, — скромно, но с достоинством отвечал я. — И с удовольствием выслушаю ваш рассказ о происшествии, если угодно.

Но вместо того, чтобы сразу возлюбить меня, он отвечал сдавленным, пустым голосом:

— Ах, вот как?

— Вы, конечно, не беспокойтесь, — сказал я. — В случае чего я могу расспросить ответчиков. Они хоть умеют рисовать, мистер Вонтнер? Или ваш отец, в случае чего?..

Тут он очень пылко произнес:

— Поймите же вы наконец, что нельзя марать и трепать честное имя джентльмена ради процветанья вашей паршивой газетенки, какая она там ни на есть.

— Это... — и я назвал сверхходкую газету, специализировавшуюся на научных, военных и прочих скандалах. — По-моему, ей доступно все, мистер Вонтнер.

— Не знал, что имею дело с репортером, — сказал мистер Вонтнер.

Мы все встали перед закрытой дверью. Нас догнал Иппс.

— Но ведь вы стремитесь к гласности? — наседал я. — При таком скандале нельзя, во имя демократии, ограничиться одним органом. Я пе-

редам материал и в Соединенные Штаты. Я помог вам выбраться из мешка, если припомните.

— Да замолчите вы наконец! — рявкнул он и сел на стул. Умник, сжав мое плечо, спокойно приказал мне выйти из боя, но я знал, что огонь попал в цель.

— Я отвечу за него, — сказал Умник Вонтнеру тихонько, а потом перешел на шепот. Я разобрал: «Только с моего ведома...»... «зависит от меня»... «помогаю ему играть на бирже» и прочие лестные свидетельства моей собственной благонадежности.

Однако мистер Вонтнер опять сидел на стуле, и мы опять ему прислуживали. Лицо Новичка выражало озабоченность и глубокую тоску; Умник светился живым интересом; мое лицо было скрыто от мистера Вонтнера плечом Умника, но на лице Иппса легко читались чувства, какие дворецкому отнюдь не пристало питать к гостю. Презренье и злость были еще самые слабые из них. Мистер Вонтнер смотрел на Иппса в точности так же, как тот на него. Отец мистера Вонтнера, понял я, держал дворецкого и двух лакеев.

— Может быть, они притворились, чтоб выпутаться? — наконец произнес он. Иппс покачал

головой и беззвучно отворил дверь. Субалтерны отужинали и теперь — один на диване, другой в кресле — крепко спали, отступив на линии детства. Они пережили довольно жуткую ночь, трудный день, разнос от эксперта и выслушали вердикт, что жизнь их отныне испорчена. Что же оставалось двум молодцам, как не есть, пить портвейн и позабыть о своих печалях?

Мистер Вонтнер оглядел их сурово. Иппс стоял поблизости, готовый к бою.

— Ребячество, — сказал наконец мистер Вонтнер. — Но прекрасно. М... Найдется у вас тут где-нибудь мешок... два мешка и две веревки? Я не могу побороть искушение. Этот человек понимает, надеюсь, что дело не подлежит огласке?

«Этот человек», то есть я, побежал вниз, подобно одной из ланей, которых держал Новичок. В конюшнях я обрел все, что искал, и, возвращаясь в темноте, налетел на Иппса.

— Хорошо! — буркнул он. — Как только он дотронется до мастера Бобби, мастер Бобби спасен! Но надо бы рассказать этому типу, как он рисковал. У меня все время руки чесались, ей-богу.

Я, запыхавшись, принес мешки и веревки.

— Они на меня напали двое на одного, — сказал мистер Вонтнер, принимая мешки. — Если они

проснутся…

— Мы с вами, — ответил Умник. — Двое на одного. Все честь по чести.

Но ребята и не охнули, когда мистер Вонтнер связал сначала одного, потом другого. Когда их сунули в мешки, они только пролепетали что-то слипшимися губами и снова захрапели.

— Портвейн? — осведомился благородный мистер Вонтнер.

— Нервное потрясение. Они ведь еще дети, в сущности. Ну, дальше что? — спросил Умник.

— Я, с вашего разрешения, возьму их с собой.

Умник посмотрел на него почтительно.

— Моя машина будет у подъезда через пять минут, — сказал Новичок. — Иппс поможет их вынести. — И он пожал руку мистеру Вонтнеру.

Мы хранили торжественную серьезность до тех пор, пока два свертка не швырнули на диван в холле, и тут ребята пробудились и стали соображать, что произошло.

— Ха-ха! — сказал мистер Вонтнер с простодушием новорожденного. — Чья взяла, а? — И он уселся прямо на них. Напряжение разрядилось взрывом хохота. Громче всех, по-моему, хохотал Иппс.

— Идиотизм — чистейший идиотизм! — воз-

гласил мистер Вонтнер со своего живого сиденья. Но он сиял польщенной безмозглой ухмылкой, пока мы так и катались и буквально утирали слезы от смеха.

— Ладно! — сказал Бобби Тривет. — Ты победил!

— И по части тактики, — сказал Имс. — Я и не подозревал, что ты ею владеешь, Клаузевиц. Выиграл всухую. Что дальше будешь с нами делать?

— Поволоку в Собрание, — сказал мистер Вонтнер.

— В таком виде?

— О нет. Почище! Я еще и не приступил к мести. А вы-то думали, вы победили! Ха-ха!

Они победили так, как им и не снилось. Тот, кому надлежало их посрамить, их полковник, их начальство, их живой пример, пренебрег решительно всеми законными правами ради дешевой, низкопробной выходки, такой, что, дойди дело до начальства, его бы мигом разжаловали. Они были спасены, и спаситель был им уже ровня и свой брат. И потому они стали позволять себе лишнее, пока он их не осадил, и тут мы смеялись громче, чем они сами.

— Становись! — скомандовал Умник, когда

подали лимузин. — Это величайшая победа века! Не променял бы такую игру на целую армию! Поторапливайся, Новичок!

Я поскорей натянул пальто.

— А зачем нам этот репортер? — громко зашептал мистер Вонтнер. — Он, во-первых, не одет.

Имс и Бобби извернулись, чтобы поглядеть на репортера, грохнули и тут же смолкли.

— Что такое? — подозрительно вскинулся Вонтнер.

— Ничего, — ответил Бобби. — Клаузевиц, я умираю спокойно. Осторожней поднимите меня.

Мы погрузились в машину вместе с тюками, и через полчасика, когда прохладный ночной ветер освежил его задумчивое чело, мистер Вонтнер снова стал самим собой. Хоть он ничего плохого не говорил, он ликовал слишком уж шумно. Я сидел сзади между мешками и подобострастно ему поддакивал, пока он не напомнил мне, что то, что я видел и слышал, публикации не подлежит. Я намекнул (ребятишки так и покатились со смеху внутри своей амуниции), что тут можно бы договориться.

— Ну, из-за соверена не разойдемся, — бодро заверил мистер Вонтнер, и парни чуть не умерли от смеха.

— А вы-то чего веселитесь? — спросил мистер Вонтнер. — По-моему, сегодня я могу себя поздравить с отличной шуткой.

— Нет, Клаузевиц, — еле выговорил Бобби. — Не совсем. Ладно, буду хороший. Отпускаю тебя под честное слово до самого Собрания. И ни за какие шиши никуда не денусь.

— И я, — сказал Имс, и он дал слово не предпринимать попытки к бегству.

— А у вас, — мистер Вонтнер снисходительно обратился к Умнику, когда наша машина проезжала по пригороду Эша, — у вас, на бирже, вероятно, розыгрыши в большом ходу?

— С каких это пор вы на бирже, дядя Леонард? — простонал Бобби, а Имс, рыдая, приник головой к моему плечу.

— Прошу прощенья, — сказал Умник, — но я, в некотором роде, командую полком. Ваш полковник знает меня, я полагаю. — Он назвался. Мистер Вонтнер, кажется, слышал про такого. Пришлось поднимать Имса с пола, куда он бросился в порыве восторга.

— Господи! — наконец-то произнес мистер Вонтнер. — Что я наделал! Что я натворил! — В машине стало жарко, так он покраснел.

— Ты говорил о тактике, Клаузевиц? — закри-

чал Бобби. — Скажи, это не тактика была?

— Тактика, — сказал Вонтнер.

Имс снова был у нас под ногами, он кричал:

— Если вы не высвободите мне руки, меня вырвет. Ой, повтори, что ты сказал!

Но мистер Вонтнер повернулся к Умнику.

— Наверное, бесполезно просить у вас прощенья, сэр, — сказал он.

— Не обращайте на них внимания, — сказал Умник. — Все вместе — отличная шутка, а вы, мальчики, права не имеете рассуждать о тактике. Вы разбиты, разбиты наголову.

— Предлагаю мирный договор. Если нас сейчас отпустят переодеться, мы никому не расскажем про тебя, Клаузевиц, — сказал Бобби. — Ты обучал тактике дядю Лена? Старый Мешок будет в восторге. Он не очень тебя жалует, Клаус.

— Нет, раз я свалял дурака, я уж и вас дураками выставлю! — сказал Вонтнер. — Остановите, пожалуйста, у ближайшей галантереи, направо. Тут рядом.

Он, очевидно, прекрасно здесь ориентировался даже в темноте. Машина остановилась перед залитой светом галантерейной лавкой, где по случаю субботнего вечера девушка прибирала прилавок. Я вошел следом за Вонтнером, как

подобает репортеру.

— Есть у вас, — начал он, — ага, вот это подойдет! — он ткнул в два плюшевых колпака, один пронзительно красный, другой внушительно синий. — Почем они? Беру оба, и вот, павлиньи перья, пожалуйста, и эту красную штуку. — Имелось в виду крашеное, ярко-малиновое голубиное крыло.

— И еще несколько метров кисеи, только расцветочку пострашней выберите, пожалуйста. — Кисея оказалась желтая в черных тюльпанах, и Вонтнер вернулся, нагруженный свертками.

— Простите, что заставил ждать, — сказал он. — А теперь милости прошу к моему жилью — переодеться, принарядиться.

Через темный парадный плац к нам понеслось пенье горнов и бой барабанов, на которые отозвались струны наших сердец.

Мы выволокли ребятишек и усадили их на стулья, а Вонтнер начал было переодеваться в мундир, но замер, заметив, что я стягиваю куртку.

— Это еще зачем? — спросил он.

— Просто на вас мой вечерний костюм, — сказал я. — Я хочу его надеть, если вы не возражаете.

— Так вы не репортер? — спросил он.

— Нет, — сказал я. — Но из-за этого мы не разойдемся.

— Ой, скорее, — крикнул Имс в страшных корчах. — Сил больше нет. Пожалейте молодежь!

— Сейчас я вами займусь, подождите, — сказал Вонтнер. — И, спервa тщательно переодевшись, он развернул колпаки, в красный всадил павлинье перо, голубой украсил малиновым крылышком, изящно нацепил их на головы Имсу и Бобби, дал им полюбоваться результатом в зеркальце для бритья, и сам тем временем разодрал кисею на полосы и прелестно связал парням ноги пониже колен. В заключение он изобразил два роскошных банта.

— Милые юбочки, — сказал он Умнику, и тот одобрительно кивнул.

Потом он прорезал в мешках снизу отверстия, чтоб можно было ходить, но очень мелкими шажками.

— Надо бы вам белые тапочки, — проурчал он. — Да и помады, извините, у меня нет.

— Не беспокойся за нас, старина, мы гордимся тобой, — сказал Бобби из-под капора. — Небось почище молочного коктейля с майонезом.

— Ох, как до самих-то это не дошло, пока он был у нас в руках? — простонал Имс. — Ничего, на сле-

дующем испробуем. Ты подаешь надежды, Клаус.

— Мы заглянем к ним в Собрание, — сказал Вонтнер, когда они засеменили к дверям.

— Я загляну к вашему полковнику, — сказал Умник. — Жаль, если он эдакое пропустит. Первая проба? Ей-богу, мне самому лучше не придумать. Спасибо. — И он протянул ему руку.

— Вам спасибо, сэр, — сказал Вонтнер, — пожимая ее. — Выразить не могу, как я вам благодарен, и… и вы, пожалуйста, не думайте, что я такой…

— Ничего я не думаю, — перебил его Умник. — Если б я составлял на вас рапорт, я бы аттестовал вас высоко. Но смотрите, гейши сейчас упадут.

Мы проводили взглядом всех троих. Они перешли через дорогу и исчезли на веранде Собранья. Начался шум. Потом зазвонил телефон, выскочил сержант, и шум нарастал, и в Собрании стало довольно шумно.

Мы вернулись через десять минут с полковником Далзилем, который уже ложился спать вместе со своими печалями. В Собрании было полно народу, и все шли и шли, но иногда даже удавалось расслышать собственный голос. Имс и Тривет в мешках и бантах сидели рядышком за столом, прелестно склонив друг к другу головы в капорах и кокетливо болтая связанными ногами.

В промежутках между куплетами «Посадите меня к девочкам», они потягивали виски с содой, которое — я должен, увы, признаться — подносил к их губам майор. Общее мнение клонилось к тому, что они должны станцевать в своих нарядах и уж потом переодеться. Вонтнер, довольно грациозно лежа вровень с люстрой на руках у шестерых субалтернов, читал лекцию о тактике и умолял, чтоб его спустили, что и произошло мгновенно, как только появился полковник. Тогда Вонтнер поднялся с дивана и сказал:

— Сэр, я прошу у вас и у Собранья прощенья за то, что всегда был таким идиотом!

И вот тут-то поднялся шум.

Видя, что ночь ожидается сырая, мы с Умником отправились домой в машине Новичка. Давненько не дышали мы горячим духом тесно набитого людьми зала.

Помолчали с полчаса, потом Умник сказал:

— Не знаю, как ты, а я пустил слезу. Чему припишешь? Бургундскому или старческому слабоумию?

БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ[80]

Перевод Е. Коротковой

— Поразительная штука это изобретение Маркони[81], верно? — надсадно кашляя, говорил мистер Шэйнор. — Я слышал, ей ни горы, ни шторм не помеха; впрочем, мы уже сегодня ночью будем знать, так ли это.

— Конечно, так, — ответил я, заходя за прилавок. — Где мистер Кэшелл-старший?

— Лежит; он немного прихворнул: инфлюэнца. Он предупреждал, что вы, наверное, зайдете.

— А племянник?

— В соседней комнате, готовится к эксперименту. Он мне рассказывал, что в прошлый раз мачту установили на крыше одного отеля, а батареи

---

[80] notes: 80

Впервые рассказ опубликован в 1902 г., вошел в сборник «Пути и открытия».

[81] notes: 81

…изобретение Маркони… — Итальянский инженер Гульельмо Маркони запатентовал «беспроволочный телеграф» в 1891 г., затем немецкий физик Фердинанд Браун своим устройством антенны усовершенствовал работу Маркони, а Нобелевскую премию они получили совместно за свои достижения в 1909 г. Так что рассказ Киплинга написан прямо по следам внедрения «беспроволочного телеграфа» в современный быт.

наэлектризовали бак с водой, и когда дамы, — он хихикнул, — садились в ванну, их било током.

— Я ни о чем подобном не слыхал.

— Владелец отеля едва ли стремится сделать это достоянием гласности. Нынче ночью, как сказал мне мистер Кэшелл, они попробуют связаться с Пулом, а для этого нужны еще более мощные батареи. Но здесь, вы сами понимаете, раз он хозяйский племянник и все такое — кстати, про это и в газетах будут писать, — он может хоть весь дом напичкать электричеством. Вам хочется понаблюдать за опытом?

— Очень. Я ведь еще никогда не участвовал в таких забавах. Вы не собираетесь ложиться спать?

— Нет, по субботам у нас открыто до десяти. К тому же в городе свирепствует инфлюэнца, за ночь сюда наведается с дюжину человек. Обычно я сплю тут же, в кресле. Это приятней, чем выскакивать из теплой постели по ночам. Адский холод, верно?

— Подморозило крепко. Жаль, что кашель так вас одолел.

— Пустяки. Я, собственно, боюсь не холода. Вот ветер этот прямо изматывает меня. — Он затрясся в приступе сухого кашля, но тут в аптеку вошла пожилая дама и спросила хинин. — Микстура

кончилась, мадам, — ответил мистер Шэйнор, сразу обретая профессиональный тон. — Однако если вы пару минут подождете, я вам приготовлю новую, мадам.

В эту аптеку я захаживал довольно часто, и наше знакомство с владельцем постепенно переросло в дружбу. Кстати, не кто иной, как мистер Кэшелл, поведал мне о предназначении и могуществе Аптекарской Коллегии, когда его собрат фармацевт допустил ошибку, приготовляя мне лекарство, затем, маскируя свой промах, что-то наврал, а изобличенный в нерадивости и во вранье, стал писать какие-то дурацкие письма.

— Позор всей нашей корпорации, — пылко заявил, ознакомившись с делом, мистер Кэшелл, худощавый человек с добродушным кротким взглядом. — Вы окажете всей нашей корпорации огромную услугу, сообщив об этом случае в Аптекарскую Коллегию.

Я так и сделал, не ведая, каких вызываю джиннов; результатом явилось извинение, которое способен принести лишь человек, проведший ночь на дыбе. Я проникся глубочайшим уважением к Аптекарской Коллегии и высоко оценил мистера Кэшелла, столь ревностно оберегавшего честь цехового знамени. Предшественники ми-

стера Шэйнора, который до переезда к нам жил на севере, придерживались совершенно иных взглядов. «Они забывают, — говорил мистер Кэшелл, — что провизор прежде всего служит медицине. От него зависит репутация врача. Он буквально держит ее, сэр, у себя на ладони».

Мистер Шэйнор, может быть, не обладал светским лоском приказчиков из расположенных рядом с аптекой лавок бакалейщика и торговца дичью, но он досконально знал и любил свое дело.

Его утехи ограничивались наблюдениями за перипетиями лекарств — их открытия, изготовления, упаковки и перевозки, — но они уводили его на край света, и обсуждение этой темы, фармацевтического справочника и Николаса Калпеппера, самонадеяннейшего из врачей, послужило основой нашего знакомства.

Мало-помалу я кое-что узнал о его юных годах и надеждах, о матери, работавшей учительницей в одном из северных графств, о рыжеволосом отце, мелком извозопромышленнике из Керби Мурз, умершем, когда сын был еще ребенком; о том, как он сдавал невероятно трудные экзамены, а те раз от разу делались все трудней; как он мечтал обзавестись аптекой в Лондоне; как ненавидел

кооперативные аптекарские магазины, которые сбивали цену на товар; и самое интересное — о его истинном отношении к покупателям.

— Можно приучиться, — рассказывал он, — оставаясь внимательным и, надеюсь, учтивым, думать о своем. С начала осени я читаю «Новые лекарственные растения» Кристи, а это, право же, требует сосредоточенности. Так вот: что до штучных товаров, я могу держать в уме полстраницы текста и распродать хоть две витрины, не ошибившись ни на цент. С рецептами же я, по-моему, способен справиться чуть ли не во сне.

У меня были причины особенно интересоваться этими первыми у нас в Англии попытками испытать изобретение Маркони, и когда младший мистер Кэшелл, электрик, для осуществления междугородней беспроволочной связи избрал дом дядюшки, тот со свойственной ему обязательностью пригласил меня присутствовать при опыте.

Пожилая дама, купив лекарство, удалилась, а мы с мистером Шэйнором, чтобы согреться, принялись отбивать ногами дробь по кафельному полу за прилавком. Освещенная множеством электрических лампочек аптека искрилась, как стразовая копь, ибо мистер Кэшелл соблюдал

все заповеди своего цеха. Три великолепных стеклянных бутыли — красная, зеленая и синяя, — похожие на те, из-за которых Розамунде пришлось расстаться с башмачками, — бросали радужные блики на зеркальное стекло витрин, а в воздухе витал смешанный запах фиалкового корня, фотопленок, вулканизированной резины, зубного порошка, сухих духов и миндального крема. Мистер Шэйнор подбросил угля в печурку, и мы угостились мятными и ментоловыми лепешками. Из-за омерзительного восточного ветра город обезлюдел; редкие прохожие закутались, оставив лишь щелочки глаз. Итальянец, хозяин соседней лавки, вывесил на крючьях тушки дичи и каких-то пестрых птиц; колыхаясь на ветру, они ударялись о раму нашей витрины.

— Убрали бы они эти припасы в дом… вон как мотаются, — сказал мистер Шэйнор. — Такое чувство, словно конец света наступил. Вы взгляните на этого старого зайца. Ветер прямо сдирает с него шкуру.

Я видел, как порывы ветра разделяют пух на брюшке мертвого животного продолговатыми грядками, между которыми синеет кожа.

— Адский холод, — сказал мистер Шэйнор, вздрагивая. — Вообразите, каково на улице в

такую ночь. А вот и молодой мистер Кэшелл.

Дверь в смежную комнату отворилась, и оттуда, потирая руки, вышел энергичный бородатый человек.

— Мне нужен листочек оловянной фольги, Шэйнор, — сказал он. — Добрый вечер. Дядя говорил, что вы, вероятно, зайдете. — Это уже относилось ко мне, и я тотчас задал первый из сотни вопросов, вертевшихся у меня на языке.

— У меня все готово, — ответил он. — Ждем только вызова из Пула. Минуточку, прошу прощения. Вы можете войти, когда угодно, но мне лучше быть у аппарата. Дайте, пожалуйста, фольгу. Благодарю.

Пока мы разговаривали, девушка — явно не покупательница — вошла в аптеку, и у мистера Шэйнора изменились и манеры и лицо. Она уверенно облокотилась о прилавок.

— Но мне нельзя, — услышал я смущенный шепот; щеки его вспыхнули тусклым багрянцем, глаза блестели, как у одурманенной бабочки. — Не могу. Пойми, я тут один сегодня.

— Вовсе не один. А это кто? Пусть на полчасика тебя заменит. Прогуляешься и почувствуешь себя лучше. Ну, пойдем же, Джон.

— Но он ведь не…

— Мне все равно. Хочу, чтобы ты вышел; мы только обойдем вокруг церкви святой Агнессы. Но если…

Он направился ко мне под сень аптечного шкафа и виноватым тоном, запинаясь, стал объяснять, что его приятельница…

— Да, да, — вмешалась девушка. — Окажите мне любезность, присмотрите полчаса за аптекой, хорошо?

Ее необычайно звучный, кокетливый голос очень гармонировал со всем ее обликом.

— Ладно, — ответил я. — Присмотрю… только оденьтесь потеплее, мистер Шэйнор.

— А, неважно, я наверняка, прогулявшись, почувствую себя лучше. Мы ведь только обойдем вокруг церкви.

Он душераздирающе закашлялся, едва они вышли за дверь.

Я набил углем печку и, беспардонно расточив запасы топлива мистера Кэшелла, немного согрел помещение. Я обследовал множество ящиков, сверху донизу тянувшихся по стенам, попробовал на вкус кое-какие загадочные снадобья и создал наконец из нескольких порошков кардамона, земляного имбиря, хлористого этила и разбавленного спирта доселе неизвестный экзотический

напиток, стакан которого отнес работавшему в смежной комнате младшему мистеру Кэшеллу. Он усмехнулся, когда я рассказал об отбытии мистера Шэйнора, но все его внимание поглощала какая-то хрупкая спиралька, и он ни словом не помог мне разобраться в хаосе проволок и батарей. Шум уличного движения постепенно стихал, и все слышнее становился гул моря. Затем коротко, но очень четко мистер Кэшелл рассказал, как называются и для чего служат предметы, громоздившиеся на полу и на столах.

— Когда же ожидается сигнал из Пула? — спросил я, отхлебывая из мензурки свое зелье.

— Если все будет в порядке, около полуночи. Мачта установлена на крыше дома. Я вам советую не открывать сегодня кран и вообще не трогать ничего, что связано с водой. Мы подключились к водопроводной системе, и вода наэлектризуется.

Я еще раз выслушал рассказ о переполохе среди женского населения отеля в день проведения первого опыта.

— Но как все это происходит? — спросил я. — Вот уж в чем я совершенно не разбираюсь, это в электричестве.

— Как происходит — этого не только вы, но и никто не знает. Тут действует Сила, которую мы

называем Электричеством, ну а чудеса, поразительные явления, радиомагнитные волны — их пробуждает к жизни эта штучка. Мы называем ее когерер.

Он показал мне тоненькую, как термометр, стеклянную трубку с двумя серебряными пробочками, почти соприкасающимися между собой и разделенными крохотной щепоткой металлической пыли.

— Вот и все, — сказал он гордо, словно волшебство было делом его рук. — Вот эта штука заставляет действовать неведомые нам силы, преодолевая пространство… огромные расстояния.

В этот момент вернулся мистер Шэйнор, уже один, и, едва переступив порог, отчаянно закашлялся.

— Поделом вам, незачем дурака валять, — сказал мистер Кэшелл. Он был не меньше меня раздосадован тем, что пришлось прервать рассказ. — Не огорчайтесь: впереди у нас ночь, полная чудес.

Шэйнор скорчился над прилавком, прижав к губам платок. Когда он его отнял, я увидел два ярко-красных пятна.

— У меня… в горле небольшое раздражение,

я, наверное, перекурил. Надо попробовать кубебу[82].

— Выпейте лучше вот это. Я приготовил его, пока вы ходили. — Я протянул ему стакан.

— А оно не хмельное? Я ведь, можно сказать, трезвенник. О, ничего! И на вкус приятно, и сразу же как будто легче стало.

Он поставил пустой стакан и вновь принялся кашлять.

— Бр-р! До чего холодно на улице! Избави бог лежать в такую ночь в могиле. У вас никогда не болело горло от курения?

Он украдкой поглядел на свой платок и сунул его в карман.

— По временам бывает, — ответил я, пытаясь себе представить, в какую пучину ужаса я погрузился бы, увидев на своем платке эти ярко-красные сигналы тревоги. Склонившийся над батареями молодой Кэшелл негромко кашлянул, давая мне знать, что он готов продолжить лекцию, но я все еще думал о той девушке со звучным голосом и гордым ртом, велевшей мне присмотреть за аптекой. У меня вдруг мелькнула мысль, что она слегка напоминает изображенную на рекламке

---

[82] notes: 82
Кубеба — лекарственный перец.

туалетной воды соблазнительную девицу, чьи прелести игриво подчеркивал красный отблеск выставленной в витрине бутыли. Повернувшись, чтобы проверить, я заметил, что мистер Шэйнор глядит туда же, и инстинкт мне подсказал, что рекламная прелестница для него святыня.

— Что вы принимаете от… кашля? — спросил я.

— Для того чтобы верить в патентованные лекарства, нужно стоять не по эту сторону прилавка. Ну, есть свечи, таблетки от астмы. Честно говоря, если вас не смущает запах — он напоминает запах ладана, — больше всего мне помогают ароматические свечи Блодетта, хоть я и не католик.

— Ну что ж, попробуем.

Как человек, впервые взявший на себя роль аптекаря, я выполнял ее добросовестно. Мы извлекли свечи — смолистые, коричневые конусы — и зажгли их под рекламой туалетной воды, к которой потянулись прозрачные голубые спирали.

— Да, конечно, — отозвался мистер Шэйнор на мой вопрос, — то, что берешь в аптеке лично для себя, оплачиваешь из своего кармана. Учет у нас проводится почти столь же дотошно, как в ювелирном магазине, так что судите сами. Зато

мы покупаем их, — он указал на ящик со свечами, — по твердым ценам.

Как видно, воскурение фимиама улыбчивой семицветной красотке превратилось в некий ритуал, который стоил денег.

— А когда запирается аптека?

— У нас всю ночь открыто. Старик… старший мистер Кэшелл больше признает электрическое освещение, чем замки и задвижки. Ну, и о покупателях не надо забывать. Так что, если вы не возражаете, я тут пристроюсь в кресле возле печки и напишу письмо. Эксперименты с радио мне не прописаны.

Неутомимый племянник мистера Кэшелла фыркнул за дверью, а мистер Шэйнор уселся в кресло, предварительно покрыв его очень ярким — красно-черно-желтым — одеялом, слегка смахивающим на скатерть. Я перебрал проспекты патентованных лекарств, но, обнаружив среди них мало пригодного для чтения, начал изобретать еще один напиток. У итальянца в лавке сняли с крючьев дичь и легли спать. Газовый свет, наткнувшись на черные ставни, расплывался холодными лужицами по тротуару; нам казалось, что яростные порывы ветра гонят по улице рябь, и долго было слышно, как прошедший мимо

полисмен хлопает себя руками по плечам, чтобы согреться. А в аптеке запахи кардамона и этила соперничали с благоуханием ароматических свечей, дюжины разных пахучих лекарств, духов, кремов и мыла. Электрические лампочки, горевшие внутри витрины перед пузатыми бутылями Розамунды, отбрасывали внутрь помещения три исполинских мазка — красный, синий и зеленый, которые калейдоскопом огоньков дробились на шлифованных стеклянных ручках ящиков, граненых флаконах и искрящихся пузырьках. Они играли яркими цветными зайчиками на белом кафельном полу, разбрызгивались по никелированным перильцам прилавка и разрисовывали его обшивку из красного дерева затейливым узором с множеством прожилок, словно порфирные и малахитовые плиты. Мистер Шэйнор отпер какой-то ящик и, прежде чем приняться за свое письмо, вынул тоненькую связку писем. Даже с моего места у печки можно было разглядеть зубчатые края листков, украшенных аляповатой монограммой, и уловить приторный запах шипра. Перевертывая каждую страничку, он пронзал пламенным взором парфюмерную даму с рекламки. Одеяло он набросил себе на плечи, и в буйном хаосе огней, больше чем когда-либо, напоминал

одурманенную бабочку в образе человека… на мой взгляд, бабочку-медведицу.

Он положил письмо в конверт, наклеил марку, двигая руками, как деревянная кукла, и уронил его в ящик. И тут я почувствовал тишину спящего большого города — тишину, на фоне которой звучал ровный голос моря у волнорезов, — густую, теплую и трепетную тишь смолкнувшей на урочное время жизни, и невольно стал двигаться по сверкающей аптеке, как по комнате, в которой спит больной. Молодой мистер Кэшелл прилаживал какую-то проволочку; по временам вспыхивала искра и раздавался похожий на хруст суставов треск разряда. Наверху кто-то приоткрыл на мгновение дверь, и я услышал, как кашляет мистер Кэшелл-старший.

— Ну вот, — сказал я, подогрев как следует питье. — Отведайте-ка, мистер Шэйнор.

Он вздрогнул, испуганно дернулся и протянул руку к стакану. Смесь, напоминавшая густым цветом портвейн, пенилась вверху.

— Это похоже, — вдруг сказал он, — эти пузырьки… похожи на нить жемчуга… когда жемчужины подмигивают вам… я бы сказал, жемчужины на шее молодой леди. — Он опять повернулся к рекламке, изображенная на которой особа в

сизом корсете сочла необходимым, прежде чем почистить зубы, надеть все свои жемчуга.

— Правда, недурно? — спросил я.

— А?

Он ошалело на меня уставился, и, вглядевшись, я увидел, как быстро расширяются его зрачки, становится тупым и бессмысленным взгляд. Теперь он уже не сидел, как деревянный, а весь обмяк, уронил руки, уткнулся подбородком в грудь и застыл в полной неподвижности с открытыми глазами.

— Боюсь, я доконал беднягу Шэйнора, — сказал я, отнеся стакан свежего питья младшему Кэшеллу. — Наверное, этил подействовал.

— Пустое, обойдется, — бородач с жалостью взглянул на Шэйнора. — Больных чахоткой часто развозит после нескольких глотков. Что тут удивительного — организм ослаблен. Но, я думаю, в конце концов ваш зверобой пойдет ему на пользу. Отменное питье. — Он, смакуя, осушил стакан. — Так вот, я вам рассказывал, пока нас не прервали, о когерере, этой трубочке. Щепотка пыли — это опилки никеля. Со станции, где находится передатчик, сквозь разделяющее нас пространство радиомагнитные волны доходят сюда, и частички металлической пыли притягиваются

друг к другу — сцепляются, как мы говорим, — на то время, пока по ним проходит ток. Тут еще нужно запомнить, что ток этот индуктивный. Есть множество видов индукции…

— А что такое индукция?

— Это довольно трудно объяснить популярно. Коротко говоря, суть ее в том, что когда по проводу проходит ток, он создает вокруг провода магнитные силовые линии, и если мы поместим еще один провод параллельно первому и при этом в пределах его так называемого магнитного поля, то… ну, словом, тогда и во втором проводе наводится электрический ток.

— Сам по себе?

— Сам по себе.

— Постойте-ка, посмотрим, правильно ли я вас понял. За много миль отсюда, в Пуле или где-то еще…

— Лет через десять — где угодно.

— Помещается провод, заряженный…

— Радиомагнитными волнами, делающими примерно двести тридцать миллионов колебаний в секунду. — Тут мистер Кэшелл произвел быстрое змееобразное движение указательным пальцем.

— Так… и этот находящийся в Пуле заряженный

провод посылает в пространство волны. А затем ваш провод, который торчит на крыше дома, каким-то таинственным образом заряжается этими волнами, пришедшими из Пула.

— Из любого места… это просто сегодня Пул.

— И эти волны приводят в действие когерер, как обычный телеграфный аппарат?

— Нет, нет! Вот здесь-то почти все и допускают ошибку. Волны Герца недостаточно сильны, чтобы воздействовать на массивные телеграфные аппараты Морзе. Они только заставляют сцепляться частички металлической пыли, и, когда происходит сцепление (краткое — это точка, более длительное — тире), ток батареи, вот этой самой батареи, — он положил на нее руку, — можно передать печатной машине Морзе, которая зарегистрирует точки и тире. Я вам сейчас все проще объясню. Вы что-нибудь знаете о работе пара?

— Очень мало. Но рассказывайте.

— Так вот, когерер — это все равно, что паровой клапан. Любой ребенок может открыть клапан и привести в действие паровую машину, поскольку струя пара пускается внутрь одним движением руки, не так ли? Ну вот, наша батарея, готовая начать печатать, и есть пар. Когерер — это клапан,

когда угодно готовый включиться. Волны Герца — детская рука, включающая его.

— Я понял. Это поразительно.

— Поразительно, ведь верно? И помните, это еще только начало. А через десять лет для нас не будет невозможного. Мне хочется дожить… господи, как хочется мне дожить и самому увидеть, во что это вырастет… — Он через дверь взглянул на Шэйнора, тихо посапывавшего в кресле. — Горемыка. А туда же норовит ухаживать за Фанни Брандт.

— Фанни… как вы сказали? — воскликнул я. Это имя пробудило в моей памяти что-то полузабытое… связанное с окровавленным платком и со словом «артериальный».

— Фанни Брандт — та девушка, что заставила вас присматривать за аптекой. Кроме этого, я ничего о ней не знаю и, клянусь жизнью, не могу понять, что он находит в ней и что она в нем находит.

— Неужели так трудно понять, что он находит в ней? — возразил я.

— О, в этом смысле вы правы, конечно. Пухлая, пышная, роскошная, — не девица, а мармелад. Я думаю, она этим-то его и приворожила. У них ведь нет ничего общего. Впрочем, не все ли рав-

но. Дядя говорит, что ему осталось жить меньше года. Ваше питье ему на пользу: хоть поспит.

Мистеру Кэшеллу не было видно обращенное к рекламке лицо Шэйнора.

Я вновь поворошил угольев в печке, так как в комнате делалось холодно, и зажег еще одну ароматическую свечку. Мистер Шэйнор неподвижно сидел в кресле, глядя сквозь и мимо меня выпученными и остекленелыми, как у мертвого зайца, глазами.

— Что-то Пул запаздывает, — сообщил мне, когда я вернулся младший Кэшелл, — надо бы им посигналить.

Он нажал на ключ, и в полутьме между двумя медными кнопками, сухо треснув, проскочила искра, затем вереница искр и снова искры одна за одной.

— Великолепно, правда? Вы слышите, как пробивается на волю сила — наша неведомая сила? — сказал Кэшелл. — Ишь как рвется: брык-брык-брык! Представьте, сколько раз уже работаю с передатчиком, а все не могу освоиться с этим ощущением: из-под моей руки, пересекая огромные просторы, разносятся волны. Т. Р. — наши позывные. Отзыв Пула — Л. Л. Л.

Мы подождали две, три, пять минут. В тишине,

пронизанной неумолчным гулом прибоя, я уловил четкое: плик-плик-плик — это ветер хлестал по мачте отводками антенны.

— Пул молчит; какая-то задержка. Я подожду и крикну вам, как только получу ответ.

Я вернулся в аптеку и поставил стакан на прилавок, неосторожно звякнув донышком о «малахит». Шэйнор тотчас встал, не отводя глаз от рекламки, где зарумянившаяся в отблеске красной бутыли молодая особа с жеманной улыбкой обозревала свои жемчуга. Губы Шэйнора все время шевелились. Я подошел к нему, прислушиваясь: «Отсвет… отсвет… отсвет…» — шептал он с мучительно искаженным лицом. Удивленный, я приблизился к нему еще на несколько шагов. Но тут он наконец нашел слова, нащупал четкую, законченную форму:

На деву падал отсвет золотистый. [83] [84]

Лицо его стало спокойным; довольно потирая руки, он вернулся на прежнее место.

Мне никогда не приходило в голову, хотя мы с

---

[83] notes: 83

Стихи в переводе Е. Витковского.

[84] notes: 84

…На деву падал отсвет золотистый… — Здесь и далее цитируются оборванные, искаженные, а иногда и верные строки Китса и Кольриджа

ним не раз толковали о книгах и о литературных конкурсах, что мистер Шэйнор читал Китса и может к слову процитировать его. Но ведь могло же статься, что отблеск цветной бутыли на завлекательном бюсте с завлекательной рекламки какими-то неисповедимыми путями — так грубый лубок вдруг напомнит вам блистательный шедевр — привел ему на ум эту строку. Должно быть, ночь, уединение и мое зелье сделали мистера Шэйнора поэтом. Он снова сел и, лихорадочно шевеля губами, стал что-то поспешно записывать в свой вульгарный блокнот.

Я притворил дверь в смежную комнату и подошел к Шэйнору сзади. Он, казалось, ничего не видел и не слышал. Я заглянул ему через плечо и среди недописанных слов, фраз и замысловатых каракулей прочел:

Холода, холода.
Корка льда.
Льда.

Он резко вскинул голову и, нахмурившись, вперил взгляд в черневшие против нашей витрины наглухо занавешенные окна торговца дичью. Затем отчетливо сложилась еще одна строка:

На бедном зайце корка льда застыла.

Все тем же механическим движением он повернул голову вправо, к рекламке, от которой мерзко разило свечами Блодетта. Что-то хмыкнул про себя и написал:

Фимиам…
Плывущий сквозь высокие стропила…
Ее дыхание… ее лобзанье…

— Тс-с, — шикнул из смежной комнаты мистер Кэшелл с таким таинственным видом, словно боялся спугнуть привидение. — Что-то пробивается откуда-то; только это не Пул.

Я услышал, как затрещали искры, когда он нажал на ключ передатчика. Так же сухо что-то треснуло в моем мозгу, впрочем, возможно, это просто затрещали волосы. Неожиданно сам для себя я повелительно шепнул:

— Мистер Кэшелл, сюда тоже что-то пробивается. Помолчите, пока я не дам вам знать.

— Но я думал, вы хотите воочию взглянуть на это чудо… сэр. — Конец фразы прозвучал негодующе.

— Не отвлекайте меня, пока я сам вас не позову. Ни слова больше.

Я наблюдал, я ждал. Прочерченная синими жилами рука, высохшая рука чахоточного, одним

махом вывела без сучка без задоринки:

Я думаю уныло
О том, как мертвецам

Он вздрогнул, продолжая писать:

Лежать в земле постыло.

И лишь докончив, отложил перо и откинулся на спинку кресла.

Одно мгновенье — оно длилось вечность — комната радужным смерчем кружилась передо мной, а внутри этого смерча и сквозь него душа моя спокойно и бесстрастно разглядывала объятую непреодолимым ужасом себя самое. Потом я почувствовал резкий запах табака, исходивший от одежды мистера Шэйнора, услышал его шумное, пронзительное, как визг трубы, дыхание. Я все еще занимал свой наблюдательный пост, словно вглядывался в мишень на стрельбище: слегка пригнувшись, упершись ладонями в колени и держа голову всего в нескольких дюймах от черно-красно-желтого одеяла на плечах мистера Шэйнора.

Я рассуждал шепотом, по всей видимости сам с собой:

«Если он читал Китса, то выводов нельзя сде-

лать. Если же нет, значит, сходные результаты предопределяются сходными посылками. Это закон, и в нем не существует исключений. Очень удачно, что я знаю наизусть «Канун Святой Агнессы» и не должен справляться с книгой; берем, во-первых, обстоятельства: это Фанни Брандт, которая является ключом к загадке и примерно совпадает по координатам с Фанни Брон; затем делаем допуск на красный цвет артериальной крови на платке, буквально несколько минут назад привлекшей к себе мои мысли; примем также во внимание воздействие окружающей обстановки, а оно здесь чуть ли не удвоено, и результат — логичен, неизбежен. Неизбежен, как индукция.

В то же время часть моей души не внимала никаким доводам. Она тряслась, млея от страха, в узкой, жалкой щели, где-то неизмеримо далеко.

А потом душа моя вновь обрела единство, и я стоял, упираясь руками в колени и впившись взглядом в лист бумаги перед мистером Шэйнором. Столь же доверчиво, как иные воспринимают землетрясения и воскресение из мертвых, обосновывая их цитатами из молитвенника или таблицей умножения, так и я воспринимал наблюдаемые мною странные факты и обосно-

вывал их теорией, на мой взгляд, убедительной и здравой. Мало того, я опережал эти факты, торопливо забегал вперед, уверенный, что подгоню под них свою теорию. Из великой этой теории я помню сейчас лишь надменный вывод: «Если он читал Китса, это просто хлористый этил. Если же нет, значит, бацилла или, назовем ее, радиомагнитные волны туберкулеза, плюс Фанни Брандт, плюс специфическая обстановка аптеки образовали некий комплекс и тот, временно выделившись из общечеловеческого потока сознания, индуцировал Китса».

Мистер Шэйнор снова взялся за работу, что-то вычеркивал, торопливо писал. Он отбросил в сторону две-три пустых страницы.

Затем, шевеля губами, записал:

Дымок лампады понемногу гас.

— Нет, — прошептал он. — Дымок… дымок… дымок… Как-то иначе. — Выпятив подбородок, он потянулся к рекламке, под которой еще курилась зажатая в подсвечнике последняя ароматическая свеча Блодетта. — А! — и с облегчением:

Дымок лампады угасал уныло.

Рифмы первой строки, видно, держали его

в своих узах, ибо он писал все вновь и вновь: «Застыла… стропила… уныло». Потом снова обратился за вдохновением к рекламке и без помарок вывел ту строку, что я подслушал первой:

На деву падал отсвет золотистый…

Как я помню, в оригинале вместо «золотистый» стояло «багрянистый» — пошлое словцо, — машинально я кивнул в знак одобрения, отметив, впрочем, про себя, что попытка воссоздать «В лучах луны скользил дымок лениво» потерпела неудачу.

И тут же сразу последовало десять — пятнадцать строк неприкрытой прозы — исповедь нагой души о плотском вожделении к возлюбленной — нечистая, в общепринятом смысле этого слова; отталкивающая, но глубоко человечная; сырье, как показалось мне тогда, первичная основа двадцать шестой, седьмой и восьмой строф поэмы Китса. Без укоров совести шпионил я за этим откровением; и ужас мой растаял вместе с дымом ароматической свечи.

— Так, так, — шептал я. — Наметка готова. Ну-ка, дальше! Обведи ее чернилами, дружище. Обведи!

Мистер Шэйнор возвратился к прерванной

строфе, где «влюбленный взгляд» подгонялся в рифму с желанием узреть «ее брошенный наряд». Он приподнял складку мягкого, яркого одеяла, расправил на руке, с безмерной нежностью поглаживал его, думал, бормотал, по временам вылавливая нечто, чего я не мог расшифровать, затем сонливо зажмурился, тряхнул головой и перестал возиться с одеялом. Тут я попал в тупик, ибо не смог понять, каким образом красно-черно-желтое австрийское одеяло расцвечивало его грезы.

Через несколько минут он отложил перо и, опершись на руку подбородком, обвел аптеку вдумчивым, разумным взглядом. Он сбросил одеяло, встал, прошелся мимо расположенных рядами ящиков с лекарствами, читая вслух названия на ярлычках. Вернувшись, снял со своего стола «Новые лекарственные растения» Кристи и принесенного мною старика Калпеппера, открыв обе книги, положил их рядом с деловитым видом и совершенно бесстрастным лицом, почитал сперва одну, затем другую и остановился, заложив перо за ухо.

«Ну а теперь, какое чудо небесное грянет?» — подумал я.

— Мед… мед… мед… — произнес он наконец,

насупив брови. — Вот что было нужно, хорошо! Ну что ж! Ну что ж! Хорошо! Хорошо! О, клянусь богом, хорошо! — Затем возвысил голос и без запинки произнес, не спутав и не пропустив ни слова:

Пунцовые, как солнечный шафран,
Прекрасные плоды из дальних стран,
Душистый мед, искрящийся и жидкий.
И Самарканд, и Смирна, и Ливан
Благоухали здесь, прислав в избытке
Дары своих садов и пряные напитки.

Прочел еще раз, вставив во второй строке «нежнейшие» вместо «прекрасные»; потом переписал все это без единой помарки, ничего не изменяя, однако на сей раз (я пристально за ним следил, отмечая про себя каждую мелочь) он подставил «сладчайшие» вместо омерзительно тривиального «нежнейшие», так что выведенная его рукой строфа полностью совпала с книжной — полностью совпала с ней.

Ветер с воплем промчался по улице, и сразу пролился, забарабанил дождь.

Передохнув с улыбкой — еще бы ему не улыбаться, — Шэйнор снова застрочил, отшвыривая в сторону каждый исписанный листок:

Крупнозернистый снег стучит в стекло.
Тяжелый дождь и ветер леденящий.

Затем проза: «Очень холодно бывает по утрам, когда ветер несет дождь и снежную крупу. Я слышу, как стучат в окно снежинки, и думаю о тебе, моя милая. Я всегда думаю о тебе. Мне хочется, чтобы мы сбежали в бурю, как влюбленные, и поселились в этом домике у моря, о котором мы всегда мечтаем, единственная моя, дорогая. Мы будем сидеть там с тобой, глядеть в окно на море…»

Он остановился, вскинул голову, прислушался. В неумолчном гуле моря, к которому уже давно привык наш слух, внезапно зазвучала более мощная нота, это прилив сменил отлив. Вломившись, словно войско перешло на новый марш, этот новый ритм моря на первых порах оглушил нас, пока мы не перестали его замечать.

Тебе и мне вдали видна
За пеною морской
Невероятная страна…

Он натужно крякнул и прикусил губу. У меня пересохло в горле, но я не решался проглотить слюну, чтобы смочить его, боясь развеять чары, все ближе и ближе подводившие Шэйнора к вер-

шине, достичь которой удалось лишь двоим из сынов Адамовых. Вспомните, что среди накопленных веками миллионов есть не более пяти… пяти коротких строк, о которых можно сказать: «Вот она, истинная Магия. Вот оно, чистое Прозрение. Все остальное — просто словесность». И мистер Шэйнор подбирался сейчас к двум из них!

Я поклялся себе не воздействовать даже нечаянной мыслью на эту бродящую в потемках душу и судорожно сжимал в себе три остальные, повторяя вновь и вновь вместо них:

Святое место вижу я воочью:
Здесь женщина бродила лунной ночью
И демона любви своей звала.

Но хотя я искренне считал, что загрузил этим занятием свой разум, все мои чувства были прикованы к тому, что выводила на бумаге сухая и костлявая рука с прокуренными, потемневшими от ожогов пальцами.

Нам виден мрачный берег из окна, —

написал он после того, как долго, неуверенно примеривался. И дальше:

В оконных створках сумрачное море,
Забвенное… забвенное…

Тут опять его лицо стало осунувшимся и тревожным, то же отчаяние я впервые прочитал в его глазах, когда загадочная сила подхватила Шэйнора. Только на этот раз его страдания были мучительнее. Они вырастали на моих глазах, словно столбик ртути в термометре. Глядя на это опаленное муками лицо, я вдруг почувствовал, что душа, истерзанная ими, больше не выдержит — нагая выпрыгнет из губ. Капелька пота скатилась по моему лбу, вдоль носа и упала на руку.

Нам виден берег сумрачного моря
И пенный вал на темном берегу.

— Нет, еще не то… не то, — шептал он. — Погоди же. Умоляю, погоди. Сейчас найду…

Нам виден вал прибрежный из окна,
Скалистый берег сумрачного моря…
Навеки…

— Уфф, господи!

Он весь затрясся с головы до ног — дрожь шла изнутри, от мозга костей, — потом вскочил, раскинул руки, оттолкнул кресло, на котором сидел, и оно, скрипя, проехало по кафельным плиткам, ударилось о ящики и с грохотом упало на пол. Я машинально наклонился и поднял его.

Когда я распрямился, мистер Шэйнор потягивался и зевал во весь рот.

— Видно, я порядочно хватил, — сказал он. — Как это я опрокинул кресло? У вас такой вид…

— Меня напугал шум, — сказал я. — Такая тишина стояла и вдруг…

Младший мистер Кэшелл обиженно молчал за дверью.

— Я, наверное, вздремнул, — сказал мистер Шэйнор.

— Наверное, — ответил я. — Кстати о грезах… я заметил, вы что-то писали… до того как…

Он смущенно покраснел.

— Я хотел спросить вас, читали вы когда-нибудь произведения человека по фамилии Китс?

— Гм! Пожалуй, я не помню такого, да и времени у меня, собственно, нет на стихи. А он известный писатель?

— Довольно. Я думал, вы о нем слыхали, потому что он — единственный поэт, бывший аптекарем. К тому же он так называемый лирик.

— Вот как! Надо бы ознакомиться. А о чем он писал?

— Об очень многом. Вот пример, который мог бы заинтересовать вас.

Я тут же очень внятно прочел стихи, которые

мистер Шэйнор два раза проговорил и записал один раз менее десяти минут тому назад.

— Гм. Сразу видно, что он был аптекарем, по этой строчке о растворах и сиропах. Дань уважения нашей профессии.

— Я, право, не знаю, — с ледяной учтивостью сказал младший мистер Кэшелл, приоткрыв на полдюйма дверь, — сохранился ли у вас какой-то интерес к нашим пустячным экспериментам. Если все же сохранился…

Я оттащил его в сторону и прошептал:

— Когда я только что просил вас помолчать, Шэйнор, по-моему, впал в транс. Мне не хотелось отвлекать вас, поскольку вы ждали сигнала, хоть я и понимал, что мое поведение выглядит грубым. Вы поняли меня?

— Не о чем толковать — все в порядке, — сухо ответил он. — В тот момент и впрямь это показалось мне довольно странным. Так он поэтому опрокинул кресло?

— Надеюсь, я ничего не пропустил, — сказал я.

— Боюсь, что все же пропустили, но еще успеете понаблюдать финал довольно любопытного явления. Входите и вы, мистер Шэйнор. Слушайте, я буду расшифровывать.

Аппарат Морзе бешено стучал. Мистер Кэшелл

прочел, взглянув на ленту: «К.К.В. Не разбираем ваших сигналов». Пауза. «М.М.В. М.М.В. Ваши сигналы неясны. Собираемся бросить якорь в Сандаун Бэй. Проверка инструментов завтра». Вы понимаете, в чем дело? Два военных судна у острова Уайт переговариваются между собой по радио. Они пытаются связаться друг с другом, но сигналы обоих не попадают по назначению, зато все они перехватываются нашим приемником. Это продолжается уже давно. Как жаль, что вы не слышали все с самого начала.

— Поразительно! — воскликнул я. — Вы хотите сказать, что два портсмутских судна тщетно пытаются вступить друг с другом в разговор, а слышим его мы — реплики долетают до нас через добрую половину Южной Англии?

— Именно так. Передатчик у них в порядке, а с приемниками что-то не ладится, вот они и ловят лишь по временам то точку, то тире. Полная неразбериха.

— Но почему так получается?

— Бог знает… завтра это будет знать Наука. Может быть, неправильно поставлены антенны; может быть, приемники настроены не на ту частоту колебаний, которую дают передатчики. По временам прорывается какое-нибудь слово. А это

уж совсем невыносимо.

Аппарат Морзе снова ожил.

— Вот, одно из них жалуется. Слушайте: «Мы в отчаянии. Мы просто в отчаянии». Крик души. Присутствовали вы когда-нибудь на спиритическом сеансе? Порою это немного похоже: обрывки посланий, долетающие невесть откуда, отдельные слова, а в целом — ничего не разберешь.

— Все медиумы — обманщики, — сказал мистер Шэйнор. Стоя в дверях, он закуривал сигарету от астмы. — Видел я, как это делается. Они только деньги выколачивают.

— А вот наконец и Пул… да как отлично слышно. Л.Л.Л. Ну, теперь уже недолго. — Мистер Кэшелл бодро застучал ключом. — Хотите что-нибудь им передать?

— Да, пожалуй, нет, — ответил я. — Пойду-ка я домой, пора ложиться. Я сегодня немного устал.

«ОНИ»[85]

Перевод В. Хинкиса

Одна за другой сменялись предо мною чудесные картины природы, одна гора манила взор к иной, соседней, и, проехав таким образом половину графства, я почувствовал, что уже не в силах ничего воспринимать, а могу лишь переводить рычаг скоростей, и равнодушно смотрел на местность, которая стлалась под колеса моего автомобиля. Восточные равнины, усеянные орхидеями, южнее сменили известковые холмы, меж которых росли тимьян, остролист и пыльные, серые травы; а потом снова пышно зеленеющие пшеничные поля и смоковницы южного побережья, где шум прибоя слышится по левую руку на протяжении целых пятнадцати миль; и когда я наконец повернул в глубь страны через скопище округлых холмов, перемежаемых лесами, обнаружилось, что все знакомые мне приметы куда-то

[85] notes: 85

Впервые рассказ опубликован в 1904 г., вошел в сборник «Пути и открытия».

исчезли. За тем самым поселком[86], который считается крестным отцом столицы Соединенных Штатов, я увидел укромные спящие селения, где одни лишь пчелы бодрствовали и громогласно жужжали в листве восьмидесятифутовых лип, которые осеняли серые церковки, сооруженные нормандцами[87]; сказочно красивые ручейки струились под каменными мостами, способными выдержать куда более тяжкие перевозочные средства, нежели те, которые впредь нарушат их мертвый покой; склады для хранения церковной десятины были вместительней самих церквушек, а древняя кузница словно возвещала во всеуслышание, что некогда здесь обитали храмовники. Дикие гвоздики я увидел на общинном выпасе, куда, за целую милю вдоль древней, еще римлянами проложенной дороги, их оттеснили можжевельник, папоротники и вереск; а чуть подальше я вспугнул рыжую лисицу, которая собачьей побежкой умчалась в раскаленную

[86] notes: 86

…тем самым поселком… — В поселке Хеммдон в графстве Нортгемтон находится дом предков Георга Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов, именем которого названа столица США

[87] notes: 87

…серые церковки, сооруженные нормандцами… — Графство Нортгемптон известно своими памятниками старины, в частности церквами, построенными нормандскими завоевателями начиная с XI в

солнцем даль.

Когда лесистые холмы сомкнулись вокруг меня, я затормозил, встал и попытался определить свой дальнейший путь по высокому известковому холму с округлой вершиной, которая на добрых полсотни миль служит ориентиром средь этих равнин. Я рассудил, что самый характер местности подскажет мне, как выехать на какую-нибудь дорогу, которая ведет на запад, огибая подножье холма, но не принял в соображение обманчивость лесного полога. Я повернул с излишней поспешностью и сразу утонул в яркой зелени, расплавленной жгучим солнечным светом, а потом очутился в сумрачном тоннеле, где сухие прошлогодние листья роптали и шелестели под колесами. Могучий орешник, который не подрезали по меньшей мере полвека, смыкался над головой, и ничей топор не помог замшелым дубкам и березкам пробиться сквозь сплошное плетение его ветвей. Потом дорога резко оборвалась, и подо мною словно разостлался бархатистый ковер, на котором отдельными кучками, наподобие островков, виднелись уже отцветшие примулы да редкие колокольчики на белесых стебельках кивали в лад друг другу. Поскольку путь мой лежал под уклон, я заглу-

шил мотор и свободным ходом начал петлять по палой листве, ежеминутно ожидая встречи с лесничим; но мне удалось лишь расслышать где-то вдали невнятную болтовню, которая одна нарушала сумрачное лесное безмолвие.

А путь по-прежнему вел под уклон. Я готов был уже развернуться и ехать назад, включив вторую скорость, пока не увязну в каком-нибудь болоте, но тут сквозь плетение ветвей над головой у меня блеснуло солнце, и я отпустил тормоз.

Сразу же вновь началась равнина. Едва солнечный свет ударил мне в лицо, колеса моего автомобиля покатились по большому тихому лугу, среди которого внезапно выросли всадники десятифутового роста, с копьями наперевес, чудовищные павлины и величественные придворные дамы — синие, темные и блестящие, — все из подстриженных тисов. За лугом — с трех сторон его, словно вражеские воинства, обступали леса — стоял древний дом, сложенный из замшелых, истрепанных непогодой камней, с причудливыми окнами и многоскатной кровлей, крытой розовой черепицей. Его полукружьем обмыкала стена, которая с четвертой стороны загораживала луг, а у ее подножия густо зеленел самшит высотой в рост человека. На крыше, во-

круг стройных кирпичных труб, сидели голуби, а за ближней стеной я мельком заметил восьмиугольную голубятню.

Я оставался на месте; зеленые копья всадников были нацелены мне прямо в грудь; несказанная красота этой жемчужины в чудесной оправе зачаровала меня.

«Если только меня не изгонят отсюда за то, что я вторгся в чужие владения, или же этот рыцарь не пронзит меня копьем, — подумал я, — то сейчас вон из той полуотворенной садовой калитки выйдут по меньшей мере Шекспир и королева Елизавета и пригласят меня на чашку чая».

Из окна верхнего этажа выглянул ребенок, и мне почудилось, будто малыш дружески помахал мне рукой. Но оказалось, это он звал кого-то, потому что тотчас же появилась еще одна светловолосая головка. Потом я услышал смех меж тисовых павлинов, повернул голову, желая увериться, что это не обман слуха (до того мгновения я безотрывно смотрел только на дом), и увидел за самшитами блеск фонтана, серебристого в свете солнца. Голуби на крыше ворковали в лад воркованию воды; но сквозь эти две мелодии я расслышал радостный смех ребенка, увлеченного какой-то невинной шалостью.

Садовая калитка — сделанная из прочного дуба и глубоко вдававшаяся в толщу стены — отворилась шире; женщина в большой соломенной шляпе неторопливо поставила ногу на искрошенную временем ступеньку и столь же неторопливо пошла по траве прямо ко мне. Я стал придумывать какое-нибудь извинение, но тут она подняла голову, и я увидел, что она слепая.

— Я слышала, как вы подъехали, — сказала она. — Ведь то был шум автомобиля, не правда ли?

— К несчастью, я, по-видимому, сбился с дороги. Мне следовало повернуть раньше, еще наверху… я никак не предполагал… — начал я.

— Но, право, я очень рада. Подумать только, автомобиль здесь, перед садом! Это такая приятная неожиданность… — Она повернулась, словно хотела оглядеться вокруг. — Вы никого не видели или все же кого-нибудь… как знать?

— Никого, с кем я мог бы поговорить, но дети разглядывали меня издали, мне кажется, с любопытством.

— Какие дети?

— Я только что видел двоих в окне и, по-моему, слышал детский голосок в саду.

— Ах, вы счастливец! — воскликнула она, и лицо ее просияло. — Конечно, я тоже их слышу, но

и только. Стало быть, вы их видели и слышали?

— Да, — отвечал я, — и если я хоть что-нибудь смыслю в детях, кто-то из них резвится в свое удовольствие вон там, у фонтана. Удрал, я полагаю.

— А вы любите детей?

Я как мог постарался объяснить, почему отнюдь не питаю к детям отвращения.

— Конечно, конечно, — сказала она. — В таком случае, вы все поймете. В таком случае вы не сочтете за глупость, если я попрошу вас проехать разок-другой через сад — как можно медленней. Я уверена, им будет интересно на это поглядеть. Они, бедняжки, такие крошечные. Им стараются скрасить жизнь, но… — Она простерла руки к лесу. — Ведь мы тут совершенно отрезаны от мира.

— С превеликим удовольствием, — сказал я. — Но мне не хотелось бы портить вам газоны.

Она повернула голову вправо.

— Минуточку, — сказала она. — Мы ведь у Южных ворот, правда? Вон там, за павлинами, есть мощеная дорога. Мы называем ее Павлинья аллея. Говорят, она видна прямо отсюда, а если вы сумеете пробраться через опушку и повернете у первого павлина, то выедете прямо на эту дорогу.

Казалось кощунством нарушать волшебный

сон этого дома ревом мотора, но я выехал с луга, двинулся по лесной опушке вплотную к деревьям и свернул на широкую, мощенную камнем дорогу возле фонтана, вода в котором была словно огромный сверкающий сапфир.

— Можно, я поеду с вами? — вскричала она. — Нет, нет, спасибо, я сама. Они обрадуются еще больше, если увидят меня.

Она с легкостью нашла ощупью автомобиль, поставила одну ногу на подножку и окликнула:

— Дети, ау, дети! Вы только поглядите, что сейчас будет!

Голос ее мог бы вызвать погибшие души из преисподней, столько в нем было нежности и страстного желания, и я ничуть не удивился, когда услыхал за тисами ответный возглас. Вероятно, отозвался малыш, игравший у фонтана, но едва мы приблизились, он убежал, оставив на воде игрушечный кораблик. Я видел, как его синяя рубашонка промелькнула меж недвижных всадников. С большой торжественностью мы проехали всю аллею и по просьбе женщины повторили путь. На этот раз ребенок преодолел страх, но остался на почтительном расстоянии и был в нерешимости.

— Малыш нас разглядывает, — сказал я. — Быть

может, он не прочь прокатиться.

— Они все еще такие робкие. Право, такие робкие. Но ведь вы, счастливец, можете их видеть! Давайте прислушаемся.

Я тотчас заглушил мотор, и влажная тишина, пронизанная запахом самшита, обволокла нас со всех сторон. Я слышал лишь щелканье ножниц, которыми садовник подрезал ветки, гудение пчел и какие-то невнятные звуки, — быть может, это ворковали голуби.

— Ах, неблагодарный! — сказала она утомленно.

— Вероятно, они просто робеют перед автомобилем. Девчушка в окне, судя по виду, сгорает от любопытства.

— Правда? — Женщина подняла голову. — Я была несправедлива. Ведь они в самом деле меня любят. Это единственное, ради чего стоит жить — ради их любви, не правда ли? Мне страшно подумать, каково было бы здесь без них. Кстати, разве здесь не прелестно?

— Пожалуй, я в жизни не видывал ничего прелестней.

— Все так говорят. Конечно, я и сама чувствую, но это ведь не совсем то.

— Значит, вы никогда… — начал я и осекся в

смущении.

— С тех пор как я себя помню, нет. Это случилось, когда мне было всего несколько месяцев от роду, так мне рассказывали. И все же я, видимо, что-то запомнила, иначе как могла бы я видеть цветные сны. А я вижу в снах свет и краски, но никогда не вижу *их*. Только слышу, совсем как в то время, когда не сплю.

— Во сне трудно видеть лица. Некоторым это удается, но большинство из нас лишено этого дара, — продолжал я, глядя на окно, откуда украдкой выглядывала малышка.

— Я тоже об этом слышала, — сказала она. — И еще говорят, будто никто не может увидеть во сне лицо умершего человека. Правда ли это?

— Пожалуй, да — хотя раньше я не задавался таким вопросом.

— Ну а как вы — вы сами?

Незрячие глаза обратились ко мне.

— Я никогда, ни в едином сне не видал лиц своих умерших близких или друзей, — ответил я.

— Тогда это не лучше слепоты.

Солнце скрылось за лесом, и длинные тени покрывали надменных всадников одного за другим. Я видел, как угас последний блик на конце глянцевитого лиственного копья, и вся броская,

жесткая зелень превратилась в мягкую черноту. Дом, приемля конец очередного дня, как и сотен тысяч дней, минувших ранее, казалось, еще глубже погрузился в свой безмятежный покой, осененный тенями.

— А хотелось вам когда-нибудь их увидеть? — спросила она после долгого молчания.

— Порой очень хочется, — ответил я.

Девочка отошла от окна, как только его накрыла тень.

— Ну вот! И мне тоже, только едва ли это суждено… Вы где живете?

— На другом конце графства — милях в шестидесяти отсюда, если не больше, и мне пора возвращаться. Ведь я не поставил на автомобиль сильную фару.

— Но еще не стемнело. Я это чувствую.

— Боюсь, что стемнеет, прежде чем я доеду. Нельзя ли попросить кого-нибудь указать мне, как выбраться на дорогу? Я безнадежно заблудился.

— Я велю Мэддену проводить вас до перекрестка. Мы здесь так отрезаны от мира, что заблудиться не мудрено! Я поеду с вами к главному входу, только, пожалуйста, вы могли бы править помедленней, пока мы не обогнем стену?

Моя просьба не кажется вам глупой?

— Обещаю сделать, как вы говорите, — сказал я, отпустил тормоз, и автомобиль сам тихонько тронулся по дороге, полого спускавшейся вниз.

Мы обогнули левое крыло дома с таким редкостным водостоком, что стоило ехать целый день ради одного этого зрелища, миновали большие, увитые розами ворота в красной стене и свернули к высокому фронтону, который красотой и величественностью столь же превосходил задний фасад, сколь и все остальные, которые мне доводилось видеть.

— Он в самом деле так красив? — спросила она с тоской, когда я излил свои восторги. — И металлические изваяния вам тоже нравятся? А там, в глубине, запущенный сад, где растут азалии. Говорят, когда-то все это, наверное, было устроено для детей. Вы не поможете мне выйти? Я охотно проводила бы вас до перекрестка, но не могу оставить их. Это вы, Мэдден? Прошу вас, покажите этому джентльмену, как проехать к перекрестку. Он заблудился, но зато… видел *их*.

Дворецкий бесшумно прошел сквозь некое чудо, созданное из старого дуба и называемое, вероятно, парадной дверью, потом отступил в сторону и надел шляпу. А женщина смотрела

на меня широко открытыми голубыми глазами, совершенно незрячими, и тут я впервые заметил, что она красива.

— Помните, — сказала она тихо, — если они вам понравились, вы непременно приедете еще.

И скрылась в доме.

Дворецкий сел в автомобиль и хранил молчание до тех пор, пока мы не подъехали почти к самым воротам, где среди кустарника вдруг мелькнула синяя рубашонка, и я резко свернул в сторону, боясь, как бы коварный бес, который побуждает мальчишек к шалостям, не принудил меня к детоубийству.

— Простите, сэр, — спросил вдруг дворецкий, — но зачем вы это сделали?

— Там ребенок.

— Наш маленький джентльмен в синем?

— Ну конечно.

— Он вечно повсюду бегает. Вы видели его у фонтана, сэр?

— Еще бы, несколько раз. Нам здесь поворачивать?

— Да, сэр. А наверху вам тоже довелось их видеть?

— В окне? Да.

— Раньше чем госпожа вышла поговорить с

вами, сэр?

— Чуть раньше. А почему вас это интересует?

Он помолчал немного.

— Просто я хотел увериться, сэр, в том, что… что они видели автомобиль, ведь когда вокруг бегают дети, хоть вы и правите, я уверен, с крайней осторожностью, все же недалеко и до беды. Только и всего, сэр. А вот перекресток. Дальше вы не собьетесь с пути. Благодарю вас, сэр, но это не в *наших* правилах, только не…

— Извините, — сказал я и сунул серебряную монету обратно в карман.

— Ну что вы, другие обычно не отказываются. Всего доброго, сэр.

Он замкнулся в неприступной важности своего сословия, как в стальной башне, и зашагал прочь. Видимо, этот дворецкий дорожил честью дома и опекал детей, быть может, ради какой-то горничной.

Выехав на перекресток, где начинались дорожные столбы, я оглянулся, но неровные гряды холмов сплелись так тесно, что мне не удалось рассмотреть, где расположен дом. А когда я остановился у придорожной хижины и спросил, как называется это место, толстая торговка, продававшая сласти, прозрачно дала мне понять,

что люди, которые разъезжают в автомобилях, не имеют права жить на свете — а уж тем более «разговаривать так, будто в карете ездят». Местные жители не отличались любезностью в обращении.

Вечером я проследил свой путь по карте, но не узнал ничего вразумительного. Старая ферма Хоукинса — так было обозначено это место, а в старинном справочнике графства, обычно поражавшем меня своей полнотой, о нем даже не упоминалось. Большой дом в тех краях, как свидетельствовала отвратительная гравюра, именовался Ходнингтон Холл и был построен в стиле восемнадцатого века с позднейшими украшениями в викторианском духе. Я в недоумении обратился к соседу — старику, глубоко пустившему корни в здешнюю почву, — и он назвал семейство, чья фамилия не говорила мне ровно ничего.

Приблизительно месяц спустя я поехал туда снова — или, может статься, автомобиль мой избрал этот путь по собственной воле. Он миновал бесплодные известковые холмы, отыскал все повороты в лабиринте проселков под взгорьями, пробрался сквозь густолистые леса, которые высились, словно неприступные зеленые сте-

ны, выехал на перекресток, где я расстался с дворецким, а потом в моторе произошла какая-то неполадка, и я вынужден был свернуть на травянистую прогалину, которая врезалась в ореховые заросли, объятые летней дремотой. Насколько я мог определить по солнцу и по крупномасштабной военной карте, здесь и был объезд того леса, который я в первый раз обозревал с высоты. Я принялся за ремонт всерьез и устроил целую мастерскую, аккуратно разложив на коврике блестящие инструменты, гаечные ключи, насос и все прочее. В эту ловушку можно было заманить всех ребятишек на свете, а в такой чудесный день, решил я, здешние дети наверняка где-нибудь поблизости. Прервав работу, я прислушался, но лес был полон летних шумов (хотя у птиц уже кончилась брачная пора), и я не сразу различил осторожную поступь маленьких ножек, которые крались ко мне по палой листве. Я позвонил в колокольчик как мог заманчивей, но они обратились в бегство, и я пожалел о своей опрометчивости, потому что у ребенка внезапный шум вызывает самый настоящий ужас. Я провозился, вероятно, еще с полчаса, а потом услышал в глубине леса голос слепой женщины, которая крикнула: «Дети, ау, дети! Вы где?» — и

звонкие отголоски этого зова долго еще отдавались в ленивой тишине. Она пошла ко мне, легко нащупывая путь меж стволами деревьев, и хотя кто-то из детей, вероятно, цеплялся за ее юбку, он скрылся в густой листве, как заяц, едва она приблизилась.

— Это вы? — спросила она. — Тот самый человек, что живет на другом конце графства?

— Да, тот самый, что живет на другом конце графства.

— Тогда почему же вы не приехали поверху, через те леса? Они только что были там.

— Они были здесь всего несколько минут назад. Мне кажется, они знали, что мой автомобиль сломался, и прибежали поглядеть для забавы.

— Надеюсь, ничего серьезного не произошло? А почему ломаются автомобили?

— На это есть пятьдесят различных причин. Но мой автомобиль выискал пятьдесят первую.

Она весело рассмеялась моей нехитрой шутке и, заливаясь воркующим, пленительным смехом, сдвинула шляпу на затылок.

— Позвольте, я послушаю, — сказала она.

— Подождите! — воскликнул я. — Сейчас я сниму с сиденья подушку и подложу вам.

Она наступила на коврик, сплошь покрытый

запасными частями, и наклонилась над ним с живым интересом.

— Какие чудесные вещицы! — Руки, заменявшие ей глаза, шарили в испещренном тенями солнечном свете. — Вот коробка… а вот еще одна! Да вы тут все разложили, как в магазине игрушек!

— Должен признаться, я вытащил многое, чтобы привлечь их. На самом деле половина этих штучек мне совсем не нужна.

— Как это мило с вашей стороны! Я услышала колокольчик из верхнего леса. Вы говорите, они уже побывали здесь?

— Без сомнения. Почему они такие робкие? Тот малыш в синем, который только что был с вами, мог бы побороть страх. Он выслеживал меня, словно краснокожий индеец.

— Вероятно, их напугал колокольчик, — сказала она. — Когда я спускалась по склону, я слышала, как кто-то из них прошмыгнул мимо в смятении. Да, они робкие — очень робкие, даже меня дичатся. — Она обернулась через плечо и крикнула снова: — Дети, ау, дети! Поглядите только, что тут такое!

— Надо думать, они бегали гурьбой по своим делам, — предположил я, потому что позади нас

начали перешептываться невнятные голоса, а потом вдруг раздался тоненький детский смех.

Я снова занялся починкой, а она наклонилась вперед, подперев ладонью подбородок, и с любопытством прислушивалась.

— Сколько же их всего? — спросил я наконец.

Работа была закончена, но я не видел необходимости уезжать.

Она слегка наморщила лоб в задумчивости.

— Сама точно не знаю, — сказала она просто. — Иногда их больше, иногда — меньше. Понимаете, они приходят и живут со мной, потому что я их люблю.

— Похоже, у вас тут весело, — сказал я, ставя на место ящик с инструментами, и едва эти слова сорвались у меня с языка, я почувствовал всю их неуместность.

— Вы… вы ведь не станете надо мной смеяться! — вскричала она. — У меня… у меня нет своих детей. Я никогда не была замужем. Иногда люди смеются надо мной из-за них, потому… потому…

— Потому что это не люди, а дикари, — возразил я. — Не обращайте внимания. Такие ничтожества смеются надо всем, чему нет места в их сытой жизни.

— Я, право, не знаю. Откуда мне знать? Я не

хочу только, чтобы надо мной смеялись из-за *них*. Это тяжко. А кто лишен зрения… Я не хотела бы показаться глупой… — При этих словах подбородок у нее задрожал, как у ребенка. — Но, по-моему, мы, слепые, особенно чувствительны. Все извне ранит нас прямо в душу. Иное дело вы. Глаза служат вам такой надежной защитой… вы можете увидеть заранее… прежде чем кто-нибудь действительно ранит вас в душу. Все забывают об этом при общении с нами.

Я молчал, размышляя об этой неисчерпаемой теме — о жестокости христианских народов, не просто унаследованной от предков (потому что ее к тому же старательно воспитывают), жестокости, рядом с которой простое языческое варварство негра с Западного Берега выглядит чистым и безобидным. Размышляя, я целиком углубился в себя.

— Не надо этого! — сказала она вдруг и закрыла глаза ладонями.

— Чего?

Она повела рукой в воздухе.

— Вот этого! Оно… оно сплошь лиловое и черное. Не надо! Этот цвет причиняет боль.

— Но позвольте, откуда вы знаете цвета? — воскликнул я, потому что это было для меня

истинным откровением.

— Цвета вообще? — спросила она.

— Нет. *Те* цвета, которые вы сейчас себе представили.

— Вы сами знаете не хуже меня, — отвечала она со смехом, — иначе вы не задали бы такого вопроса. В мире их вовсе не существует. Они внутри *вас* — когда вы испытываете такую злобу.

— Вы говорите про тусклое лиловатое пятно, будто портвейн смешали с чернилами? — спросил я.

— Я никогда не видела ни чернил, ни портвейна, но цвета эти не смешанные. Они отдельны — совершенно отдельны.

— Вы говорите про черные полосы и зубцы на лиловом фоне?

Она кивнула.

— Да… если они вот такие, — тут она снова нарисовала пальцем зигзаг в воздухе, — но преобладает не лиловый, а красный — этот зловещий цвет.

— А какие цвета сверху… ну, того, что вы видите?

Она медленно наклонилась вперед и описала на коврике очертания самого Яйца.

— Вот как я их вижу, — сказала она, указывая

травяным стебельком, — белый, зеленый, желтый, красный, лиловый, а когда человека, как вот сейчас вас, охватывает злоба или ненависть, — черный на красном.

— Кто рассказал вам про это — в самом начале? — спросил я.

— Про цвета? Никто. В детстве я часто спрашивала, какие бывают цвета, — скажем, на скатертях, и занавесях, и коврах, — потому что одни цвета причиняют мне боль, а другие приносят радость. Мне объясняли. А когда я подросла, то стала видеть людей вот такими.

Она снова очертила то Яйцо, видеть которое дано лишь немногим из нас.

— И все это сами? — переспросил я.

— Все сама. Некому было мне помочь. И только потом я узнала, что другие не видят Цвета.

Она прислонилась к древесному стволу, сплетая и расплетая случайно сорванные травинки. Дети, прятавшиеся в лесу, подкрались ближе. Краем глаза я видел, как они резвятся там, словно бельчата.

— Теперь я уверена, что вы никогда не станете надо мной смеяться, — заговорила она после долгого молчания. — И над *ними* тоже.

— Боже упаси! Нет! — воскликнул я, резко

оборвав нить своих размышлений. — Человек, который смеется над ребенком, — если только сам ребенок не смеется тоже, — это варвар!

— Право, я говорила не о том. Вы никогда не стали бы смеяться *над* детьми, но я думала — думала раньше, — что, возможно, вы способны смеяться из-за *них*. А теперь прошу извинения… Над чем вам хочется смеяться?

Я не издал ни звука, но она все поняла.

— Над тем, что вы еще вздумали просить у меня прощения. Если бы вы пожелали исполнить свой долг, будучи опорой государства и владелицей здешних земель, вам пришлось бы притянуть меня к суду за то, что я вторгся в чужие владения, еще на днях, когда я вломился в ваши леса. С моей стороны это было постыдно… непростительно.

Прижавшись затылком к стволу, эта женщина, которая умела видеть обнаженную душу, посмотрела на меня долгим, пристальным взглядом.

— До чего забавно, — произнесла она полушепотом. — До чего же это забавно.

— Но что я такого сделал?

— Вам не понять… и все же вы понимаете Цвета. Ведь понимаете?

Она говорила со страстью, решительно ничем не оправданной, и, когда она поднялась, я уста-

вился на нее в замешательстве. Дети собрались в кружок за кустом куманики. Одна головка склонилась над чем-то совсем крошечным, и по движениям худеньких плеч я понял, что они приложили пальчики к губам. У них тоже была своя потрясающе важная детская тайна. Один лишь я, безнадежно чужой, стоял на солнцепеке.

— Нет, — сказал я и покачал головой, как будто мертвые глаза могли это видеть. — Что бы там ни было, я еще не понимаю. Быть может, пойму потом — если вы позволите мне приехать еще.

— Вы приедете еще, — отозвалась она. — Непременно приедете и погуляете по лесу.

— Надеюсь, дети тогда уже привыкнут ко мне и позволят с ними поиграть — в виде особой милости. Вы же знаете, каковы дети.

— Тут требуется не милость, а право, — отвечала она, и я стал размышлять над смыслом ее слов, как вдруг из-за поворота дороги показалась женщина, вся встрепанная, простоволосая, раскрасневшаяся, она испускала на бегу жалобные вопли, подобные мычанию. Это была уже знакомая мне языкастая толстуха, торговка сластями. Слепая женщина услышала ее и шагнула навстречу.

— Что случилось, миссис Мэйдхерст? — спро-

сила она.

Толстуха закрыла лицо передником и начала буквально ползать в пыли, вопя, что ее внук смертельно болен, а местный доктор уехал на рыбалку и Дженни, мать ребенка, с ума сходит и прочее в том же роде, с повторами и причитаниями.

— Где здесь поблизости есть другой доктор? — спросил я между приступами отчаяния.

— Мэдден вам покажет. Обогните дом и захватите его с собой. А я останусь здесь. Скорее!

Она отвела толстуху в тень. Через две минуты я уже трубил во все иерихонские трубы у Дворца Красоты, и Мэдден, выйдя из буфетной, изъявил готовность помочь беде как дворецкий и как человек.

За четверть часа мы, беззастенчиво превышая скорость, покрыли пять миль и добрались до доктора. Он проявил большой интерес к автомобилям, и через полчаса мы высадили его у дверей торговки сластями и остановились у дороги в ожидании приговора.

— Полезная штука эти автомобили, — сказал Мэдден, теперь уже просто как человек, а не как дворецкий. — Будь у нас автомобиль, когда заболела моя малышка, ей не пришлось бы умереть.

— Что же у нее было? — спросил я.

— Круп. Миссис Мэдден отлучилась из дому. Я поехал в повозке за восемь миль и привез доктора. Когда мы приехали, она уже задохнулась. А такой автомобиль спас бы ее. Сейчас ей было бы без малого десять лет.

— Это очень печально. Из нашего разговора на днях, когда вы провожали меня до перекрестка, я понял, что вы очень любите детей.

— Сэр, вы видели их опять… сегодня утром?

— Да, но они ужасно боятся автомобилей. Мне не удалось подманить ни одного ближе чем на двадцать шагов.

Он посмотрел на меня настороженно, как разведчик рассматривает чужого — отнюдь не как слуга своего господина, который ниспослан ему богом.

— Не знаю, в чем тут дело, — сказал он тихо, со вздохом.

Мы все еще ждали. Легкий ветерок с моря колыхал леса, простиравшиеся далеко окрест, а придорожные травы, за лето запорошенные белесой пылью, клонились и шелестели, как волны на отмели.

Из соседней хижины выбежала женщина, вытирая с рук мыльную пену.

— Я подслушивала на заднем дворе, — сказала

она оживленно. — Он говорит, Артур немыслимо плох. Слыхали, как он сейчас кричал? Немыслимо плох. Мое такое мнение, мистер Мэдден, что на той неделе придет черед Дженни бродить по лесу.

— Простите, сэр, но как бы ваш плащ не упал, — сказал Мэдден почтительно.

Женщина вздрогнула, поклонилась и поспешно ушла.

— Она сказала «бродить по лесу», как это понимать?

— Вероятно, это какое-то местное выражение. Я родом из Норфолка, — ответил Мэдден. — А здесь люди живут сами по себе. Она приняла вас за шофера, сэр.

Я увидел, как доктор вышел из двери, и следом появилась молодая женщина в отрепьях, которая цеплялась за его руку так, будто он мог вести за нее переговоры с самой Смертью.

— Какой уж есть, — выла она, — мы их все одно любим, как ежели б они законными родились. Это все одно — все одно! И ежели вы его спасете, доктор, бог одинаково возрадуется. Не отнимайте его у меня. Мисс Флоренс подтвердит мои слова. Не уходите, доктор!

— Знаю, знаю, — сказал врач, — но теперь ребе-

нок на время успокоился. А мы как можно скорей привезем сиделку и лекарство.

Он сделал мне знак подъехать, и я старался не смотреть на дальнейшее; но я видел лицо молодой женщины, покрытое пятнами и окаменевшее от горя, а когда мы тронулись, почувствовал, как рука без обручального кольца стиснула мне колено.

Доктор не был лишен чувства юмора и, помнится, сказал, что теперь мой автомобиль должен верно послужить Эскулапу, и гонял меня и его безо всякой пощады. Первым делом мы доставили миссис Мэйдхерст и слепую женщину к больному ребенку, чтобы они позаботились о нем, пока не прибудет сиделка. Затем мы вторглись в чистенький городок, центр графства, чтобы добыть лекарства (доктор сказал, что у ребенка воспаление головного и спинного мозга), а когда в местной клинике, окруженной и осажденной перепуганным скотом, который пригнали на ярмарку, нам объявили, что свободных сиделок сейчас нет, мы буквально пролетели насквозь все графство. Мы вступали в переговоры с владельцами огромных особняков, куда вели аллеи, над которыми смыкались кроны вековых деревьев, — и пышнотелые супруги этих влиятельных господ

вставали из-за чайного стола, чтобы выслушать неугомонного доктора. Наконец белокурая дама, которая восседала под ливанским кедром в окружении целой свиты борзых собак — все они люто ненавидели автомобили, — вручила доктору, а он принял, словно милость от какой-нибудь принцессы, письменное распоряжение, и мы помчались на предельной скорости через парк, за много миль, во французский монастырь, где нам взамен выдали бледную, трепещущую монашенку. Она стояла в автомобиле на коленях, беспрерывно перебирая четки, а я напрямик, по бездорожью, следуя произвольным указаниям доктора, снова выехал к хижине торговки сластями. День тянулся долго и был насыщен безумными событиями, которые сгущались и рассеивались, словно пыль, летевшая из-под колес моего автомобиля; будто какая-то плоскость рассекла чуждые и непостижимые жизни, а мы мчались сквозь них под прямым углом; домой я уехал затемно, в полном изнеможении, и ночью мне снились сшибающиеся бычьи рога; монашенки с круглыми от страха глазами, бродящие по саду средь могил; благопристойные господа, пьющие чай под тенистыми деревьями; серые, пропахшие карболкой коридоры клиники; роб-

кие шаги детей в лесу и рука, стиснувшая мне колено, когда автомобиль тронулся.

* * *

Я собирался приехать снова через день-другой, но Судьбе было угодно задержать меня по многим причинам, и я попал в ту часть графства, когда давно уже отцвели бузина и дикие розы. Но вот наступил чудесный день, небо на юго-западе прояснилось, и до холмов, казалось, можно было дотянуться рукой, — день, когда дул порывистый ветерок, а в вышине плыли ажурные облака. Как-то само собою я оказался свободен и в третий раз повел автомобиль по знакомой дороге. Доехав до перевала через известковые холмы, я почувствовал, что мягкий воздух переменился, и заметил, как он сверкает под солнцем; взглянув в сторону моря, я увидел синеву Ла-Манша, которая постепенно переходила в цвет полированного серебра, сероватой стали и тусклого олова. Корабль, груженный углем, шел близко к берегу, а потом свернул, огибая мель, и сквозь медно-желтую дымку я разглядел, как целый флот рыбачьих суденышек, стоявших на якоре, начал поднимать паруса. Позади меня, за большой дюной, внезапный вихрь налетел на скрытые от взора дубы,

и высоко в воздухе закружились сухие листья, первые вестники близкой осени. Когда я выехал на прибрежную дорогу, над кирпичными заводами плавал туман, а волны свидетельствовали, что за Ушентом штормит. Не прошло и получаса, как летняя Англия подернулась холодной, серой пеленой. Она снова стала обособленным островом северных широт, и у врат ее, за которыми таилась опасность, ревели гудки всех судов мира, а в промежутках между их отчаянными воплями раздавался писк испуганных чаек. С моей шляпы стекала вода, скапливалась лужицами в складках коврика или струилась наружу, а на губах у меня оседала соль.

Когда я удалился от берега, запахло осенью, туман сгустился и моросящий дождь перешел в непрерывный ливень. Но все же последние цветы — мальвы у дороги, вдовушки среди полей и георгины в садах — ярко выделялись в тумане, и здесь, куда не долетали морские ветры, листва на деревьях почти не опала. Двери всех домиков были распахнуты, и босоногие ребятишки с непокрытыми головами удобно сидели на мокрых ступеньках и кричали «би-би» вслед незнакомцу.

Я решился заехать в хижину торговки сластя-

ми, и миссис Мэйдхерст, все такая же толстая, встретила меня, не поскупясь на слезы. Сынишка Дженни, сказала она, умер через два дня после того, как приехала монашенка. И это, на ее взгляд, было самое лучшее, хотя страховые конторы по причинам, которые она не бралась объяснить, очень неохотно страхуют жизнь таких ублюдков.

— И право слово, Дженни заботилась об Артуре весь первый год, будто он родился в законном браке, — как сама Дженни.

Благодаря миссис Флоренс ребенка похоронили с пышностью, которая, по мнению миссис Мэйдхерст, затмила мелкие неприятности, сопутствовавшие его рождению. Она поведала мне, как выглядел гробик изнутри и снаружи, описала застекленный катафалк и вечнозеленую изгородь вокруг могилы.

— А что же мать? — спросил я.

— Дженни? Ну, она вскорости перестанет убиваться. Я сама пережила такое раза два. Она перестанет убиваться. Сейчас она бродит по лесу.

— В такую погоду?

Миссис Мэйдхерст поглядела на меня через прилавок, сощурив глаза.

— Не знаю уж, только от этого легчает на сердце. Да, легчает. У нас тут говорят, что в конце концов тогда становится почти одинаково, потерять или найти.

Право, мудрость старух превыше всей мудрости святых отцов, и я, продолжая путь по дороге, так глубоко задумался над этим пророчеством, что едва не переехал женщину с ребенком в лесистом уголке близ ворот Дворца Красоты.

— Ужасная погода! — воскликнул я, резко затормозив перед поворотом.

— Не так уж она плоха, — миролюбиво отозвалась женщина из тумана. — Я к этому привычна. А вам, думается мне, лучше будет в доме.

Когда я вошел в дом, Мэдден принял меня с профессиональной учтивостью, любезно справился о состоянии автомобиля и предложил поставить его под навес.

Я дожидался в тихой зале, обшитой ореховыми панелями и обогреваемой чудесным, отделанным деревом камином, — здесь дышалось легко и царил безмятежный покой. (Мужчины и женщины с превеликим трудом порой ухитряются измыслить сколько-нибудь правдоподобную ложь; но дом, которому предназначено служить им храмом, может рассказать о своих обитателях

лишь истинную правду.) На полу, разрисованном в черно-белую клетку, подле откинутого ковра, были брошены игрушечная тележка и кукла. Я чувствовал, что дети убежали отсюда перед самым моим приходом — вероятней всего, спрятались, — либо взобрались по многочисленным маршам широкой полированной лестницы, которая величественно возвышалась над залой, либо в смущении затаились среди львов и роз на верхней резной галерее. А потом я услышал у себя над головой ее голос, она пела, как поют слепые, — от души:

В радостях, под сада сенью… [88]

И тут, откликаясь на этот призыв, во мне ожили все воспоминания о том, что было в начале лета.

В радостях, под сада сенью,
Боже, грешных нас согрей,
Хоть твое благословенье
В скорби нам куда важней.

Она пропустила неуместную пятую строчку и повторила:

В скорби нам куда важней!

---

[88] notes: 88
В радостях под сенью сада… — Стихи Элизабет Баррет Браунинг

Я видел, как она перегнулась через перила на галерее, и ее сложенные руки сияли, словно жемчужины, на фоне дубового дерева.

— Это вы — с другого конца графства? — окликнула она меня.

— Да, я — с другого конца графства, — ответил я со смехом.

— Как долго вас не было. — Она проворно спустилась с лестницы, слегка касаясь одной рукою широких дубовых перил. — Прошло два месяца и четыре дня. Лето уже кончилось!

— Я хотел приехать раньше, но вмешалась Судьба.

— Так я и знала. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим камином. Мне не позволяют им заниматься, но я чувствую, что он плохо себя ведет. Задайте ему хорошенько!

Я взглянул по обе стороны глубокого камина, но отыскал лишь полуобгорелый кол и подтолкнул им в пламя обугленное полено.

— Он не гаснет никогда, ни днем, ни ночью, — сказала она, как бы стараясь что-то объяснить. — На всякий случай, понимаете ли, вдруг кто-нибудь придет и захочет погреть ноги.

— Здесь, внутри, еще очаровательней, чем снаружи, — пробормотал я.

Красноватый свет залил отполированные и тусклые от старости панели, а розы с эмблемы Тюдоров и львы на галерее словно ожили и обрели цвет. Выпуклое зеркало в раме, увенчанной орлом, вобрало все это в свою таинственную глубину, вновь искажая уже искаженные тени, и галерея стала похожа на борт корабля. К исходу дня надвинулась гроза, туман спустился вязкими клубами. Сквозь незанавешенные створки широкого окна мне было видно, как кони доблестных рыцарей вставали на дыбы и грудью встречали ветер, который бросал на них легионы сухих листьев.

— Да, дом, вероятно, красив, — сказала она. — Хотите посмотреть? Наверху еще довольно света.

Я поднялся вслед за ней по прочной, шириной с целый фургон, лестнице на галерею, куда выходили тонкие двери, украшенные резьбой в елизаветинском стиле[89].

— Вы пощупайте щеколды, они поставлены низко, чтобы дети могли достать.

Она распахнула легкую дверь внутрь.

— Кстати, а где они? — спросил я. — Сегодня я

---

[89] notes: 89

...в елизаветинском стиле... — Стиль конца XVI — начала XVII в., во время правления королевы Елизаветы, отличался декоративной усложненностью

их даже не слышал.

Она помедлила с ответом. Потом сказала тихо:

— Я ведь их только слышу. Вот одна из их комнат — видите, все приготовлено.

И показала комнату со стенами из массивных досок. Там стояли низенькие столики и детские стульчики. Кукольный домик с приотворенной полукруглой передней стенкой соседствовал с большим, серым в яблоках конем-качалкой, покрытым мягким седлом, с которого ребенку легко было залезть на широкий подоконник, откуда был виден луг. Игрушечное ружье лежало в углу рядом с позолоченной деревянной пушкой.

— Наверняка они только что были здесь, — прошептал я.

В полутьме осторожно скрипнула дверь. Я услышал шелест одежды и легкие, быстрые шаги — резвые ноги перебежали смежную комнату.

— Я слышала! — вскричала она с торжеством. — И вы тоже? Дети, ау, дети, вы где?

Голос ее наполнил комнату, которая любовно вобрала в себя все до последнего, бесконечно нежного звука, но не было ответного возгласа, какой я слышал в саду. Мы торопливо шли по дубовым полам из комнаты в комнату: тут ступенька вверх, там три ступеньки вниз, по

лабиринту коридоров, все время подшучивая над беглецами. С таким же успехом можно было бы обшаривать незакрытый садок, куда пустили одного-единственного хорька. Там были бесчисленные дверцы, ниши в стенах, узкие и глубокие щели окон, за которыми уже стемнело, и всюду они могли ускользнуть у нас за спиной; были заброшенные камины, уходившие в стену футов на шесть, и множество дверей в смежных комнатах. Но главное, в этой игре им помогали сумерки. Несколько раз до меня долетали веселые смешки тех, кому удалось улизнуть, и я видел в конце коридора, на фоне то одного, то другого темнеющего окна, силуэты в детской одежде; но мы вернулись ни с чем на галерею, где пожилая женщина уже ставила в нишу зажженную лампу.

— Нет, мисс Флоренс, я ее нынче тоже не видала, — послышался ее голос, — но вот Терпин говорит, что ему надобно потолковать с вами насчет коровника.

— Ну конечно, мистеру Терпину я очень нужна. Позовите его в залу, миссис Мэдден.

Я поглядел вниз, в залу, освещенную лишь потускневшим огнем камина, и там, в густой тени, наконец увидал их. Вероятно, они проскользнули вниз, когда мы бродили по коридорам,

и теперь полагали, что надежно укрылись за старой позолоченной кожаной ширмой. По правилам детской игры моя тщетная погоня была равносильна знакомству, но я затратил столько усилий, что решил заставить их подойти с помощью нехитрой уловки, которой дети терпеть не могут, и притворился, будто не замечаю их. Они притаились тесной кучкой, зыбкие, неверные тени, и лишь иногда короткая вспышка пламени выдавала их очертания.

— А теперь давайте пить чай, — сказала хозяйка. — Я должна была сразу предложить вам чаю, но как соблюдать хороший тон, если живешь одиноко и слывешь человеком не без, гм, чудачеств. — Потом она добавила с изрядной долей презрения: — Не подать ли вам лампу, чтобы вы видели, что едите?

— Мне кажется, огонь в камине гораздо приятнее.

Мы спустились в очаровательную темноту, и Мэдден подал чай.

Я поставил свой стул поближе к ширме, готовый удивлять или удивляться, в зависимости от того, какой оборот примет игра, и с разрешения хозяйки, поскольку очаг всегда священен, наклонился, чтобы поправить дрова.

— Откуда у вас эти прелестные прутики? — спросил я небрежно. — Постойте, да ведь это счетные палочки!

— Ну конечно, — сказала она. — Ведь я не могу ни читать, ни писать, вот мне и приходится вести счета с помощью таких палочек, как делали наши предки. Дайте мне одну, и я вам все объясню.

Я подал ей прут орешника около фута длиной, и она быстро провела большим пальцем по зарубкам.

— Вот здесь удой молока в галлонах на приусадебной ферме за апрель прошлого года. Не знаю, что я делала бы без этих палочек. Один старый лесник выучил меня ими пользоваться. Все остальные считают такой способ устарелым, но мои арендаторы относятся к нему с уважением. Вот и сейчас один из них пришел ко мне. Нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Это жадный и невежественный человек — очень жадный… иначе он не пришел бы так поздно, когда уже стемнело.

— Стало быть, у вас большое имение?

— Слава господу, всего около двухсот акров я оставила за собой. Остальные шестьсот почти все сданы в аренду людям, которые знали моих родных, когда меня еще на свете не было, но этот Терпин здесь совсем чужой… И он просто разбой-

ник с большой дороги.

— Но я действительно не помешаю?..

— Нисколько. Вы в своем праве. У него нет детей.

— Кстати о детях! — сказал я и тихонько отодвинул свой низкий стул назад, так что он едва не коснулся ширмы, за которой они прятались. — Интересно, выйдут ли они ко мне?

У невысокой темной боковой дверки раздались невнятные голоса — голос Мэддена и чей-то густой бас, — и рыжеволосый великан, чьи ноги были обмотаны мешковиной, человек, в котором можно было безошибочно угадать арендатора, ввалился в комнату или, быть может, его втолкнули силой.

— Подойдите к камину, мистер Терпин, — сказала хозяйка.

— Ежели… ежели дозволите, мисс, я… я уж лучше у двери постою.

Говоря это, он цеплялся за щеколду, как испуганный ребенок. И я вдруг понял, что им владеет какой-то едва преодолимый страх.

— Ну?

— Я насчет нового коровника для телят — только и делов. Уже начинаются осенние грозы… но лучше, мисс, я зайду в другой раз.

Зубы у него стучали почти так же, как дверная щеколда.

— Не вижу в этом необходимости, — сказала она бесстрастно. — Новый коровник… м-м… Что написал вам мой поверенный пятнадцатого числа?

— Я… я думал, может, ежели я потолкую с вами, мисс, начистоту… Но вот…

Расширенными от ужаса глазами он оглядел комнату. Потом приоткрыл дверь, в которую вошел, но я заметил, что ее тотчас закрыли вновь — снаружи и твердой рукой.

— Он написал вам то, что я велела, — продолжала хозяйка. — У вас и без того уже слишком много скота. На ферме Даннетта никогда не было больше пятидесяти бычков, даже во времена мистера Райта. Причем *он* кормил их жмыхами. А у вас их шестьдесят семь, и жмыхов вы им не даете. В этом пункте вы нарушили арендный договор. Вы губите ферму.

— Я… я привезу на той неделе минеральные удобрения… суперфосфат. Я уже почти что заказал грузовик. Завтра поеду на станцию. А потом, мисс, приду и потолкую с вами начистоту, но только днем, когда светло… Ведь этот джентльмен еще не уходит?

Он повысил голос почти до крика.

Перед этим я лишь чуточку отодвинул стул назад, чтобы слегка постучать по кожаной ширме, но он заметался, как пойманная крыса.

— Нет. Мистер Терпин, пожалуйста, выслушайте меня внимательно.

Она повернулась на стуле в его сторону, а он прижался спиной к двери. Она уличила его в старых, грязных уловках — он просит выстроить новый коровник за счет хозяйки, чтобы сэкономить на удобрении и выкроить деньги для уплаты ренты за будущий год, это ясно, а прекрасные пастбища он истощил вконец. Я поневоле восхитился его невероятной жадностью, видя, как ради этого он стойко выносил неведомый мне ужас, от которого лоб его покрылся испариной.

Я перестал постукивать по ширме — тем временем обсуждалась стоимость коровника — и вдруг почувствовал, как мою опущенную руку тихонько взяли и погладили мягкие детские ладошки. Наконец-то я восторжествовал. Сейчас я обернусь и познакомлюсь с этими быстроногими бродяжками…

Краткий, мимолетный поцелуй коснулся моей ладони — словно дар, который нужно удержать, сжав пальцы: это был знак верности и легкого

упрека со стороны нетерпеливого ребенка, который не привык, чтобы на него не обращали внимания, даже когда взрослые очень заняты, — частица негласного закона, принятого очень давно.

И тогда я понял. У меня было такое чувство, словно я понял сразу, в самый первый день, когда взглянул через луг на верхнее окно.

Я слышал, как затворилась дверь. Хозяйка молча повернулась ко мне, и я почувствовал, что и она понимает.

Не знаю, сколько после этого прошло времени. Из задумчивости меня вывел стук выпавшего полена, я встал и водворил его на место. Потом снова сел почти вплотную к ширме.

— Теперь вам все ясно, — шепнула она, отделенная от меня скопищем теней.

— Да, мне все ясно… теперь. Благодарю вас.

— Я… я только слышу их. — Она уронила голову на руки. — Вы же знаете, у меня нет права — нет другого права. Я никого не выносила и не потеряла — не выносила и не потеряла!

— В таком случае вам остается лишь радоваться, — сказал я, потому что душа моя разрывалась на части.

— Простите меня!

Она притихла, а я вернулся к своим горестям и утехам.

— Это потому, что я их так люблю, — сказала она наконец прерывающимся голосом. — *Вот* в чем было дело, даже сначала… даже прежде, чем я поняла, что, кроме них, у меня ничего нет. И я их так любила!

Она простерла руки туда, где лежали тени и другие тени таились в тени.

— Они пришли, потому что я их люблю… Потому что они были мне нужны. Я… я должна была заставить их прийти. Это очень плохо, как вы полагаете?

— Нет, нет.

— Я готова признать, что игрушки и… и все прочее — это вздор, но я сама в детстве ненавидела пустые комнаты. — Она указала на галерею. — И все коридоры пустые… И как было вынести, когда садовая калитка заперта? Представьте себе…

— Не надо! Не надо, помилосердствуйте! — воскликнул я.

С наступлением сумерек хлынул холодный дождь и налетел порывистый ветер, который хлестал по окнам в свинцовых переплетах.

— И по той же причине камин горит всю ночь. Мне думается, это не так уж глупо — как по-ва-

шему?

Я взглянул на большой кирпичный камин, увидел, кажется, сквозь слезы, что он не огражден неприступной железной решеткой, и склонил голову.

— Я сделала все это и еще многое другое просто ради притворства. А потом они пришли. Я слышала их, но не знала, что они не могут принадлежать мне по праву, пока миссис Мэдден не сказала мне…

— Жена дворецкого? Что же она сказала?

— Одного из них — я слышала — она увидала. И я поняла. Ради нее! *Не* для меня. Сперва я не понимала. Пожалуй, начала ревновать. Но постепенно мне стало ясно — это лишь потому, что я люблю их, а не потому… Ах, нужно *непременно* выносить или потерять, — сказала она жалобно. — Иного пути нет — и все же они меня любят. Непременно должны любить! Ведь правда?

В комнате воцарилась тишина, только огонь захлебывался в камине, но мы оба напряженно прислушивались, и то, что она услышала, по крайней мере, ей принесло утешение. Она совладала с собой и привстала с места. Я неподвижно сидел на стуле подле ширмы.

— Только не думайте, что я такое ничтожество

и вечно сетую на свою судьбу, вот как сейчас, но… но я живу в непроницаемой тьме, а *вы* можете видеть.

Я и вправду мог видеть, и то, что представилось моему взору, укрепило во мне решимость, хотя это было очень похоже на расставание души с телом. Все же я предпочел остаться еще немного, ведь это было в последний раз.

— Значит, вы полагаете, это плохо? — вскричала она пронзительно, хотя я не вымолвил ни слова.

— С вашей стороны — нет. Тысячу раз нет. С вашей стороны это прекрасно… Я вам так благодарен, просто слов нет. Плохо было бы с моей стороны. Только с моей…

— Почему же? — спросила она, но закрыла лицо рукою, как во время нашей второй встречи в лесу. — Ах да, конечно, — продолжала она с детской непосредственностью, — с вашей стороны это было бы плохо. — И добавила с коротким, подавленным смешком: — А помните, я назвала вас счастливцем… однажды… при первой встрече. Вас, человека, который никогда больше не должен сюда приезжать!

Она ушла, а я еще немного посидел возле ширмы и слышал, как вверху, на галерее, замерли

ее шаги.

СТРАТЕГИЯ ПАРА[90]

Перевод Е. Коротковой

Я увидел их лица, когда мы нагнали телегу на одном из проселков Сассекса; оба спали, хотя было около одиннадцати часов.

То обстоятельство, что возчик ехал не там, где положено, не отразилось на речи, которой он откликнулся на мой свисток. Он вслух высказал об автомобилях — паровых в особенности — все то, что я уже не раз читал на надменных физиономиях кучеров. Затем двинулся мне наперерез.

К авто был приделан воздушный насос, всегда готовый с резким свистом выбросить струю пара…

За семь с четвертью секунд телега, гремя поклажей, отлетела на расстояние выпущенной из лука стрелы. У подножия ближайшего холма лошадь остановилась, и, перебравшись через задний бортик, из телеги вылезло двое мужчин.

Мой шофер дал задний ход, поспешно отда-

---

[90] notes: 90

Впервые опубликовано в 1902 г., вошло в сборник «Пути и открытия». Киплинг был одним из первых автомобилевладельцев в Англии, и этот рассказ основан на его личном опыте.

ляясь.

— Чертова кастрюлища замаскировалась паром, — сказал мистер Хинчклифф и нагнулся, подбирая камень покрупнее. — Погоди Пай, пар развеется, и мы им зададим.

— Мне лошадь нельзя бросать! — гаркнул возчик. — Волоките их сюда, прикончу как пить дать.

— Доброе утро, мистер Пайкрофт, — бодро подал я голос. — Вас подбросить куда-нибудь?

Атака захлебнулась у наших передних колес.

— Сколько раз уж говорил: у нас с вами просто талант к встречам in puris naturalibus,[91] — мистер Пайкрофт стиснул мне руку. — Да, я в отпуску. Хинч — тоже. Навещаем друзей в этой саванне.

Монотонные вопли возчика не утихали: он все еще жаждал крови.

— Это Эгг. Двоюродный брат Хинча. Не везет тебе с роднею, Хинч. Вообразить подобную словесность в устах благовоспитанного человека! Уйми его.

Генри Солт Хинчклифф направился к телеге и вступил в переговоры со своим кузеном. Я хорошо

---

[91] notes: 91
На лоне природы (лат.).

расслышал почти всю их беседу, поскольку ветер дул в нашу сторону. Казалось, многолетняя дружеская связь распадается в тяжких мучениях.

— Ну ладно, если вы такие дураки, — рявкнул возчик. — Притесь пешком до Лингхерста. Очень вы нужны мне, дезертиры. — Он стегнул лошадь и с бранью скрылся из виду.

— Эскадра отбыла, — сказал Пайкрофт. — А мы вновь на мели. В какой конкретно порт вы держите курс?

— Я, вообще-то, собирался навестить приятеля в Инстед Уике. Но если вы…

— О, мы совсем не против! Мы, понимаете ли, в отпуску.

— Он навряд ли выдержит четверых, — вмешался мой шофер. Я вытравил из него дурацкую привычку удивляться, но сейчас ему явно было не по себе.

Вернулся Хинчклифф, словно его притащили на веревке, и стал описывать круги вокруг автомобиля, все приближаясь к нему.

— Какая скорость? — бросил он шоферу.

— Двадцать пять, — вежливо отозвался тот.

— Ход хороший?

— Нет, очень плохой, — последовал весьма решительный ответ.

— Это значит, что специалист ты никудышний. Как по-твоему, снизойдет человек, чья профессия водить эсминцы, делающие по тридцать узлов, играючи их водить — играючи, ты понял? — снизойдет ли он до того, чтобы забраться под какой-то паршивый сухопутный паровой баркас на рессорах?

Тем не менее он снизошел до этого. Вполз под автомобиль и с живым интересом заглядывал в трубки — с газолином, паром, водой.

Я бросил вопросительный взгляд на Пайкрофта.

— Нет… ни капли, — ответил тот. — Он всегда так, стоит ему увидеть какую-нибудь паровую машину. В Парсли Грин просто страх что творилось, когда он норовил показать, как должен сворачивать за угол тяговый двигатель, волочивший цыганский фургон.

— Объясните ему все, о чем он спросит, — сказал я шоферу, доставая коврик и расстилая его на земле.

— Он в этом не нуждается, — сказал шофер. Эти двое не провели в обществе друг друга еще и трех минут, включая то время, пока мы набивали трубки.

— Ну вот, — сказал Пайкрофт, приминая локтем

густую зелень придорожной травы, — все идет как следует. Хинч, на твоем месте я не стремился бы, чтобы эта горячая дрянь капала мне в глаза. Они тебе еще понадобятся: у тебя через полмесяца кончится отпуск.

— Пойди сюда, — позвал шофера Хинчклифф, все еще лежа на спине. — Пойди сюда и покажи мне, куда ведет эта труба?

Шофер растянулся рядом с ним.

— Все в порядке, — сказал мистер Хинчклифф, поднимаясь. — Но эта штуковина позаковыристее, чем я думал. Разгрузите корму, — он указал на заднее сиденье, — и я проверю тягу.

Шофер с готовностью повиновался. Он по своему почину сообщил, что его брат служит механиком на флоте.

— Спелись голубчики, — процедил Пайкрофт, глядя, как Хинчклифф вертится вокруг обшитого асбестом котла и выпускает из него веселые струйки пара.

— А теперь проедем по дороге, — сказал он.

Шофер для проформы взглянул на меня.

— Да, конечно, — сказал я. — Поезжайте, все в порядке.

— Какой уж тут порядок, — внезапно возразил Хинчклифф, — какой уж тут порядок, если мне

придется через бритвенное зеркальце следить за уровнем воды.

Водомерное стекло автомобиля отражалось в зеркальце, висящем справа от щитка. Мне это тоже не нравилось.

— Поднимайте повыше руку, тогда вы сможете видеть его из-под руки. Только не забывайте в это время о руле, не то угодите в канаву, — крикнул я им вслед.

— Ну-ну, — задумчиво произнес Пайкрофт. — Впрочем, я бы сказал, паровые механизмы служат ему чем-то вроде либретто. Он ведь еще сегодня утром после завтрака мне говорил, как истово благодарит Создателя за то, что ему до девятнадцатого числа следующего месяца не придется ни видеть, ни нюхать, ни трогать никаких шатунов и кривошипов. И вот взгляните на него! Только взгляните!

Мы видели, как в автомобиле, катившем по пологой дороге, шофер уступил место Хинчклиффу, причем авто так и метнуло от обочины к обочине.

— Что случится, если он опрокинет автомобиль?

— Вспыхнет газолин, и котел может взорваться.

— Вот страсти-то. А тут еще… — Пайкрофт медленно выпустил клуб дыма. — Эгг тоже нынче утром агрессивно настроен.

— Ну а нам-то что? Он ведь уже уехал, — сказал я сухо.

— Так-то так, но мы его обгоним. А он злопамятный. Они с Хинчем сегодня не сошлись во мнениях по поводу свиноводства. Хинч в таких делах, конечно, не специалист, зато он козырнул морской службой, чином, вот Эгг и обозлился. Я был рад, что мы убрались из его телеги. Вам никогда не приходило в голову, что, стоит нам с вами, так сказать, повстречаться, нас непременно ждет на редкость суматошный день. Эй! Глядите-ка, это корыто повернуло обратно!

Автомобиль взбирался вверх по склону. Пайкрофт встал и заорал:

— Швартуйся! Места хватит!

— Помолчи! — крикнул Хинчклифф и подвел авто к нашему коврику. Его загорелое лицо сияло от восторга. — Этот автомобиль — Поэзия Движения. Осуществление Райской Мечты. Этот автомобиль… — Он перекрыл пар, и Осуществление Райской Мечты степенно покатило вниз по склону.

— В чем дело? — рявкнул Пайкрофт. — Я ведь

жму на тормоз.

— Тормоз на заднем ходу не действует, — пояснил я. — Переключи на нейтраль.

— Стыд и позор для старшего механика «Джина», эсминца, делающего тридцать один узел, — сказал Пайкрофт. — Хинч, ты знаешь, что такое нейтраль?

Автомобиль тем временем опять подкатил к нам; но, когда Пайкрофт нагнулся за ковриком, Хинчклифф сердито дернул рычаг, и авто со скоростью креветки поползло вниз, в клубы собственного дыма.

— Наверное, не знает, — сказал Пайкрофт. — А что это такое он сейчас сделал, сэр?

— Дал задний ход. Со мной это тоже случалось.

— Но ведь он механик.

В третий раз автомобиль взбирался вверх.

— Ты у меня научишься швартоваться, как надо, если проманежить тебя тут всю ночь, — рявкнул Пайкрофт, явно кого-то цитируя. Хинч позеленел и, с мучительной осторожностью поворачивая регулятор, протащил автомобиль еще на двадцать ярдов вверх.

— Достаточно. Считай, что оправдался. Теперь гора пойдет к Магомету. Стой и ни с места!

Пайкрофт, коврик и я двинулись туда, где сов-

местно дымились автомобиль и Хинчклифф.

— Ну что, не так-то просто, как казалось, Хинч?

— Проще простого. Я поведу его в Инстед Уик… решено? — Выслушав предложение, с которым ко мне обратился флотский механик первого класса, я вспомнил о тех манипуляциях, которые он производил со своим двести шестьдесят седьмым, и кивнул. Если на то пошло, гению даже приятно оказать услугу.

— Только мой шофер будет рядом… первое время, — добавил я.

— Причем не забывай, что ты семейный человек, — буркнул Пайкрофт, проворно взбираясь на заднее сиденье с правой стороны. — Да уж… стоит нам повстречаться, на редкость суматошный выдается денек.

Мы заняли свои места и, как говаривал бессмертный флотский врач, отбыли, взяв курс на Лингхерст, до которого, судя по дорожному указателю, было 11 и 3/4 мили.

Мистер Хинчклифф, напряженный, как сжатый кулак, говорил только с шофером и только на профессиональные темы. Я вспомнил, что и мне когда-то нравилось распинаться на дыбе, на которой теперь добровольно раскачивался Хинч.

А графство Сассекс[92] не спеша плыло мимо.

— Осторожный нам попался механик, — сказал Пайкрофт.

— Даже на эсминце, — обернувшись, отрезал Хинчклифф, — один и тот же человек не может отдавать команду и поворачивать штурвал. Впредь воздержись от замечаний.

— Насос! — крикнул шофер. — Падает уровень воды.

— Я не слепой. Бога ради, где этот проклятый рычаг?

Он, как бешеный, стал шарить правой рукой по стенке, пока не наткнулся на изогнутый прут, как-то связанный с насосом, и, уже ни о чем ином не думая, судорожно его дернул.

Еще секунда — и мы были бы в кювете, но шофер успел повернуть руль.

— Если бы я был лучезарным павлином, в хвосте которого горят две сотни светящихся глазков, они понадобились бы мне все до единого для этой работенки! — сказал Хинч.

— Не болтай! Следи за дорогой! Это тебе не Северная Атлантика! — прикрикнул Пайкрофт.

— Ах, черт тебя возьми! Давление пара упало

---

[92] notes: 92

Сассекс — это графство стало постоянным местожительством Киплинга с 1902 г., см. стихотворение «Сассекс»

на пятьдесят фунтов! — вскрикнул Хинчклифф.

— Задуло горелку, — пояснил шофер. — Тормозите!

— Часто он такое вытворяет? — спросил Хинчклифф, спрыгнув на землю.

— Случается.

— Всегда?

— При встречном ветре — всегда.

Шофер достал спичку и нагнулся. В этом автомобиле (благодарение небу, уже отошедшем в область преданий) горелка никогда не зажигалась на один манер. На сей раз она вспыхнула восхитительно, и Пайкрофт в ореоле золотого пламени пал на землю, переброшенный через правое заднее колесо.

— Я как-то видел разрыв мины в Бантри[93]... до срока взорвалась, — сообщил он.

— Все отлично, — сказал Хинчклифф, приглаживая обожженным пальцем подпаленную бороду (он слишком низко наклонился, наблюдая за действиями шофера). — Интересно, этот кладезь веселых сюрпризов еще не исчерпался?

— Полнехонек, — снисходительно крякнув, сказал шофер. — Кто-то слишком широко открыл

---

[93] notes: 93

Бантри — залив и порт на юге Ирландии. Возможно, намек на англо-ирландские противоречия

питательный клапан.

— Пересядьте на мое место, Пайкрофт, — распорядился я, вдруг вспомнив, что и топливный краник, и регулятор, и тяга управляются с заднего сиденья справа.

— На ваше? Зачем? Вон у меня тут под рукой приборный щит со всякими никелированными побрякушками, а я к нему еще и не притронулся. Правый борт кишмя кишит этим добром.

— Пересядь, а то убью! — вдруг сказал Хинчклифф, и похоже было, что он так и сделает.

— Эти механики все такие. Когда у них что-то неладно, то всегда кочегар виноват. Плывите дальше сами, автоматические ваши души! Я вам не указчик.

Мы проплыли милю в мертвой тишине.

— Кстати о кильватерах, — вдруг сказал Пайкрофт.

— Мы о них не говорили, — буркнул Хинчклифф.

— Так вот, кстати, о них. На иной колее не поздоровится змее. А вот на вашей и червяка бы замутило. Вот и все, что я имею в виду, Хинч… Слева по курсу стоит на якоре телега. Это Эгг!

Далеко впереди на тенистой дороге, убегавшей в брумлинглейскую глушь, мы увидали знако-

мую телегу; она стояла перед зданием почтовой конторы.

— Фарватер перекрыт. Как же мне проскочить? Развернуться негде. Послушай, Пай, смени на время рулевого.

— Нет уж, стряпуха, сама кашу заварила — сама расхлебывай. Ты, можно сказать, покинул отчий дом и фамильную телегу, чтобы узурпировать этот руль. Вот и справляйся с ним.

— Дайте сигнал, — посоветовал я.

— Осанна! — вскричал Пайкрофт, боднув Хинчклиффа в затылок, когда автомобиль вдруг встал, как вкопанный.

— Вытащи свой нос из моей гривы! Наверно, я нажал на тормоз, — буркнул Хинчклифф и суетливо начал исправлять свою ошибку.

Мы миновали телегу, величественно, как колокольня. На пороге почты стоял Эгг и взирал на нас с неимоверным благодушием. Позже я вспомнил, что хорошенькая девушка из почтовой конторы жалостливо поглядела на нас.

Хинчклифф отер потное чело и перевел дыхание. Я ему посочувствовал: как-никак первый встретившийся нам экипаж.

— Что вы так вцепились в руль, — сказал шофер. — Это же совсем простое дело: едешь, словно

на велосипеде.

— Ха! Ты, верно, думаешь, я разъезжаю на велосипедах у себя в машинном отделении, — последовал ответ. — У меня других забот хватает. Эта посудина — сущая дьяволица. Свистит, как сумасшедшая. Я бы скорей согласился водить допотопный Северо-Восточный в Симонстауне[94].

— Кстати, как утверждают, одно из достоинств этого автомобиля, — вмешался я, — состоит в том, что для него не требуется шофер.

— Конечно. Семь шоферов для него требуется, а не один.

— «Здравый смысл — единственное, что вам нужно», — процитировал я рекламу.

— Запомни это, Хинч. Здравый смысл, и больше ничего, — вставил словечко Пайкрофт.

— Ну а теперь, — сказал я, — пора набрать воды. Осталось не больше двух дюймов.

— А откуда ее взять?

— Ну, мало ли… заедем в какой-нибудь домик.

— Во что же тогда превратятся ваши хваленые двадцать пять миль в час? Сновать по разным домикам уместней на телеге для навоза.

— Если вы хотите куда-нибудь добраться, во-

---

[94] notes: 94

Симонстаун — на восточном берегу мыса Доброй Надежды в Южной Африке

лей-неволей приходится сновать, — ответил я.

— Никуда я не хочу добраться. Я о вас забочусь. Это ведь вам всю жизнь возиться с этой таратайкой. Когда кончится вода, трубки сгорят?

— Сгорят.

— Никогда не участвовал в автомобильных гонках и впредь не собираюсь. — Он решительно перекрыл пар. — Пай, выметывайся, нам придется самим волочить его по дороге.

— Куда?

— К ближайшему водоему. А в Сассексе с водой паршиво.

— Здесь должны быть петли для буксировки. Этакие маленькие штуковинки, — сказал Пайкрофт.

Мы вылезли из автомобиля и, толкая его руками, прошли полмили под палящим солнцем, пока не набрели на малонаселенный домик, где обитало только плачущее дитя.

— Все, разумеется, на сенокосе, — сказал Пайкрофт, на миг заглянув в комнату. — Каковы дальнейшие маневры?

— Рассеяться по местности в поисках колодца, — сказал я.

— Гм! Странно все же, что малютку оставили без, как бы это выразиться, дуэньи… Так и знал!

Палка есть?

Синеватый безмолвный зверь из породы добрых старых овчарок выскользнул из-за амбара и без лишних слов приступил к делу.

Пока Пайкрофт отбивал атаку граблями, все остальные сплоченным строем отступали к автомобилю по кирпичной дорожке, огороженной по краям ящиками.

У калитки немой бес остановился, оглянулся на младенца, сел и стал чесаться задней ногой.

— Достиг нейтральных вод, благодаренье богу, — сказал Пайкрофт. — Всем построиться и продолжать сухопутную транспортировку баркаса. Я буду охранять вас с флангов, на случай если этот рассадник блох переоценит свои силы и от сопения перейдет к наступлению.

Мы молча толкали автомобиль. Он весил 1200 фунтов и даже, несмотря на шарикоподшипники, оказался эффективным потогонным средством. Из-за зеленой изгороди послышался грубый смех поселян.

— Вот, ради этих олухов мы, не смыкая глаз, бороздим морские просторы. Даже в Китае не найдется порта, где к нам относились бы хуже. «Боксер» и тот бы постеснялся так себя вести,

— сказал Пайкрофт[95].

К нам с рокотом приближалось по дороге облако мелкой пыли.

— Какое-то счастливое судно с хорошо оборудованным машинным отделением! Везет некоторым! — вздохнул Пайкрофт, перегнувшись через правое крыло.

Автомобиль темно-красного цвета с мотором, работающим на газолине, остановился, как поступают все благовоспитанные автомобили, завидев собрата в беде.

— Вода… просто кончилась вода, — ответил я, когда нам предложили помощь.

— Вон за той дубовой рощей есть охотничий домик. Там вам дадут все, что нужно. Скажете, я вас послал. Грегори… Майкл Грегори. До свиданья.

— Наверное, служил в армии. Может быть, служит и сейчас, — сделал вывод Пайкрофт.

В этом трижды благословенном домике мы наполнили водою бак (я не рискую процитировать ремарки Хинчклиффа по поводу нашего склад-

---

[95] notes: 95

…«Боксер» и тот… — Народное восстание в Китае 1899—1901 гг., подавленное соединенными силами восьми империалистических держав, в том числе англичанами. Названо «боксерским» — символом восставших был сжатый кулак. Эта, как и некоторые другие реплики персонажей рассказа, говорит о том, что это типичные служаки Британской империи, прибывшие домой на отдых или в отставку

ного резинового ведра) и вновь погрузились на борт. Кажется, этому сэру Майклу Грегори принадлежало бог весть сколько акров, а его парк простирался на многие мили.

— Через парк и поезжайте, — посоветовал нам егерь. — До Инстед Уика парком куда ближе, чем по шоссе.

Но нам нужен был газолин, который продавался в Пиггинфолде, в нескольких милях дальше по дороге, и, как судил нам рок, туда мы и свернули.

— Пока что мы проехали семь миль за пятьдесят четыре минуты, — сказал Хинчклифф (он теперь вел автомобиль гораздо более непринужденно и беспечно), — и вот, оказывается, нам еще предстоит заполнять бункера. Я бы скорее согласился служить на Ла-Манше.

Через десять минут в Пиггинфолде мы наполнили газолином и обильно смазали всю ходовую часть. Мистер Хинчклифф хотел уволить шофера в отставку, поскольку он (Хинчклифф) до тонкости постиг все тайны автомобилеходства. Но я отклонил эту идею, ибо знал свой автомобиль. Он уже «вытянул», как говорится на нашем дорожном жаргоне, полтора дня, и мой горчайший опыт мне подсказывал, что это крайний срок. Вот почему в трех милях от Лингхерста я уди-

вился меньше остальных, не считая, разумеется, шофера, когда двигатель вдруг заклохтал, как припадочный, раза два дернулся и заглох.

— Да простит мне бог те грубости, которые я, грешный, мог сболтнуть во время оно насчет эсминцев, — возопил Хинчклифф, рванув на себя регулятор. — Что с ним еще стряслось?

— Выпал передний эксцентрик, — сказал, покопавшись в машине, шофер.

— И только-то? А я думал — лопасть винта отвалилась.

— Надо найти его. У нас нет запасного.

— Я не участвую, — подал голос Пайкрофт. — Сигай с баркаса, Хинч, и обследуй пройденный маршрут. Вряд ли тебе придется проползти больше пяти миль.

Хинчклифф с шофером, склонив головы, двинулись по дороге.

— Похожи на этимологов, да? И часто он, так сказать, выметывает свои потроха на дорогу?

Я поведал ему без утайки, как однажды на хэмпширской дороге усеял шариками из подшипников четыре мили, а потом подобрал их все до единого. Мой рассказ глубоко его тронул.

— Бедняга Хинч! Бедный, бедный Хинч! — сказал он. — Самое главное: этот ваш забавник

может устроить каверзу еще похлеще. Даю слово, к вечеру Хинч затоскует по эсминцу.

Когда поисковая группа возвратилась с эксцентриком, не кто иной, как Хинч, водворил его на место, к вящему восхищению шофера, потратив на это не более пяти минут.

— Ваш котел держится на четырех канцелярских скрепках, — сообщил он, выползая из-под авто. — Снизу это просто плетеная корзиночка для ленча. Некое передвижное чудо. Как давно вы приобрели эту спиртовку?

Я ответил.

— И вы еще опасались войти в машинное отделение «Вампира», когда мы отправлялись в пробный рейс.

— Дело вкуса, — высказался Пайкрофт. — Впрочем, отдам тебе должное, Хинч, ты и вправду очень быстро освоил всю эту паровую галиматью.

Хинчклифф очень плавно вел автомобиль, но в глазах светилось беспокойство, рука дрожала.

— Что-то не ладится со штурвалом, — сказал он.

— О, с рулем всегда забот не оберешься, — сказал шофер. — Обычно мы через каждые несколько миль закрепляем его заново.

— Так мне что — остановиться? Мы уже целых полторы мили проехали без аварий, — едко сказал Хинчклифф.

— Ваше счастье, — отпарировал шофер.

— Сейчас эти специалисты назло друг другу устроят крушение. Вот оборотная сторона механизации. Хинч, прямо по курсу человек, сигналит, словно флагманский корабль, готовый затонуть.

— Аминь! — ответил Хинчклифф. — Остановиться или сбить его?

Он все-таки остановился, так как прямо посреди дороги стоял некто в крапчатом шерстяном одеянии (сшитом не на заказ) и вынимал из коричневого конверта телеграмму.

— Двадцать три с половиной мили в час, — проговорил он, покачивая зажатым в красной лапище сигнальным фонариком. От вершины этого холма и до отметки, сделанной через четверть мили, скорость — двадцать три мили в час.

— Ах ты, жук навозный, — начал Хинчклифф.

Я предостерегающе ткнул его в спину, одновременно положив другую руку на закаменевшее колено Пайкрофта.

— Кроме того… по полученным данным… опасное для окружающих нарушение порядка…

пьяная компания ведет автомобиль… двое по внешности напоминают моряков, — продолжил он.

— Напоминают моряков! Это Эгг нам удружил. То-то он так ухмылялся, — сказал Пайкрофт.

— Я вас тут уже давно поджидаю, — в заключение сказал констебль, складывая телеграмму. — Кто владелец автомобиля?

Я ответил.

— Тогда и вам придется проследовать за мной вместе с обоими моряками. Бесчинство в пьяном виде подлежит немедленному наказанию. Прошу.

До этих пор я был в наилучших отношениях с полицейскими силами Сассекса, но воспылать приязнью к этому субъекту я не сумел.

— Вы, разумеется, можете подтвердить свои полномочия, — деликатно начал я.

— Я их вам в Лингхерсте подтвержу, — запальчиво отрезал он. — Все полномочия, какие вам угодно.

— О, мне просто хотелось взглянуть на ваш значок, или удостоверение, или что там еще должны показывать полицейские в штатском.

Он как будто бы намеревался выполнить мою просьбу, но передумал и уже менее вежливо

повторил приглашение проследовать в Лингхерст. Его поведение и тон подтверждали мою многократно опробованную теорию, что основой подавляющего большинства расположенных на суше английских учреждений служит герметически непроницаемый пласт махрового разгильдяйства. Я стал собираться с мыслями и тут услышал, как Пайкрофт, который сразу весь обмяк и свесил голову вниз, что-то выстукивает костяшками пальцев по спинке переднего сиденья. Физиономия Хинчклиффа, еще совсем недавно пылавшая необузданным гневом, светилась теперь благостным идиотизмом. Легким кивком он указал на руль. То коротко, то долго, как завещал высокочтимый и бессмертный Морзе, Пайкрофт выстукивал: «Притворимся пьяными. Заманите его в автомобиль».

— Я не могу стоять тут весь день, — сказал констебль.

Пайкрофт поднял голову. Вот теперь вы могли оценить, с каким величием британский моряк встречает неожиданный поворот судьбы.

— Дж-жен-нельмен сильно уклонился от курса, — сказал он. — Как по-вашему, разве не может британский дж-женльмен подвезти британский флот на своей собственной р-распроклятой паро-

вой телеге? Выпьем еще раз.

— Когда они меня остановили, я не заметил, что они до такой степени пьяны, — пояснил я.

— Вы скажете все это в Лингхерсте, — последовал ответ. — Пошли.

— Так-то так, — сказал я. — Но вот в чем заминка: если вы их вытащите из автомобиля, они либо свалятся на землю, либо ринутся вас убивать.

— В таком случае я требую, чтобы вы помогли мне выполнить мой долг.

— После дождичка в четверг. Лучше садитесь к нам. Этого пассажира я выставлю. (Я указал на сидевшего молча шофера.) Вам он ни к чему и, уж во всяком случае, будет выступать как свидетель защиты.

— Верно, — сказал констебль. — А впрочем, ваши показания ничего не изменят… в Лингхерсте.

Шофер метнулся в заросли папоротника, как кролик. Я велел ему бежать через парк сэра Майкла Грегори и, если он застанет моего приятеля, сообщить ему, что, вероятно, я несколько опоздаю к ленчу.

— Я не допущу, чтобы *этот* сидел за рулем. — Наша жертва с опаской кивнула на Хинчклиффа.

— Ну, разумеется. Вы сядете на мое место и будете приглядывать за этим рослым моряком.

Он так пьян, что и рукой не шевельнет. А я займу место того, другого. Только поскорее: уплатив штраф, я должен сразу же уехать.

— Вот именно, — сказал он, плюхнувшись на заднее сиденье, — штраф. Немалые денежки собираем мы с вашей братии.

Он с важным видом скрестил руки, а тем временем Хинчклифф украдкой отчалил.

— Послушайте, он же остался за рулем, — привскочив, крикнул наш пассажир.

— Вы это заметили? — сказал Пайкрофт, и его левая рука, как анаконда, обвила полисмена.

— Оставь его в живых, — коротко распорядился Хинчклифф. — Я хочу ему продемонстрировать, что такое двадцать три с четвертью мили.

Мы шли со скоростью чуть ли не двенадцать, что для нас фактически было пределом.

Наш пленник шепотом ругнулся и застонал.

— Цыц, дорогуша! — сказал Пайкрофт. — Не то я обниму тебя покрепче.

Широкая, белая в лучах полуденного солнца дорога вела нас прямехонько в Лингхерст. Мы поехали медленнее, встревоженно соображая, куда бы свернуть.

— Ну а теперь, — сказал я, — будьте любезны, предъявите ваши полномочия.

— Знак воинского ранга, — уточнил Пайкрофт.

— Я констебль, — сказал наш гость и брыкнул ногой.

Судя по сапогам, он и впрямь обошел добрую половину сассекских пашен; но сапоги — не удостоверение личности.

— Предъявите ваши полномочия, — повторил я сухо. — Чем вы докажете, что вы не пьяный бродяга?

Предчувствия меня не обманули. Он не захватил с собой значок или где-то потерял его.

Он, видите ли, не удосуживался соблюдать элементарные формальности при выполнении работы, которая ему давала престиж и деньги; и после этого еще хотел, чтобы я, налогоплательщик, взвалил на себя из-за его же нерадивости всякие хлопоты.

— Если вы мне не верите, едемте в Лингхерст, — эта формула в его устах звучала почти как припев национального гимна.

— Да не могу я колесить через все графство каждый раз, когда какой-то вымогатель вздумает объявить себя полисменом.

— Но это совсем близко, — не унимался он.

— Скоро будет далеко, — возразил Хинчклифф.

— Другие в таких случаях никогда не спорят.

Видно, они-то настоящие джентльмены, — выкрикнул полисмен. — Одно скажу: все это, может быть, очень смешно, да только совести у вас нет.

Он вел свою линию, я — свою, в результате мы оба топтались на месте. Он забыл значок, а мы, мерзавцы, не желаем подвезти его к трактиру или ферме, где он его оставил.

Тем временем мы все дальше катили по дороге, и Пайкрофт неодобрительно слушал его жалобы.

— Если бы он был чистопородным буром, то и тогда не заслужил бы лучшего обращения, — произнес он наконец. — Вот представьте, что я — дама в интересном положении — он ведь просто уморил бы меня такими выходками.

— Жаль, что не могу этого сделать. Эгей! На помощь! На помощь! Эй! Эй!

В пятидесяти ярдах впереди, там, где дорога пересекалась с обсаженным изгородью проселком, наш узник увидел констебля в форме, но тут же вынужден был замолчать, ибо Хинчклифф так резко свернул на проселок, что мы чудом избегли крушения, проскользнув мимо грузно бежавшего к нам второго констебля.

Мне показалось, что наш пассажир и его сообщник в форме обменялись улыбками, когда автомобиль свернул к востоку на все суживаю-

щийся тенистый проселок.

— Ну, теперь вам вскорости вправят мозги, — сказал наш гость. — Сами влезли в ловушку, себя и вините.

Он стал насмешливо что-то насвистывать.

Мы ни слова не ответили.

— Этот человек мог бы удостоверить мою личность, — сказал он.

Мы по-прежнему молчали.

— Он и сделает это — потом, когда вас сцапают.

— Если ты тут же замолчишь. В противном случае ему это не удастся, — сказал Пайкрофт. — Я не знаю, каким галсом ты идешь, но пока тебя не посадили в каталажку за разбой на большой дороге, твоя первейшая обязанность — чтить, любить и ублажать меня, а также спешно и оперативно маневрировать, сообразуясь с поданными мною сигналами. Это я тебя предупреждаю на случай, как бы не стряслось какой беды.

— Не беспокойтесь, не стрясется, — был ответ.

Хинчклифф открыл до отказа регулятор, автомобиль наддал как следует, и вдруг нежданно-негаданно наш проселок — в Сассексе таких два или три — уткнулся в обрыв.

— Ах, пропади ты пропадом! — крикнул Хинчк-

лифф и нажал на тормоза, но шины беспомощно скользили по сырой траве, и мы спускались все ниже и ниже в поросшую молодыми деревьями рощицу. Новый кошмар пришел на смену предыдущему, и, дополняя картину, в пятидесяти ярдах впереди, преграждая нам путь, журчал ручей. По ту сторону оврага бархатисто-зеленый проселок — где в траве шныряли кролики и кудрявился папоротник — поднимался вверх полого, зато совсем иначе он выглядел сзади нас. Сорока лошадиных сил никак не хватало, чтобы втащить вверх на крутой травянистый обрыв мокрые надувные шины.

— Гм! — многозначительно крякнул наш гость. — Очень многие автомобили норовят сюда свернуть и возвращаются все до единого. А мы уж помаленьку движемся им навстречу.

— Иными словами, тот хлыщ, которого я чуть не сшиб, уже чешет в эту сторону?

— Точно так.

— И ты думаешь, — сказал Пайкрофт (тщетны были бы попытки передать презрение, звучавшее в его словах), — это хоть на йоту что-нибудь изменит? Вылезай!

Констебль с готовностью повиновался.

— Видишь те поставленные торчком реи? Сло-

вом, тот вигвам. Ну — жерди, деревенщина! Бегом марш за этими жердями.

Констебль припустил бегом. Пайкрофт следом за ним; они достигли полного взаимопонимания. Чуть поодаль у ручья виднелся штабель переносных плетней, оставленных после купания овец, а поперек ручья были положены для перехода большие камни. Хинчклифф соорудил из них нечто вроде плотины; я приволок плетни; и когда Пайкрофт и его подручный перебросили через ручей штук двенадцать жердей, я свалил поверх всего плетни.

— Что там ваш Сельскохозяйственный павильон[96]! — сказал Пайкрофт, вытирая потный лоб. — Куда ему до нас. Подступы к мосту выстлать плетнями, приняв в расчет болотистый характер местности. Да, и еще штуки две перебросьте на ту сторону, дабы обеспечить переправу на terra fermior.[97] Ну а теперь, Хинч, полный пар и ходу! Если рухнет — нам конец. Штурвал доверен мне?

---

[96] notes: 96

Сельскохозяйственный павильон. — На Лондонской выставке впервые возводились постройки из стекла и железа, они крепились металлическими фермами.

[97] notes: 97

Твердую землю (лат.).

— Нет. Это мое дело, — ответствовал механик первого ранга. — Перебирайтесь на другую сторону и будьте наготове, на случай если наша барка не возьмет подъем.

Мы прошли по шатким мосткам и остановились, ожидая. Хинчклифф дал полный пар, и авто, как эсминец, ринулось вперед. Раздался треск, мелькнул белый фонтан воды, и вот автомобиль уже в пятидесяти ярдах над ручьем, в наших объятиях, вернее, мы отчаянно подталкиваем его сзади к песчаной площадке, где наконец перестанут скользить колеса. От моста осталось только несколько лихорадочно трясущихся жердей и провалившиеся в грязь плетни на подступах.

— Сам переправился и тут же разметал всю переправу, благо не сколочена, — пропыхтел Хинчклифф.

— В Сельскохозяйственном павильоне жерди связали бы шнуром, — сказал Пайкрофт. — Но мы ведь не в Олимпии.

— Чуть не выдернул румпель у меня из руки. Пай, тебе не кажется, что я провел его, как бог?

— Лично я отродясь не видел ничего подобного, — льстиво вмешался наш пассажир. — Ну а теперь, джентльмены, если вы позволите мне вернуться в Лингхерст, вы обо мне больше и сло-

вечка не услышите.

— Садись, — сказал Пайкрофт. Мы только что вытолкнули автомобиль на дорогу. — У нас с тобой еще все впереди.

— Шутить, конечно, можно, — сказал констебль. — Я сам не прочь немного пошутить, только не выходите за пределы.

— Мы выйдем за пределы на множество миль, если выдержит эта посудина. Скоро нам нужна будет вода.

Лицо нашего пассажира просветлело, что не ускользнуло от Пайкрофта.

— Да будет тебе известно, — произнес он доверительно, — что бы с нами ни случилось, тебя это не коснется. За исключением одного-двух дхау[98], нашему флоту не везет с трофеями. Поэтому мы ими не пренебрегаем.

Последовало долгое молчание. Его неожиданно нарушил Пайкрофт.

— Роберт, — сказал он. — У тебя есть мать?

— Да.

— А старший брат?

— Есть.

— А младшая сестренка?

---

[98] notes: 98

Дхау — небольшое индийское судно.

— Тоже.

— Роберт, а собаку твоя мать держит?

— Да. Откуда вы знаете?

— Отлично, Роберт. Я этого не забуду.

Я вопросительно взглянул на Пайкрофта.

— Я видел его кабинетную фотографию в полной форме на камине того коттеджа, откуда нас изгнал верный Фидель, — шепнул Пайкрофт. — Правда, приятно, что все это происходит как бы в кругу семьи?

Мы наполнили бак водой в домике на опушке леса святого Леонарда и, не взирая на все усиливающуюся утечку, сделали попытку взобраться на хребет, по другую сторону которого находился Инстед Уик. Зная свой автомобиль, я не сомневался, что не далек тот час, когда он полностью выйдет из строя. Моей единственной заботой было увезти нашего пленника как можно дальше от обитаемых мест, прежде чем это случится.

На крыше мира — голом плато, поросшем только молодым вереском, — автомобиль закончил свою деятельность, залившись бурным потоком слез.

В радиаторе (Хинчклифф три минуты славословил и его, и его создателя) образовалась такая течь, что заделать ее даже мечтать не прихо-

дилось; прокладка сдвинулась, водяной насос заело.

— Если бы у меня был трубопровод, я бы отключил этот жестяной патронташ и накачал воду прямо в котел. Скорость бы снизилась, но мы смогли бы ехать.

Он окинул безнадежным взглядом длинные бурые хребты, вознесшие нас над равнинной частью Сассекса. На севере туманился Лондон. На юге между крутыми, как спины китов, береговыми уступами виднелся цинково-голубой Ла-Манш. Что до населения, то на всем этом обширном пространстве нам предоставлялся выбор только между коровой и пустельгой.

— Инстед Уик — внизу. Можно скатить автомобиль по склону, — сказал я наконец.

— Тогда этот фрукт пешком доберется до станции и отправится восвояси. Правда, можно снять с него сапоги, — сказал Пайкрофт.

— Кража, — с жаром произнес наш гость, — отягчающее обстоятельство при оскорблении действием.

— Да повесить его, и делу конец, — буркнул Хинчклифф. — Он же явно сам напрашивается.

Но нас как-то не влекло к убийству в этот жаркий полдень. Мы сели на вереск покурить, и

вскоре снизу донесся басовитый рокот идущего в гору газолинового автомобиля. Я почти не обратил на него внимания, как вдруг услышал рев рожка, подобного которому не раздавалось во всех прилегающих к Лондону графствах.

— Вот к нему-то я и ехал в гости! — крикнул я. — Мужайтесь! — И я побежал вниз по дороге.

Это был большой черный «октопод» мощностью в двадцать четыре лошадиных силы, кузов которого открывался сзади; в нем сидели не только мой друг Киш и Сэлмон, его шофер, но и мой собственный шофер, на чьем лице я впервые за все время нашего знакомства видел улыбку.

— Вас что, арестовали? В чем они обвиняют вас? Я уже ехал в Лингхерст, чтобы за вас поручиться — ваш человек мне все рассказал, — но возле Инстед Уика меня самого задержали, — крикнул Киш.

— За что?

— Оставил без присмотра автомобиль. Просто наглая придирка, если вспомнить, сколько непривязанных телег торчит у каждого трактира. Я препирался с полицейскими целый час и все без толку. Они ведь всегда правы, их не переспоришь.

Засим я поведал ему нашу историю и, когда

мы въехали на вершину, в подтверждение своих слов указал на маленькую группку, сгрудившуюся возле автомобиля.

Высокие чувства всегда немы. Киш нажал на тормоз и привлек меня к своей груди с такой силой, что я застонал. Помнится, он даже что-то потихоньку мурлыкал, как мать, истосковавшаяся по младенцу.

— Дивно! Дивно! — пробормотал он. — Жду ваших распоряжений.

— Возлагаю все на вас, — сказал я. — На шканцах вы обретете некоего мистера Пайкрофта. Сам я полностью выбываю из игры.

— Полицейского не отпускать ни в коем случае. Кто я ныне, как не орудие мести в руках всемогущего Провидения? (Кстати, утром я сменил запальные свечи.) Сэлмон, переправьте как-нибудь домой этот кипящий чайник. Я один тут справлюсь.

— Леггат, — сказал я своему шоферу, — помогите Сэлмону доставить автомобиль к их дому.

— К их дому? Сейчас? Это же очень тяжело. Это невыносимо тяжело.

Он чуть не плакал.

Хинчклифф вкратце описал шоферам состояние автомобиля. Пайкрофт ни на шаг не отходил

от нашего гостя, который с ужасом оглядывал подрагивающий «октопод»; а вольный ветер сассекского нагорья со свистом пробегал по вереску.

— Я вполне согласен дойти до дому пешим ходом, — сказал констебль. — Ни на какую станцию я не пойду. Малость поразвлекались, и кончим все ладом.

Он нервно хихикнул.

— Каковы наши дальнейшие действия? — спросил Пайкрофт. — Переходим на борт того крейсера?

Я кивнул, и он с великим тщанием препроводил своего подконвойного в кузов. Когда я занял свое место, он, широко расправив плечи, опустился на маленькое откидное сиденье у двери. Хинчклифф сел рядом с Кишем.

— Вы водите? — спросил Киш с той улыбкой, что проторила его полный взлетов и падений жизненный путь.

— Только паровые, и благодарю покорно, на сегодня с меня достаточно.

— Вижу.

Продолговатый, низкий автомобиль мягко скользнул вниз и пулей промчался по склону, на который мы вскарабкались с таким трудом. Лицо нашего гостя побелело, и он судорожно вцепился

в спинку кузова.

— Наш новый капитан, несомненно, проходил выучку на эсминце, — сказал Хинчклифф.

— Как его зовут... чудно как-то? — прошептал Пайкрофт. — Хо! Очень приятно, что мы не напоролись на Саула[99]... или, скажем, Нимши[100]. Настраивает на религиозный лад.

Мы поднялись по инерции до середины следующего холма, здесь скорость упала до пятнадцати, и Кишу не без усилия удалось сохранить ее в этих пределах.

— Ну, как? — спросил я Хинчклиффа.

— Паровой мне, конечно, милей, зато по мощности — это все равно что удвоенный «Бешеный» и половинка «Джазуара», когда они идут рядом навстречу приливной волне.

Целые тома напишешь, а не скажешь точнее. Он с живым интересом следил за руками Киша, манипулировавшего рычагами под скромно оснащенным приборным щитком.

— А каким тормозом бы вы воспользовались? — спросил он учтиво.

— Этим, — ответил Киш, и перед нами вырос

---

[99] notes: 99
Саул — первый из царей Израилевых.

[100] notes: 100
Нимши — божество индийской мифологии.

новый холм, невероятной крутизны.

Киш дал автомобилю откатиться на несколько футов назад, затем проворно нажал на тормоз, после чего воспроизвел известный опыт с шариком, вращающимся внутри чашки. Нам казалось, что нас носит над огромной пропастью, как в центрифуге. Даже у Пайкрофта перехватило дыхание.

— Ох, бессовестные! Ох, бессовестные! — стонал наш гость. — Меня тошнит.

— До чего неблагодарная скотина! — сказал Пайкрофт. — В такой вояж ты ни за какие деньги не попал бы… Э! Перегнись-ка подальше за борт.

— Нам, по-моему, осталось лишь подняться по лесу, а дальше уже вниз — к Парковой полосе, — сказал Киш. — Отличные тут места для поездок.

Он небрежно надавил коленом на наклонный рычаг — заурядный специалист зажал бы его под мышкой, — и «октопод», напевая, как шестидюймовая раковина, четыре мили несся вниз по желтой дороге, прорезавшей голую пустошь.

— Ну-ну, специалист вы отменный, — сказал Пайкрофт. — Зря пропадаете здесь. У себя в машинном отделении я бы вам подыскал работенку.

— Он правит ногами, — умилился Пайкрофт. — Роберт, встань и погляди. Ты такого в жизни

не увидишь.

— И видеть не хочу, — последовал ответ. — За все эти его штуки — пятьсот фунтов — это все едино, что без штрафа отпустить.

Парковая полоса начинается у подножья горы, высота которой — три сотни футов, а протяженность склона — полмили. Киш намеревался переправить нас через эту пропасть, держа руль одной рукой и свесив за борт другую, но он так лихо проскочил кривой мостик на дне ущелья, что навел меня на мысли о быстротечности нашей жизни.

— Берегитесь! Мы уже в Саррее, — сказал я.

— Наплевать. Мы и в Кент завернем. Еще только три часа, у нас уйма времени.

— А вам не надо заполнить бункера, запастись водой, что-нибудь смазать? — спросил Хинчклифф.

— Вода мне вообще не нужна, а газолина в одном баке, если не случится аварии, хватит на две сотни миль.

— К вечеру ты будешь за две сотни миль от родного дома, маменьки и верного Фиделя, — сказал Пайкрофт, хлопая нашего гостя по колену. — Не унывай. Такой автомобиль — это почище, чем иной эсминец.

Мы не без достоинства миновали несколько городков, пока на гастингской дороге не плюхнулись в Камберхерст, представлявший собой глубокую яму.

— Ну, началось, — сказал Киш.

— Предшествующая служба при начислении пенсии не учитывается, — сказал Пайкрофт. — Как мы балуем тебя, Роберт.

— Когда вам надоест наконец дурью мучаться, — проворчал наш гость.

— *Когда* — это неважно, Роберт. *Где* — вот чем бы тебе следовало поинтересоваться.

Я и раньше видел Киша за рулем и полагал, что знаю «октопод», но я не ждал от них такого вдохновения. Импровизируя, он ударял по клавишам — лязгающим рычагам и трепетным педалям, создавая волшебные вариации и превращая наше путешествие то в фугу, то в сельский танец, а потом вдруг на каком-нибудь зеленом выгоне украшал их затейливыми колечками трели. Когда я пытался его урезонить, он говорил лишь: «Хочу загипнотизировать эту курицу! Хочу ошарашить того петуха!» — или еще что-нибудь, столь же легковесное. А «октопод» был выше всяческих похвал. Задрав широкий черный нос навстречу закатному солнцу, он возносил нас на

вершины холмов, чтобы порадовать красотою ландшафта. Нырял, ухая, в сумрачные ложбины, поросшие вязом и сассекским дубом; поглощал бесконечные просторы рощ; пронизывал заброшенные деревушки, пустынные улицы которых отзывались удвоенным эхом на треск выхлопов, и, не ведая усталости, повторял все сызнова. Жужжал, как летящая в улей пчела, прочеркивая голые нагорья длинной тенью, а та становилась все длинней, по мере того как солнце удирало от нас в свою нору. Он выискивал неведомые никому дороги, проезды, по которым было труднее всего проехать; и его дивные рессоры помогали ему брать без единого толчка и засохшие борозды торфа, и свежевырытые кротовые норы. А поскольку на Большой королевской дороге делают все, что угодно, только не ездят, ему приходилось на полном ходу то сторониться, то выписывать какие-то невероятные петли, чтобы не наткнуться на кучера, лишенного мозгов, или лошадь, лишенную кучера, пьяницу возчика, влюбленную пару, студентку на велосипеде и трясущегося за ней следом инструктора, свинью, детскую коляску, детский приют (в тот миг, когда его население с визгом выплескивалось на перекресток), и все это с грацией Нелли Феррен

(да почиет в мире) и небрежным удальством любого из членов семейства Воксов. Но в душе он был Юдифью, той Юдифью, которую я помню с давних пор; Юдифью, от кистей до пят чопорно облаченной в черное и откалывающей самые рискованные проделки[101].

Мы все молчали: Хинчклифф и Пайкрофт, любуясь искусством коллеги; я — с восторгом дилетанта перед мастером; наш гость — от страха.

К вечеру, учуяв с юга запах моря, «октопод» взял курс в ту сторону и, как могучий альбатрос, стал описывать огромные круги среди зеленых равнин, окаймленных башнями фортов береговой охраны.

— Что это, не Итсбурн ли? — оживился наш пленник. — У меня там тетя… служит у мирового судьи в кухарках… она могла бы установить мою личность.

— Не стоит беспокоить ее из-за таких пустяков, — сказал Пайкрофт; и, прежде чем он кончил панегирик в честь родственных чувств, наших нелицеприятных судилищ и деятельности домашней прислуги, между нами и морем выросли меловые скалы и показался протянувшийся по

---

[101] notes: 101

Нелли Феррен, Воксы, Юдифь — актеры варьете, куда любил ходить Киплинг

торфяной равнине Хиллингдон.

— Тревингтон — вон та деревушка… расположена, пожалуй, на отшибе, — сказал я, начиная чувствовать голод.

— Нет, — ответил Киш, — оттуда его вмиг довезут до станции… и вообще, не отравляйте мне удовольствие… Три фунта восемнадцать да еще шестипенсовик. Возмутительнейшие придирки!

Я понял, что его терзают воспоминания о каком-то из уплаченных прежде штрафов, но автомобиль он вел, как сам Архангел Полутьмы.

Примерно на долготе Кэссокса Хинчклифф зевнул.

— Высадим мы наконец на какой-нибудь необитаемый остров нашего Роберта? Я тоже хочу есть.

— Капитан желает откатать всю выплаченную им на штрафы сумму, — пояснил я.

— Если он ездит так всегда, ему причитается немалый куш, — сказал Пайкрофт. — У меня нет возражений.

— Я и не слыхивал о таких вещах. Господи, помоги мне. Слыхом не слыхивал, — бормотал наш гость.

— Так услышишь, — сказал Киш.

Это была первая и последняя реплика, с кото-

рой он обратился к констеблю.

Мы проехали через Пенфилд Грин, одурманенные свежим воздухом, ошалевшие от неумолчного гула автомобиля и умирающие от голода.

— Когда-то я здесь охотился, — сказал Киш, проехав еще несколько миль. — Откройте, пожалуйста, эти ворота. — Он притормозил в тот самый миг, когда солнце коснулось горизонта. Мы свернули с шоссе и минут двадцать резво прыгали среди деревьев по канавам.

— Покупайте только «вездеходы», — сказал он, въезжая на скотный двор, где одинокий бык грозным ревом откликнулся на наше шумное вторжение. — Откройте, пожалуйста, эти ворота. Надеюсь, мостки выдержат.

Доски затрещали под колесами, и мы врезались в густой кустарник.

— Мне, бывало, тоже приходилось рисковать, — сказал Пайкрофт, — но по сравнению с этим человеком я грудной младенец, Хинч.

— Не отвлекай меня. Наблюдай за ним. Вот оно, как говорит Шекспир, широкое образование. Слева по борту упавшее дерево, сэр.

— Отлично. Это моя веха. Держись крепче!

Задрав хвост, как ныряющий кит, автомобиль увлек нас на пятнадцать футов вниз по вьючной

тропе, на которой густо переплетались голые корни огромных буков. Колеса перескакивали с корня на корень в полной тьме, которая царила здесь, в тени.

— Где-то тут неподалеку выкопан пруд, — сказал Киш. Он так усердно жал на тормоза, что автомобиль катился вниз, трясясь, как паралитик.

— Прямо по курсу — вода, сэр. Справа по борту груда хвороста и... нет дороги! — выкрикнул Пайкрофт.

— Вот это да! — воскликнул Хинчклифф, когда автомобиль, отчаянно накренившись влево, рванул назад и каким-то чудом ухитрился обогнуть угол нависшей над прудом тропы. — Ему бы еще два винта, и он, наверное, сумел бы сочинять стихи. Все остальное он уже умеет.

— Нас порядком кренит влево, — сказал Киш, — но, думаю, мы все-таки удержимся. По этой дороге редко ездят на автомобилях.

— Да что вы? — сказал Пайкрофт. — Какая жалость!

С треском пробившись сквозь чащу густого кустарника, мы вдруг вынырнули на полого поднимающуюся в гору поросшую папоротником поляну, окруженную столь девственным, столь

первозданным лесом, что, казалось, в нем только что скрылся Уильям Руфус. Мы выбрались из фиолетово-багровой тени и двинулись вверх, туда, где еще брезжил день. Здесь все вокруг будило ассоциации и чувства такой благоговейной красоты, что у меня повлажнели глаза.

— Бывают галлюцинации от голода? — шепотом спросил Пайкрофт. — Я только что видел, как священный ибис прошелся под ручку с нашим британским фазаном.

— Ну и чего ты всполошился? — сказал Хинчклифф. — Я уже две минуты вижу зебру и не жалуюсь.

Он указал рукой назад, и я увидел изумительно расписанную зебру (по-моему, бурчелевую), которая, раздувая ноздри, шла за нами следом. Автомобиль остановился, и зебра убежала.

Прямо перед нами был маленький пруд, над водой виднелся сложенный из палочек и веток купол, на верхушке которого сидел какой-то тупомордый зверь.

— Это заразительно? — спросил Пайкрофт.

— Да. Я, например, вижу бобра, — ответил я.

— Здесь! — сказал Киш, полуобернувшись к нам с жестом и осанкой капитана Немо.

— Нет, нет, нет! Бога ради… не здесь!

Наш гость судорожно глотнул воздух, как плывущий по волнам ребенок, когда четыре привычные к делу руки вышвырнули его далеко за борт. Автомобиль беззвучно стал откатываться вниз по склону.

— Глядите-ка! Глядите! Чудеса! — крикнул Хинчклифф.

Что-то щелкнуло, как пистолетный выстрел, — это с крыши своей хатки нырнул в воду бобер, но мы глядели не на бобра. Наш гость, стоя на коленях, возносил молитву четырем кенгуру. Да, не снимая котелка, он стоял коленопреклоненно перед четырьмя кенгуру, чьи огромные, поднявшиеся столбиком силуэты вырисовывались на фоне заката, — перед четырьмя самцами кенгуру в самом сердце графства Сассекс.

А мы откатывались все дальше по бархатистой траве, покуда наши задние колеса не коснулись утрамбованной дороги, которая нас привела в мир здравомыслия, оживленных шоссе и получасом позже к гостинице «Якорь» в Хоршеме.

За обильным ужином последовали возлияния с тостами в честь Киша, который милостиво принял эти знаки благоговения и попутно просветил нас по части некоторых загадочных явлений из области естественной истории. Ан-

глия поразительная страна, но тем, кто незнаком с причудами наших богатых землевладельцев, трудно вообразить себе, каким образом в ее пейзаж вписываются зебры, кенгуру и бобры.

Когда мы расходились по спальням, Пайкрофт стиснул мою руку и сказал осипшим от волнения голосом:

— Это все вы. Мы полностью обязаны вам. Разве не говорил я, что стоит нам повстречаться на p-p-p puris naturalibus, если я могу так выразиться, нас поджидает на редкость суматошный денек.

— Это да, — ответил я. — Осторожней со свечкой.

Он разрисовал стену дымящим фитилем.

— Но я вот что хотел бы знать: наш паршивец свыкнется со средой или егерям сэра Уильяма Гарднера придется его пристрелить.

Я думаю, чтобы выяснить это, мы будем вынуждены когда-нибудь еще раз проехать по Лингхерстскому шоссе.

МИССИС БАТЕРСТ[102]

Перевод В. Хинкиса

В тот самый день, когда мне вздумалось посетить корабль королевского военного флота «Перидот» в бухте Саймон[103], адмиралу вздумалось отправить его в плаванье вдоль побережья. Когда подошел мой поезд, он уже дымил в отдалении, и, поскольку команды остальных судов либо грузили уголь, либо занимались учебной стрельбой в горах, на высоте в тысячу футов, я застрял на портовой окраине, голодный и беспомощный, не имея надежды вернуться в Кейптаун раньше пяти вечера. Положение мое было отчаянное, но, к счастью, я повстречал своего друга Хупера, инспектора правительственных железных дорог, который имел для личного пользования паровоз

---

[102] notes: 102

Рассказ написан в 1904 г., вошел в сборник «Пути и открытия». В рассказе Киплингом был использован опыт его южноафриканских впечатлений, которые он накапливал во время ежегодных летних поездок в Южную Африку.

[103] notes: 103

Бухта Саймон — с восточной стороны мыса Доброй Надежды. По другую сторону, на западе, крупнейший город Южной Африки — Кейптаун. Упоминаемые далее Мейсенберг, Сент-Джеймс и Колка — приморские места мыса Доброй Надежды.

и служебный вагон, предназначенный, судя по надписи мелом, для отправки в ремонт.

— Если вы раздобудете чего-нибудь поесть, — сказал Хупер, — я отвезу вас по Гленгарифф-ской ветке в тупичок, и мы подождем, покуда не прибудет товарный состав. Там, понимаете ли, прохладней, чем здесь.

Я купил кое-какие припасы у греков, которые торгуют всякой всячиной по бешеным ценам, и паровоз, пробежав несколько миль, довез нас до бухты, окаймленной песчаными наносами, где в сотне шагов от воды оказалась дощатая платформа, полузасыпанная песком. Ровные дюны, которые были белее снега, простирались далеко в глубь лиловато-бурой долины меж растрескан-ных скал и сухого кустарника. Малайские рыбаки дружно тянули сеть на берег, рядом стояли две лодчонки, синяя и зеленая; какие-то люди, приехавшие на пикник, плясали босиком на отмели, через которую протекал крошечный ручеек, море радужно сверкало, а по другую сторону нас обступали горы, чьи подножья тонули в серебристых песках. У обоих концов бухты железнодорожная линия проходила прямо над верхней отметкой прилива, огибала нагромождение скал и скрывалась из вида.

— Ну вот, здесь, понимаете ли, всегда дует с моря, — сказал Хупер, отворяя дверь, когда паровоз отошел, а наш вагон остался на пустынном полотне, и сильный юго-восточный ветер, разгуливая под пиком Элси, начал посыпать песком наше дрянное пиво. Хупер сразу же открыл папку, полную подшитых бумаг. Он недавно вернулся из долгой поездки, во время которой собирал сведения о поврежденном подвижном составе по всей стране, до самой Родезии. Приятное прикосновение ветра к моим смеженным векам; его посвист под крышей вагона и высоко в горах; монотонный шелест песчинок, которые пересыпались по берегу, обгоняя друг друга; плеск волн; голоса на отмели; шуршание бумаг под рукой Хупера и беспощадное солнце усиливали действие пива, погружая меня в фантастическую дрему. Вместо прибрежных гор мне уже чудились сияющие волшебные вершины, но вдруг я услышал, как кто-то прошел по песку снаружи, потом звякнула сцепка.

— Прекратить! — сердито крикнул Хупер, не поднимая головы от своих бумаг. — Опять эти грязные малайские мальчишки: понимаете ли, они вечно балуются около вагонов…

— Будьте к ним снисходительны. В Африке

считается, что железная дорога всем дает приют.

— Оно конечно — по крайней мере, в глубине страны. Кстати, я вспомнил, — тут он пошарил в жилетном кармане, — могу показать вам прелюбопытную вещицу из Уанки[104] — есть такое место за Булавайо. Понимаете, я прихватил это просто так, на память, а не…

— Старая гостиница занята! — воскликнул кто-то. — Там белые люди, по разговору слыхать. Морская пехота, вперед! Давай, Прич. Штурмуй этот Белмонт. Ого-о-о!

Последнее восклицание растянулось, как длинная веревка, вслед мистеру Пайкрофту, который обежал вокруг вагона и остановился у открытой двери, глядя мне в лицо. За ним подошел дюжий сержант морской пехоты, который волочил сухой тростник и смущенно отряхивал песок с пальцев.

— Как вы сюда попали? — спросил я. — Мне казалось, «Иерофант» в плаванье.

— Пришли в прошлый вторник с Тристан-да-Кунья на ремонт и простоим в доке два месяца, надо крепеж менять в машине.

— Заходите и присаживайтесь.

---

[104] notes: 104
Уанка, Булавайо, Солсбери, Замбези — в Южной Родезии.

Хупер отложил папку.

— Это мистер Хупер, инспектор железной дороги! — поспешно воскликнул я, когда Пайкрофт повернулся, пропуская вперед черноусого сержанта.

— Это сержант Причард с «Шампиньона», мой старый кореш, — сказал он. — Мы с ним гуляли по берегу.

Гигант покраснел и кивнул. Потом он уселся, заняв чуть ли не половину вагона.

— А это мой друг мистер Пайкрофт, — объяснил я Хуперу, уже откупоривавшему бутылку пива, которую мои прозренья побудили меня купить у греков про запас.

— Moi aussi,[105] — промолвил Пайкрофт и вытащил из-за пазухи бутылку объемом в кварту с яркой этикеткой.

— Да ведь это же «Басс»! — вскричал Хупер.

— Причард раздобыл, — сказал Пайкрофт. — Перед ним ни одна девчонка устоять не в силах.

— Неправда, — мягко возразил Причард.

— Ну, может, не в прямом смысле, просто взгляд у него такой, это ведь все одно.

— Где же это было? — полюбопытствовал я.

---

[105] notes: 105
Я тоже (франц.).

— Вон там, неподалеку, — в бухте Колк. Она выколачивала коврик на задней веранде. Не успел Прич приготовить орудия к бою, а она уже сбегала в дом и перебросила бутылочку через ограду.

Пайкрофт хлопнул ладонью по теплой бутылке.

— Обозналась, вот и все, — сказал Причард. — Я не удивлюсь, ежели она приняла меня за Маклина. Мы с ним почти одного роста.

Мне уже приходилось слышать от домохозяев в Мейсенберге, Сент-Джеймсе и Колке жалобы на то, как трудно, живя близ берега, иметь запас пива или хорошую служанку, и теперь я начал понимать, в чем тут дело. А все же пиво было превосходное, и я выпил вместе со всеми за здоровье своевольной девушки.

— Форма им уж больно нравится, ради этакой формы они рады стараться, — сказал Пайкрофт. — Моя простая флотская одежда имеет приличный вид, но в восторг никого не приводит. А вот Прич, когда он при всем параде, всякий раз обольщает «бедняжку Мэри на веранде» — ex officio,[106] как говорится.

— Сказано тебе, она приняла меня за Макли-

---

[106] notes: 106
По службе (лат.).

на, — упрямо повторил Причард. — Ей-ей… послушать его, так и не подумаешь, что только вчера…

— Прич, — сказал Пайкрофт, — предупреждаю тебя заранее. Ежели мы начнем рассказывать все, что знаем друг про дружку, нас живо вышибут из этого заведения. Ведь кроме случаев злостного дезертирства…

— Это были всего-навсего отлучки без увольнительной — попробуй-ка доказать обратное, — запальчиво возразил сержант. — И уж ежели на то пошло, не вспомнить ли Ванкувер в восемьдесят седьмом году, как ты считаешь?

— Как я считаю? А кто был загребным в гичке, когда съезжали на берег? Кто сказал Юнге Найвену…

— Вас, конечно, отдали за это под трибунал? — спросил я.

История о том, как Юнга Найвен заманил семерых или восьмерых матросов и морских пехотинцев в леса Британской Колумбии, давно стала легендарной на флоте.

— Да, отдали, как положено, — сказал Причард, — но нас судили бы за убийство, не будь Юнга Найвен на редкость хитер. Он наплел, будто у него есть дядюшка, который даст нам земли

под ферму. Сказал, что родился близ острова Ванкувер, и все время этот плут прикидывался невинным ягненком!

— Но мы ему поверили, — сказал Пайкрофт. — Я поверил, и ты, и Пэтерсон, и тот морской пехотинец, как бишь его — ну, который потом женился на торговке кокосовыми орехами, — губастый такой?

— А, это Джонс, Слюнтяй Джонс. Я про него давно и думать забыл, — сказал Причард. — Да, Слюнтяй поверил, и Джордж Энсти тоже, и Мун. Мы были так молоды и так любопытны.

— Но очень даже милы и доверчивы, — заметил Пайкрофт.

— Помнишь, как он велел нам идти гуськом и остерегаться медведей? Помнишь, Пай, как он прыгал там по болоту среди густых папоротников, принюхивался и уверял, что чует запах дыма с дядюшкиной фермы? И все время мы бродили по паршивому, глухому, необитаемому островку. Обошли его за день и вернулись к своей лодке, которую оставили на берегу. Целый день Юнга Найвен водил нас кругами, будто искал эту самую ферму! Он сказал, что по местным законам дядюшка обязан дать нам землю!

— Не горячись, Прич. Мы же ему поверили,

— сказал Пайкрофт.

— Он книжек начитался. И подстроил все это только, чтоб улизнуть на берег да заставить говорить о себе. Целый день и целую ночь мы — восемь человек — ходили за Юнгой Найвеном по необитаемому островку около Ванкувера! А потом за нами выслали патруль, и красиво же мы выглядели, сборище идиотов!

— Здорово вам досталось? — спросил Хупер.

— Два часа кряду на нас обрушивались громы и молнии. Затем снежные бури, штормящее море и лютая стужа до конца плаванья, — сказал Пайкрофт. — Ничего другого мы и не ждали, но как было тяжко — верьте слову, мистер Хупер, и у матроса сердце не каменное, — когда нас попрекнули, что мы, военные моряки и способные пехотинцы, сбили с пути Юнгу Найвена. Да, оказывается, это мы, жалкие людишки, которые хотели снова обрабатывать землю, сбили его с пути! Само собой, он нас оговорил и легко отделался.

— Правда, мы задали ему трепку, когда он вышел из-под ареста. Слышал ты о нем что-нибудь за последнее время, Пай?

— По-моему, он стал боцманом на связном судне, по Ла-Маншу плавает, мистер Л.-Л. Найвен,

так он теперь зовется.

— А Энсти умер от лихорадки в Бенине, — задумчиво произнес Причард. — Что сталось с Муном? Про Джонса мы знаем.

— Мун… Мун! Где же я в последний раз об нем слышал?.. Ну да, в то время я служил на «Палладиуме». Я повстречал Квигли на базе в Банкране. Он сказал, что Мун сбежал три года назад, когда шлюп «Астрильд» крейсировал по южным морям. Этот малый всюду норовил к бабе пристроиться. Да, он улизнул тихонько, и не достало бы времени разыскивать его там, на островах, ежели б даже штурман чего-нибудь смыслил в своем деле.

— А разве он не смыслил? — спросил Хупер.

— Как бы не так. Квигли рассказывал, что половину времени «Астрильд» блуждал у берега со скоростью черепахи, а другую половину высиживал черепашьи яйца на разных рифах. Когда он добрался до Сиднея и его поставили в док, обшивка висела клочьями, как драное белье на веревке, а шпангоуты треснули. Капитан клялся, что это сделали уже в доке, когда подымали несчастную посудину на стапеля. В море и впрямь бывают удивительные случаи, мистер Хупер.

— Э! Расскажите про них налогоплательщикам, — отмахнулся Хупер и откупорил еще бутылку.

Сержант, видимо, был из тех разговорчивых людей, которым трудно остановиться.

— Как странно все это вспоминать, правда? — сказал он. — Ведь Мун прослужил шестнадцать лет, а потом сбежал.

— Такое бывает во всяком возрасте. Вот и этот… ну, сам знаешь, — сказал Пайкрофт.

— Кто такой? — спросил я.

— Старый служака, которому оставалось всего полтора года до пенсии, ты ведь на него намекаешь, — сказал Причард. — Фамилия его начинается на В., правильно?

— Но ежели разобраться, нельзя сказать, что он по-настоящему дезертировал, — заметил Пайкрофт.

— Нет, конечно, — отозвался Причард. — Это попросту постоянная отлучка без увольнительной в глубине страны. Только и всего.

— В глубине страны? — сказал Хупер. — А приметы его опубликованы?

— Это еще зачем? — спросил Причард грубо.

— Да ведь дезертиры передвигаются, как походные колонны во время войны. Понимаете ли, они всегда следуют определенным маршрутом. Я знаю, что одного такого молодчика поймали в

Солсбери, откуда он хотел добраться до Ньясы[107]. Говорят, хоть сам я за это не поручусь, будто на Ньясе, в озерной флотилии, не принято задавать вопросы. Я слышал, что там один интендант с Пиренейско-Восточной линии командует боевым катером.

— Думаешь, Хруп подался в те края? — спросил Причард.

— Почем знать. Его послали в Блюмфонтейн забрать из форта боеприпасы, которые там остались. Известно, что он все получил и велел погрузить на товарные платформы. С тех пор Хрупа не видели — ни тогда, ни после. Случилось это четыре месяца назад, а casus belli[108] так и остался.

— Какие же у него приметы? — снова спросил Хупер.

— А что, железная дорога получает вознаграждение за поимку дезертиров? — сказал Причард.

— Неужто вы думаете, что я стал бы тогда затевать этот разговор? — сердито возразил Хупер.

— Больно уж вы любопытны, — сказал Причард не менее резко.

---

[107] notes: 107
Озеро Ньяса — открыто Ливингстоном.

[108] notes: 108
Повод к войне (лат.).

— А почему его прозвали «Хруп»? — спросил я, стараясь загладить досадную неловкость, которая возникла между ними.

Они разглядывали друг друга в упор.

— Потому что лебедку сорвало с места, — ответил Пайкрофт. — А заодно ему четыре зуба вышибло — нижние, слева по борту, верно я говорю, Прич? И хоть он раскошелился на вставные зубы, крепеж ему сделали, видать, со слабиной. Когда он разговаривал быстро, они малость качались да похрупывали. Отсюда и «Хруп». Его считали особенным человеком, так мы, на нижней палубе, полагали, хоть он и был просто долговязый, черноволосый, полукровка, только в разговоре обходительный.

— Четыре вставных зуба слева, в нижней челюсти, — сказал Хупер, сунув руку в жилетный карман. — А татуировка какая?

— Послушайте, — начал Причард и привстал, — мы, конечное дело, премного благодарны вам за гостеприимство, потому как вы нас уважили, но сдается мне, мы ошиблись…

Я взглянул на Пайкрофта, ожидая помощи. Хупер мгновенно побагровел.

— Ежели толстый сержант на полубаке соблаговолит снова бросить якорь и сохранить свой

статус-кво, мы сможем потолковать как благородные люди — и, само собой, как друзья, — сказал Пайкрофт. — Мистер Хупер, он принимает вас за представителя закона.

— Я желаю только указать, что когда человек проявляет такое сильное, или, верней будет сказать, *назойливое* любопытство к чьим-то особым приметам, как вот наш друг…

— Мистер Причард, — вмешался я, — право, я могу поручиться за мистера Хупера.

— А ты изволь попросить прощенья, — сказал Пайкрофт. — Ты просто презренный грубиян, Прич.

— Но как же мне было… — начал он в нерешимости.

— Не знаю и знать не хочу. Проси прощенья!

Гигант огляделся растерянно и по очереди протянул нам свою огромную руку, в которой утонули наши ладони.

— Я был неправ, — сказал он кротко, как ягненок. — У меня нет причины вас подозревать. Мистер Хупер, я прошу прощенья.

— Вам не в чем себя упрекнуть, вы лишь соблюдали разумную осторожность, — сказал Хупер. — С незнакомым человеком я сам держался бы точно так же, понимаете ли. Если позволите, я

хотел бы узнать подробней об этом мистере Викери. Понимаете ли, на меня можно положиться.

— Почему Викери сбежал? — начал я, но улыбка Пайкрофта побудила меня поставить вопрос по-другому: — Кто же она такая?

— Хозяйка небольшой гостиницы в Хаураки, близ Окленда, — сказал Пайкрофт.

— Черт побери! — взревел Причард, хлопнув себя по колену. — Неужто это миссис Батерст!

Пайкрофт тихонько кивнул, и сержант излил свое изумление, призывая в свидетели все адские силы.

— Насколько я понял, миссис Б. и была всему причиной.

— Но ведь Хруп был женат! — воскликнул Причард.

— И к тому же у него пятнадцатилетняя дочка. Он показывал мне фотографию. Это, так сказать, статья особая, а вообще видал ты когда-нибудь, чтоб на такие пустяки обращали внимание? Я вот не видал.

— Боже правый и вездесущий!.. Миссис Батерст... — И он взревел снова: — Что хочешь говори, Пай, все одно я не поверю, будто она виновата! Она не такая!

— Ежели я стану говорить, что хочу, то пер-

во-наперво, скажу я тебе, ты глуп, как осел, и кипятишься безо всякой надобности. Я просто объясняю, чем дело кончилось. Мало того, в кои-то веки ты оказался прав. Она не виновата.

— Все одно я не поверил бы тебе, ежели б ты ее и виноватил, — услышали мы в ответ.

Такая преданность со стороны сержанта морской пехоты меня поразила.

— Оставим это! — воскликнул я. — Расскажите, что она за женщина.

— Она вдова, — сказал Пайкрофт. — Осталась без мужа совсем молоденькой и уже не искала новой пристани. Близ Окленда у нее была маленькая гостиница для младшего командного состава, она всегда носила черное шелковое платье, а шея у нее…

— Вот вы спрашиваете, что она за женщина, — перебил его Причард. — Позвольте, я вам расскажу один случай. В первый раз я попал в Окленд, когда «Марокканец» вернулся из плаванья в девяносто седьмом году, я как раз получил повышение и пошел вместе с другими. Она завсегда нам всем услужить старалась и в убытке не бывала ни разу — получала сполна, до последнего пенни! «Можете уплатить сейчас, — говорила она, — а можете и после рассчитаться. Я знаю,

вы меня не обидите. Если что, пришлете деньги из дому». Ей-ей, братцы мои, я своими глазами видел, как эта женщина сняла с шеи золотые часики на цепочке и отдала одному боцману, который съехал на берег без своих часов и мог опоздать на последний катер. «Я не знаю вашего имени, — говорит она, — но когда они вам будут не нужны больше, справьтесь в порту, меня-то там знают многие. Попросите кого-нибудь передать». И будто стоили они не тридцать фунтов, а каких-нибудь полкроны. Маленькие золотые часики, Пай, с синей монограммой на крышке. Но я вот чего хотел сказать, в те времена было у нее пиво, которое пришлось мне по вкусу, — забористое такое. Я на него налегал при всякой возможности, немало бутылок раздавил, когда мы стояли в той бухте, — чуть не каждый вечер на берег съезжал. Как-то были мы с ней вдвоем, перебрасывались шуточками через стойку, ну я и говорю: «Миссис Б., когда я еще вернусь сюда, вы уж не позабудьте, что это пиво мне особенно полюбилось — как и вы сами. (Вот она какие дозволяла вольности!) Как и вы сами», — говорю. «Ах, сержант Причард, спасибо вам», — говорит она и поправляет завиток возле уха. Помнишь этот завиток, Пай?

— Известное дело, — сказал моряк.

— Да, стало быть, она говорит: «Спасибо вам, сержант Причард. Я это хотя бы замечу для памяти, на случай, если вы не передумаете. У моряков это пиво большим спросом не пользуется, говорит, но для верности я поставлю его поглубже на полку». Она отхватила кусок от ленты, которой у нее волосы были стянуты, ведь на стойке всегда лежал ножичек, чтоб сигары обрезать, — помнишь, Пай? — и повязала бантиками все бутылки, какие оставались, — четыре штуки. Было это в девяносто седьмом — или нет, даже в девяносто шестом году. В девяносто восьмом я ушел на «Стремительном» с китайской базы в дальнее плаванье. И только в девятьсот первом, заметьте, уже на «Картузианце», снова попал в Оклендскую гавань. Само собой, я вместе со всеми поехал к миссис Б. поглядеть, как и что. Там все было по-прежнему. (Помнишь, Пай, большое дерево на тротуаре возле входа?) Я слова еще не вымолвил (больно уж многие с ней норовили поговорить), но она меня сразу углядела.

— Разве это так трудно? — решился ввернуть я.

— Да погодите же. Иду я к стойке и вдруг слышу: «Ада, — говорит она своей племяннице, — подай сюда пиво, которое полюбилось мистеру При-

чарду». И, братцы мои, не успел я пожать руку хозяйке, а уж мои четыре бутылки с бантиками тут как тут, она откупоривает одну, поглядывает на меня исподлобья с этаким близоруким прищуром и говорит: «Надеюсь, сержант Причард, вы не передумали и верны всему, что вам полюбилось». Вот какая она была женщина — ведь целых пять лет прошло!

— А все-таки я не могу представить ее себе, — сказал Хупер, теперь уж благожелательно.

— Она… она в жизни своей не задумалась, ежели надобно было накормить неудачника или изничтожить злодея, — добавил Причард с пылкостью.

— Это мне тоже ничего не говорит. У меня самого мать была такая.

Гигант выпятил грудь под кителем и поднял глаза к потолку вагона. А Пайкрофт вдруг сказал:

— Скольких женщин по всему свету ты знавал близко, Прич?

Причард густо покраснел до корней коротких волос на шее, которая была толщиной в добрых семнадцать дюймов.

— Сотни, — сказал Пайкрофт. — Вот и я тоже. А про скольких ты сохранил память в сердце, если не считать первую, и, допустим последнюю, — *и*

еще одну?

— Таких мало, на удивление мало, самому совестно, — сказал сержант Причард с облегчением.

— А сколько раз ты был в Окленде?

— Один… два… — начал он. — Ей-ей, больше трех раз за десять лет не наберется. Но всякий раз, когда я видел миссис Б., мне памятен.

— И мне — а я был в Окленде только два раза, — запомнилось, где она стояла, и что говорила, и как выглядела. Вот в чем секрет. Не красота, так сказать, важна, и красивые слова говорить не обязательно. Главное — Это Самое. Бывает, женщина только пройдет по улице, и мужчине ее уж не забыть, но чаще всего проживешь с которой-нибудь целый месяц, а уйдешь в море, и уже, что называется, запамятовал даже, разговаривает она во сне или же нет.

— Ага! — сказал Хупер. — Кажется, я начинаю понимать. Я знал двух таких редкостных женщин.

— Но они же не виноваты? — спросил Причард.

— Ничуть. Уж *это* я знаю!

— А ежели кто влюбится в такую женщину, мистер Хупер? — продолжал Причард.

— Он сойдет с ума — или, наоборот, спасется, — последовал неторопливый ответ.

— Ваша правда, — сказал сержант. — Вы кой-чего испытали на своем веку, мистер Хупер. Мне это ясно.

Он поставил бутылку.

— А Викери часто ее видел? — спросил я.

— Это тайна, покрытая мраком, — отвечал Пайкрофт. — Я познакомился с ним недавно, когда начал плавать на «Иерофанте», да и там никто его не знал толком. Понимаете ли, он был, как говорят, человек особенный. В море он изредка заговаривал со мной про Окленд и про миссис Б. Потом я это припомнил. И думается мне, между ними много чего было. Но учтите, я только излагаю свое резюме, потому что все узнал с чужих слов или, верней сказать, даже и не со слов.

— Как так? — спросил Хупер настойчиво. — Вы сами должны были кое-что видеть или слышать.

— Да-а, — сказал Пайкрофт. — Раньше и я думал, что надо самому видеть и слышать, только тогда можно доложить обстановку по всей форме, но с годами мы делаемся менее требовательны. Наверно, цилиндры изнашиваются… Вы были в Кейптауне в прошлом декабре, когда приезжал цирк Филлиса?

— Нет, я отлучался по делам, — сказал Хупер, слегка раздосадованный тем, что разговор принял другое направление.

— Я потому спрашиваю, что они привозили научное достижение, новую программу, которая называлась «Родина и друзья за три пенса».

— А, это вы про кинематограф — когда показывают знаменитых боксеров и пароходы. Я видел такое во время поездки.

— Живая фотография, или кинематография, об том я и толкую. Лондонский мост с омнибусами, транспортное судно увозит солдат на войну, парад морской пехоты в Портсмуте, экспресс из Плимута прибывает в Паддингтон.

— Все это я видел. Все видел, — сказал Хупер с нетерпением.

— Мы на «Иерофанте» пришли в сочельник, и было нетрудно получить увольнительную.

— Мое такое мнение, нигде так быстро не соскучишься, как в Кейптауне. Даже Дурбан и то привольней. Мы туда заходили на рождество, — вставил Причард.

— Я не посвящен в тайны индийских пери, как говорил наш доктор интенданту, и судить не берусь. Но после учебных стрельб в Мозамбикском проливе программа Филлиса была совсем

недурна. В первые два или три вечера я не мог освободиться, потому что вышла, так сказать, оказия с нашим командиром минной части, какой-то умник родом с Запада испортил гироскоп: но, помнится, Викери съехал на берег с корабельным плотником Ригдоном — мы его называли старина Крокус. Вообще-то Крокус оставался на борту всегда и всюду, его надо было чуть ли не лебедкой стаскивать, но уж если он отлучался, то потом его клонило книзу, как лилию под тяжестью росы. Мы его тогда сволокли в кубрик, по, прежде чем утихомирили, он изрядно наболтал про Викери, который оказался достойным собутыльником при таком водоизмещении и мичманском чине, причем выражался он, я бы сказал, крепко.

— Я плавал с Крокусом на «Громобое», — сказал Причард. — Норовистый малый, второго такого не сыщешь.

— На другой вечер я поехал в Кейптаун с Доусоном и Прэттом, но у самых дверей цирка мне подвернулся Викери. «А! — говорит он. — Тебя-то я и ищу. Давай сядем рядом. Пойдем вон туда, где билет шиллинг стоит!» Я стал отказываться, хотел пристроиться на корме, меня трехпенсовое место больше устраивало, по состоянию моих финансов, так сказать. «Да идем же, — говорит

Викери. — Платить буду я». Само собой, я покинул Прэтта и Доусона в надежде, что он не только билеты купит, но поставит и выпивку. «Нет, — сказал он, когда я намекнул ему на это. — Не сейчас. Только не сейчас. Потом пей сколько влезет, а покамест мне надо, чтоб ты был трезвый». Тут я увидел его лицо при свете фонаря и сразу думать забыл о выпивке. Поймите правильно. Я не испугался от его вида. Но я встревожился. Не берусь вам это лицо описать, но так уж оно на меня подействовало. Ежели хотите знать, оно мне напомнило тех тварей в колбах, каких видишь у торговцев всякими диковинами в Плимуте — их в спирте хранят. Белые и морщинистые — еще не родившиеся, так сказать.

— У тебя низменные понятия, Пай, — заметил сержант, раскуривая погасшую трубку.

— Может быть. Так вот, мы сели в первом ряду, и вскорости началась картина «Родина и друзья». Когда появилось название, Викери тронул меня за колено. «Ежели увидишь что-нибудь неожиданное, — говорит, — шепни мне словечко», — и чего-то там еще хрупает. Мы увидали Лондонский мост и еще много всякого, и это было замечательно интересно. Сроду такого не видал. Что-то там такое жужжало, будто маленькая ди-

намо-машина, но изображения были настоящие — они оживали и двигались.

— Я это смотрел, — сказал Хупер. — Ясное дело, ведь снимают то, что происходит на самом деле, — вы же понимаете.

— А потом на здоровенном экране стали показывать, как в Паддингтон прибывает почтовый поезд с Запада. Сперва мы увидали пустую платформу и носильщиков, которые стояли наготове. Вот показался паровоз, подошел к платформе, и женщины в первом ряду повскакивали с мест: он шел прямо на нас. Вот открылись дверцы вагонов, стали выходить пассажиры, носильщики потащили багаж — совсем как в жизни. Только… только когда кто-нибудь выступал слишком далеко вперед, к нам, эти люди, так сказать, будто сходили с экрана. Уверяю вас, мне было очень интересно. И всем остальным тоже. Я глядел, как один старик с пледом уронил книжку и нагнулся подобрать, но тут, следом за двумя носильщиками, неспешно выходит она — держит в руке сумочку и оглядывается по сторонам, — сама миссис Батерст. Походка у нее такая, что не спутаешь и среди сотни тысяч. Она прошла вперед — прямо вперед, — посмотрела на нас в упор с тем самым близоруким прищуром, про который

Прич поминал. Она подходила все ближе, ближе, а потом исчезла, как… ну, как мелькает тень при свечке, и тут я услыхал, что Доусон в заднем ряду вскрикнул: «Черт подери! Да это же миссис Б.!»

Хупер проглотил слюну и подался вперед, внимательно слушая.

— Викери снова тронул меня за колено. Он хрупал четырьмя вставными зубами и разевал рот, словно помирать собрался. «Ты уверен, что это она?» — говорит. «Уверен, — говорю, — разве вы не слыхали, как Доусон подал голос? Она самая и есть». — «Я еще раньше был уверен, — говорит он, — но позвал тебя, чтоб увериться окончательно. Пойдешь со мной завтра снова?»

— «Охотно, — говорю, — ведь похоже, будто тут встречаешь старых друзей».

— «Да, — говорит он, вынимает часы и открывает крышку. — Очень похоже. Теперь я ее увижу опять через двадцать четыре часа без пяти минут. Пойдем выпьем, — говорит. — Тебе это, может быть, доставит удовольствие, а мое дело все равно пропащее». Он вышел на улицу, и голова у него тряслась, и он спотыкался об чужие ноги, точно уже был пьян. Я думал, мы быстро выпьем и сразу вернемся, потому что хотел поглядеть дрессированных слонов. Но Викери заместо этого

пустился в плаванье по городу, причем немало узлов мы делали и приблизительно через каждые три минуты по Гринвичу заходили в бар. Я человек непьющий, хотя кое-кто из присутствующих, — тут он искоса бросил в мою сторону выразительный взгляд, — может, и видел меня в некотором смысле хмельным после обильного возлияния. Но уж когда я пью, то предпочитаю бросить якорь в спокойном месте, а не носиться при этом со скоростью в восемнадцать узлов, отмеряя мили. Вон там, в горах, за большим отелем, есть водоем — как это называется?

— Молтенский резервуар, — сказал я не совсем уверенно, и Хупер кивнул.

— Оттуда он, наконец, повернул назад. Пришли мы туда, а спустились через парк — ветер был юго-восточный — да задержались возле доков. Потом двинулись по дороге к Соленой речке, и Викери в каждый трактир заходил исправно. Он пил без разбору и платил без сдачи. Шел дальше и снова пил, и пот тек с него ручьями. Тогда я понял, почему старина Крокус вернулся в таком виде, ведь мы с Викери скитались, как цыгане, два с половиной часа, а когда добрались до порта, я весь взмок и пропитался спиртным.

— Говорил он что-нибудь? — спросил Причард.

— С девятнадцати сорока пяти до двадцати трех пятнадцати я за весь вечер в общем итоге только и слышал от него: «Давай еще по одной». И было утро, и был вечер, день один, как сказано в Писании… Короче говоря, пять вечеров кряду я ездил в Кейптаун с мичманом Викери и за это время прошел по суше добрых полсотни миль да влил в себя два галлона самого скверного пойла, какое только можно найти к югу от экватора. Маневрировали мы всегда одинаково. Два билета по шиллингу на двоих, пять минут продолжалась картина, и, может, какие-нибудь сорок пять секунд миссис Б. шла к нам да глядела с прищуром и несла в руке сумочку. Потом мы отправлялись на улицу и пили до отхода поезда.

— Что вы об этом думали? — спросил Хупер, ощупывая жилетный карман.

— Всякое, — ответил Пайкрофт. — По правде сказать, я и сейчас ни до чего не додумался. Помешательство? Этот человек давно с ума спятил — уже много месяцев, а может, и лет. Я кое-что знаю про одержимых, как положено всякому военному моряку. Я служил под началом у безумного капитана, и служил вместе с совершенным психом, но, славу богу, порознь. Я мог бы назвать вам троих капитанов, которым место в сума-

сшедшем доме, но я никогда не связываюсь с душевнобольными, покуда они не кидаются на людей с кувалдой или рукоятью от лебедки. Один-единственный раз рискнул я выйти против ветра наперекор мичману Викери. «Любопытно, что она делает в Англии, — говорю. — Вам не кажется, будто она кого-то ищет?» Мы были тогда в парке, снова бродили, как неприкаянные, и дул юго-восточный ветер. «Она ищет меня», — говорит он, останавливается, как вкопанный, под фонарем и хрупает. Когда он пил, все его зубы стучали по рюмке, а обычно четыре вставных трещали, словно аппарат Маркони. «Да! Она ищет меня, — говорит он и продолжает очень мягко, даже, можно сказать, ласково. — Но, — продолжает он, — впредь, мистер Пайкрофт, я буду вам глубоко признателен, если вы ограничитесь разговорами о выпивке, которую вам ставят. Иначе, — говорит, — хоть я и питаю к вам самые наилучшие чувства, не исключено, что я совершу убийство! Вы меня понимаете?» — говорит. «Прекрасно понимаю, — говорю, — но будьте спокойны, в таком случае с одинаковой вероятностью и вас можно убить, и меня укокошить». — «Ну нет, — говорит он. — Я даже думать боюсь о таком искушении». Тогда я сказал — мы стояли прямо под фонарем за

воротами парка, возле конечной остановки трамвая: «Предположим, дойдет до убийства — или до покушения на убийство, — уверяю вас, все равно вы, как говорится, получите такое увечье, что вам не уйти от полиции, — а там придется давать объяснения, — это совершенно неизбежно». — «Так лучше, — говорит он и потирает лоб. — Так гораздо лучше, потому что, — говорит, — знаешь ли, Пай, в теперешнем состоянии я вряд ли могу чего-нибудь объяснить». Сколько мне помнится, только эти самые слова я и слышал от него во время наших прогулок.

— Ну и прогулки, — сказал Хупер. — Ох, господи, ну и прогулки!

— Они были похожи на неизлечимую болезнь, — сказал Причард серьезно, — но я не думал об опасности, покуда цирк не уехал. А потом я подумал, что теперь его лишили подкрепляющего средства и он может, так сказать, приняться за меня, еще ножом пырнет. Поэтому, когда мы в последний раз поглядели картину, а потом прогулялись по трактирам, я стал держаться подальше от своего начальника на борту, как говорится, при несении службы. И поэтому я заинтересовался, когда вахтенный, в то время как я исполнял свои обязанности, сказал мне, что Хруп испросил

разрешения поговорить с капитаном. Вообще-то младшие офицеры не отнимают много времени у командира корабля, но Хруп оставался за его дверью больше часа. Дверь эта была мне видна с того места, где я находился по службе. Сперва вышел Викери и, право слово, кивнул мне с улыбкой. Тут меня будто веслом огрели по голове, ведь я видел его лицо пять вечеров кряду, и всякая перемена в нем казалась мне такой же немыслимой, как охлаждающая система в аду. Капитан появился немного погодя. По его лицу и вовсе ничего нельзя было понять, так что я обратился к рулевому, который прослужил с ним восемь лет и знал его лучше, чем морскую сигнализацию. Лэмсон — этот самый рулевой — несколько раз медленно перекрестил свой форштевень и спустился ко мне, явно озабоченный. «Суровое лицо, жди расправы, — говорит Лэмсон. — Кого-то теперь вздернут. Такое выражение я у него только один раз видал, когда на «Фантастике» пошвыряли за борт орудийные прицелы». А по нынешним идиотским временам, мистер Хупер, выбросить за борт орудийные прицелы значит то же самое, что мятеж поднять. Делают это, чтоб привлечь внимание властей и газеты «Утренние новости», — обычно какой-нибудь кочегар управляется.

Само собой, слух распространился на нижней палубе, и все мы стали проверять, нет ли у кого греха на совести. Но ничего серьезного не обнаружили, только один из кочегаров признался, что чужая рубашка как-то сама собой перекочевала к нему в сундучок. Капитан, так сказать, поднял сигнал «всем присутствовать при смертной казни», но на рее никого не вздернули. Сам он позавтракал на берегу и вернулся около трех часов пополудни, причем лицо у него было самое будничное, как всегда во время стоянки. Лэмсон лишился общего доверия, потому что поднял ложную тревогу. И только один человек, а именно некий Пайкрофт, мог связать концы с концами, когда узнал, что мистеру Викери приказано в тот же вечер отбыть за боеприпасами, которые остались после войны в Блюмфонтейнском форту. Никого не отрядили под начало мичману Викери. Он был назван в единственном числе — как отдельное подразделение — без сопровождающих.

Сержант многозначительно свистнул.

— Вот я о чем думал, — сказал Пайкрофт. — Мы с ним съехали на берег в одном катере, и он попросил проводить его немного. Он громко хрупал зубами, но вообще-то был веселехонек.

— Может, тебе любопытно будет узнать, — го-

ворит он и останавливается прямо напротив ворот Адмиральского сада, — что завтра вечером цирк Филлиса дает представление в Вустере. Стало быть, я увижу ее снова. Ты много от меня натерпелся, — говорит.

— Послушайте, Викери, — сказал я, — мне эта история до того надоела, просто сил никаких нет. Вы уж сами разбирайтесь. А я больше знать ничего не хочу.

— Ты! — сказал он. — Тебе-то на что жаловаться? Ты просто глядел со стороны. Во мне все дело, — говорит, — но, впрочем, это неважно. И прежде чем пожать тебе руку, я скажу только одно. Запомни, — говорит (мы стояли у самых ворот Адмиральского сада), — запомни, я не убийца, потому что моя законная жена умерла от родов через полтора месяца после того, как я ушел в море. Хоть в этом я, по крайней мере, не повинен, — говорит.

— Что ж вы тогда особенного сделали? — сказал я. — Что в итоге?

— В итоге, — говорит, — молчание.

Он пожал мне руку, захрупал зубами и отправился в Саймонстаун, на станцию.

— А сошел он в Вустере, чтоб поглядеть на миссис Батерст? — спросил я.

— Это неизвестно. Он явился в Блюмфонтейн, велел погрузить боеприпасы на товарные платформы, а потом исчез. Скрылся — дезертировал, если вам угодно, — а ведь ему оставалось всего полтора года до пенсии, и, если он правду сказал про свою жену, выходит, он был тогда свободным человеком. Как, по-вашему, это понимать?

— Бедняга! — сказал Хупер. — Видеть ее вот так каждый вечер! Не знаю уж, что он чувствовал.

— Я ломал себе голову над этим много долгих ночей.

— Но я готов поклясться, что миссис Б. тут не в чем попрекнуть, — сказал сержант с твердостью.

— Нет. В чем бы ни заключалось злодейство или обман, это его рук дело, я уверен. Мне пришлось видеть его лицо пять вечеров кряду. И я не имею особой охоты бродить по Кейптауну в такие вот дни, когда дует юго-восточный ветер. Я, можно сказать, слышу, как хрупают эти самые зубы.

— А, зубы, — сказал Хупер и снова сунул руку в жилетный карман. — Вечно эти вставные зубы. Про них можно прочитать в любом отчете, когда судят убийцу.

— Как вы полагаете, капитан что-нибудь знал — или сам сделал? — спросил я.

— Никаких поисков в этом направлении я не

предпринимал, — ответил Пайкрофт невозмутимо.

Все мы задумались и барабанили пальцами по пустым бутылкам, а участники пикника, загорелые, потные, запорошенные песком, прошли мимо вагона, распевая песенку «Жимолость и пчела».

— Вон та девушка в шляпке недурна собой, — заметил Пайкрофт.

— И его приметы не были опубликованы? — сказал Причард.

— Перед приходом этих джентльменов, — обратился ко мне Хупер, — я спросил у вас, знаете ли вы Уанки — по дороге к Замбези — за Булавайо.

— Неужто он подался туда, чтоб добраться до того озера, — как бишь оно называется? — спросил Причард.

Хупер покачал головой и продолжал:

— Там, понимаете ли, очень своеобразная железнодорожная линия. Она пролегает через дремучий тиковый лес — верней, там растет что-то вроде красного дерева — семьдесят две мили без единого поворота. И случается, на перегоне в сорок миль поезд двадцать три раза с рельсов сходит. Я побывал там месяц назад, заменял больного инспектора. Он меня попросил отыскать в

лесу двоих бродяг.

— Двоих? — сказал Пайкрофт. — Не завидую я второму, если только...

— После войны в тех краях много бродяг развелось. Инспектор сказал, что этих я найду возле М'Бвиндской ветки, где они дожидаются случая уехать на север. Он, понимаете ли, оставил им немного еды и хинина. Я выехал на поезде с ремонтной бригадой. Решил их отыскать. Увидел я их далеко впереди, они дожидались у леса. Один стоял возле тупика в начале боковой ветки, а другой, понимаете ли, сидел на корточках и глядел на него снизу.

— Помогли вы им чем-нибудь? — спросил Причард.

— Помочь я уже не мог ничем, разве только их похоронить. Там, понимаете ли, гроза прошла, и оба они были мертвые и черные, как уголь. От них, понимаете ли, ничего не осталось — только уголь. Когда мы попробовали сдвинуть их с места, они развалились на куски. У того, который стоял, были вставные зубы. Я сразу заметил, как эти зубы блестели в черноте. Он тоже развалился, как и его спутник, что сидел на корточках, обоих ливень насквозь промочил. После того как оба сгорели, превратились в уголь. И еще — потому

я и спрашивал про приметы — у мертвеца со вставными зубами была татуировка на груди и у плеч — корона и якорь, обвитый цепью, а поверху буквы М. В.

— Это я видел, — поспешно подтвердил Пайкрофт. — Все точно.

— Но ведь от него один уголь остался? — спросил Причард, содрогаясь.

— Знаете, как на сожженном письме проступают белые строчки? Ну вот и там, понимаете ли, было что-то в этом роде. Мы похоронили останки, и я взял себе… Но он был вашим другом, джентльмены.

Мистер Хупер убрал руку из кармана — не вынув ничего.

Причард на миг закрыл лицо ладонями, словно испуганный ребенок.

— Как сейчас вижу ее в Хаураки! — пробормотал он. — И те бантики на моих бутылках. «Ада», — говорит она племяннице… О боже!..

Пышно жимолость цветет, летний вечер настает,
Воздух тих и недвижим,
Вся природа отдыхает, дивно сад благоухает,
И сидит красотка с возлюбленным своим, —

пели участники пикника, ожидая поезда на станции Гленгарифф.

— Не знаю, право, что вы об этом думаете, — сказал Пайкрофт, — но я видел его лицо целых пять вечеров кряду, а потому намерен допить остатки пива и возблагодарить бога за то, что этот человек умер!

007[109]

Перевод Г. Шмакова

Если не считать судовой машины, локомотив — самое чувствительное создание человеческих рук. А локомотив 007 был не только чувствительный, но и новехонький. Еще не обсохла красная краска на его чистеньких амортизаторах, головной фонарь сиял, как пожарная каска, а будка напоминала небольшую гостиную, обшитую дубовыми панелями. После испытаний 007 вкатили в паровозное депо — в мастерских он распрощался со своим лучшим другом, мостовым краном, — и большой мир был теперь совсем рядом. Другие локомотивы придирчиво уставились на 007, а он разглядывал полукружие нагловатых, немигающих буферных фонарей, прислушивался к тому, как негромко урчит и бормочет пар под присмотром манометра — сколько гонора в его презрительном шипении, когда нерадивый предохранительный клапан чуть уступает напору! — и готов был пожертвовать месячной

---

[109] notes: 109
Впервые опубликован в 1897 г., вошел в сборник «Труды дня».

нормой смазочного масла, только бы провалиться сквозь собственные колеса прямо в кирпичную смотровую яму внизу. 007, американский локомотив о восьми ведущих колесах, несколько отличался от своих собратьев, отмеченных той же маркой, и в торговых книгах компании оценивался в десять тысяч долларов. Но случись вам его купить по цене, назначенной им самим, проторчавшим полчаса в гулком подслеповатом депо, вы наверняка сэкономили бы девять тысяч девятьсот девяносто девять долларов и девяносто восемь центов.

Тяжелый товарный локомотив «Могол», оснащенный коротким каукетчером и топочной коробкой, на три дюйма не достававшей до рельсов, начал ехидничать, обратившись к приехавшему с визитом локомотиву «Питсбург консолидейшн»:

— И откуда такое принесло? — спросил он, задумчиво выпустив струю белесого пара.

— Только мне и дела, что рассматривать сзади ваши номера, — последовал ответ, — наверняка его вытащили из хлама покойного Питера Купера.

007 вздрогнул; все внутри у него кипело, но язык он прикусил. Любой дрезине известно, что

это был за локомотив, с которым бился Питер Купер в давние тридцатые годы. Сам чуть побольше велосипеда, а вода и уголь — в двух бочонках, годных разве что для яблок. Но тут в беседу вмешался новенький маневровый паровозик; перед буфером у него торчала ступенечка, а колеса так тесно жались друг к другу, что напоминал он необъезженную лошадь, которая вот-вот взбрыкнет.

— С дорогами явный непорядок, раз пенсильванский товарняк осмеливается разбирать по косточкам нашего брата. Этот малыш сработан хоть куда. По чертежам Юстеса, как и я сам. Чего же вам еще надо?

007 мог бы покатать этого маневрового в своем тендере по всей сортировке, но все равно был ему благодарен за эту утешительную поддержку.

— У нас в Пенсильвании дрезин в помине нет, — сказал «Консолидейшн». — А этот червяк так стар и уродлив, что сам за себя говорит.

— Это вы за него говорите, а он еще и рта не раскрыл. Неужто в Пенсильвании забыли, что такое хорошие манеры? — спросил маневровый.

— Сидеть бы тебе в парке, Коротыш, — строго заметил «Могол», — тут место для нас, дальневозов.

— Вольно вам так думать, — отозвался малыш.

— Впрочем, к утру вы поймете что к чему. Я был на семнадцатом пути, сколько там товарных скопилось — ужас!

— У меня своих хлопот вагон и маленькая тележка, — заговорил, сверкая тормозами, поджарый, легкий локомотив пригородного сообщения. — Мои клиенты не угомонились, пока не заполучили салон-вагон. Прицепили его к хвосту, а легче снегоочиститель тащить, чем эту штуку. Но я его все равно спихну, уж будьте спокойны. Как они тогда станут всех поносить, кроме себя, конечно, болваны несчастные! Может, в следующий раз надумают прицепить курьерский!

— А ты родом из Ньо-Джерси? — спросил Коротыш. — Так я и думал. Возить пассажиров и контейнеры — удовольствие ниже среднего, но, знаешь, все же получше, чем вагоны-ледники или нефтецистерны. Не веришь? Как-то раз я тащил…

— Тащил? Ты? — презрительно фыркнул «Могол». — Да ты вагон-ледник — и тот до сортировки не дотолкаешь. Вот я, — он помедлил, чтобы придать словам большую весомость, — я вожу скорый товарный состав, ни много ни мало — одиннадцать вагонов. Ровно в одиннадцать трогаюсь с места и дую, как положено, по тридцать пять

миль в час. Грузы ценные, грузы скоропортящиеся, бьющиеся, срочные — и все это я. Что на пригородных ветках бездельничать, что маневровым лодырничать — разница небольшая. Товарный экспресс — вот это дело.

— Должен сказать, бахвалиться я не люблю, — начал «Питсбург консолидейшн».

— Не любишь? Вот тебя сюда и загнали за то, что на подъеме еле ползешь.

— Там, где я ползу, ты, Коротыш, пар испустишь. Повторяю, бахвалиться я не люблю, но если уж хотите знать, кто проворно товарный состав тащит, так посмотрите на меня, когда я, весело посвистывая, лечу по Аллеганам и тридцать семь платформ за мной, а тормозные кондуктора знай от воров отбиваются, им и гудок дать недосуг. Приходится самому сбавлять скорость. И ни разу нитки не пропало. Нет, сэр, тянуть вагоны одно, а осторожность да смекалка — другое. А при моей работе нужна смекалка.

— И вас не парализует сознание такой страшной ответственности? — послышался из угла чей-то странный охрипший голос.

— Это еще кто? — шепотом спросил 007 у пригородного из Нью-Джерси.

— Пробная машина «Компаунд» смешанной

конструкции — «Новая Гренада». Полгода маневровым отиралась, остальное время в мастерских канителилась. На угле экономит (попросту скупится), зато из ремонта не вылезает. Гм, я полагаю, мадам, что после нью-йоркской жизни Бостон кажется вам захолустьем?

— Когда я одна, у меня особенно много дела. — Система «Компаунд» говорила как бы в дымовую трубу.

— Все понятно, — непочтительно шепнул Коротыш, — она и на сортировке не нужна.

— Работа в Бостоне ближе моему духовному и физическому складу, и я нахожу вашу outrecuidance…[110]

— Какой еще баланс? — спросил «Могол». — По мне и обыкновенные поршни хороши.

—

Пожалуй, вернее сказать — ваша faroucherie,[111] — прошипела машина «Компаунд».

— А я ничего не имею общего с такими жестянками вроде вас, — не сдавался «Могол».

«Компаунд» вздохнула с пренебрежительной жалостью и больше не промолвила ни слова.

---

[110] notes: 110
Дерзость (франц.).

[111] notes: 111
Невоспитанность (франц.).

— Каких только кривляк не бывает на свете! — сказал Коротыш. — Эти массачузетцы все такие. Никак с места не могут взять — ну, прямо ни туда и ни сюда, и еще ругаются, когда их за дело поносят. Да, к слову о Бостоне: «Коменчи» вчера вечером рассказывал мне, будто в пятницу около Ньютонса у него буксы загорелись. Поэтому, дескать, и пассажирский задержался. Ох, и мастер заливать этот «Коменчи»!

— Да услышь я такое даже в мастерских, стоя, раздетый, без котла, я и то сразу бы понял, что «Коменчи» опять врет, — вмешался пригородный из Нью-Джерси. — Буксы загорелись! А дело было так: ему прицепили лишний вагон, и он на первом же подъеме скапутился, да как взвоет! Пришлось сто двадцать седьмой на подмогу послать. Буксы загорелись, тоже выдумал. А перед тем рассказывал, будто под откос свалился. Смотрел мне прямо в головной фонарь и врал, да так спокойно — не локомотив, а сущая водоцистерна на платформе! Буксы! Ты у сто двадцать седьмого спроси, как было дело. «Коменчи» перевели на запасной путь, а сто двадцать седьмой (его вызвали в десять вечера, и он просто бесился от злости) подцепил его вагоны и домчал их за семнадцать минут до Бостона. Буксы! Пули отливает этот

«Коменчи», вот что!

И тут 007, собравшись, как говорится, со своими колесами, спросил, что это значит — «загорелись буксы».

— Да чтоб мне колокольчик в голубой цвет выкрасили! — завопил Коротыш. — Чтоб меня в трамвай с деревянными ободьями на колесах превратили. Чтоб меня разломали и переплавили в пятицентовые волчки на радость уличным торговцам! Этот восьмиколесный американец не знает, что такое «буксы загорелись». Ты, может, и про стоп-кран никогда не слыхал и для чего тебе винтовые домкраты приданы? Прямо святая невинность — тебя наедине с твоим собственным тендером оставлять страшно! Эх ты, платформа!

Не успели остальные и словечко вставить, как Коротыш со свистом выпустил струю пара, а у 007 от обиды краска чуть волдырями не пошла.

— «Загоревшиеся буксы», — заговорила машина «Компаунд», выбирая и взвешивая каждое слово, точно уголь, — означают наказание, понесенное за превышение скорости по неопытности. Гм…

— «Загоревшиеся буксы»! — воскликнул пригородный из Нью-Джерси. — Это цена, которую наш брат платит за ездовую горячку. Уже несколько лет со мной такого не бывало. Эта хвороба редко

пристает к паровозам ближнего следования.

— У нас в Пенсильвании о ней даже и не слыхали, — заметил «Консолидейшн». — Ньюйоркцы — те ею часто болеют… Вроде как нервное переутомление.

— Иди ты… в депо подальше! — сказал «Могол». — Думаешь, если у вас в горах профиль дорог похуже наших, так ты и впрямь аллеганский ангел. Я тебе сейчас объясню, кто ты такой… А вот и моя бригада появилась. Ладно, мне пора; может, еще увидимся, тогда и договорим!

И «Могол» величественно, точно военный корабль в час прилива, отбыл к поворотному кругу, развернулся и встал на свой путь.

— А ты, зеленый кофейник (это относилось к 007), катись отсюда, малость подучись, а уж потом лезь в компанию к тем, кто за неделю столько миль отмахивает, сколько у тебя за год не наберется. Грузы ценные, скоропортящиеся, бьющиеся, срочные — и все это я. Пока!

— Да лопни мой котел, если дозволено так невежливо обходиться с новичком! — воскликнул Коротыш. — Ты за что над ним измываешься? Видно, когда стыд делили, «Могол» заправляться водой ходил. А ты, малый, не тушуйся, дыми вовсю! Сейчас и нас с тобой позовут.

Люди в паровозном депо разговаривали на высоких нотах. Один, в заскорузлой от пота шерстяной фуфайке, говорил, что в парке нет ни одного лишнего локомотива. Другой, потрясая скомканной бумажкой, кричал, что начальник сортировочной велел отвинтить голову тому, кто откажет в локомотиве. Тогда первый замахал руками и спросил, не думает ли начальник, что он прячет локомотивы в карманах. Потом появился мужчина в длинном черном пиджаке, без воротничка, весь мокрый, так как стоял жаркий августовский вечер, и сказал, что раз *сам* велел, значит, и спорить не о чем. И с помощью этих троих локомотивы двинулись с места — сначала машина «Компаунд», потом «Консолидейшн» и, наконец, 007.

Надо признаться, где-то в самых глубинах топки 007 лелеял надежду на то, что по окончании испытания его с песнями и криками выведут из депо и под присмотром самоуверенного, благообразного машиниста прицепят к зелено-шоколадному курьерскому составу. Машинист потреплет его по спине, посюсюкает над ним и назовет своим арабским скакуном. (Парни в мастерских, где он появился на свет, не раз читали вслух удивительные рассказы про железнодорожную жизнь, и

007 надеялся, что с ним тоже случится что-нибудь необыкновенное.) Но на залитой электрическим светом, лязгающей и грохочущей сортировке не очень-то много было курьерских составов, и машинист 007 сказал:

— Что за дурацкий инжектор вставил Юстес в эту машину? — И, сердито двигая рычагом, закричал: — Как на этой штуковине прикажете маневрировать?

Человек без воротничка отер лицо и ответил, что на сортировке такое творится, и все забито товарными составами, и пр. и пр., и ничего не попишешь: придется машинисту маневрировать, пока вторые петухи не запоют.

007 робко выдвинулся вперед, причем душа у него ушла в самые скаты; он так нервничал, что от звяканья собственного колокольчика чуть не соскочил с рельсов. Спереди и сзади качались и приплясывали фонари; с боков по шести рельсовым путям, грохоча сцепками, визжа тормозами, сновали туда-сюда составы в таком количестве, какое 007 и не снилось. Тут были и нефтецистерны, и вагоны для перевозки сена, и вагоны, набитые мычащей скотиной, эти — для руды, те — для картофеля, с печками посередке. Вагоны-ледники и рефрижераторы, из которых ледяная

вода сочилась прямо на рельсы, и снабженные вентиляцией вагоны для фруктов, и молочные цистерны; платформы с контейнерами, набитыми товаром; платформы, груженные жатками и сноповязалками всех цветов радуги — красными, зелеными, золотистыми в слепящем электрическом свете; платформы с остро пахнущими бычьими шкурами, душистыми досками тсуги или рулонами гонта; платформы, гнущиеся под тяжестью тридцатитонного литья, углового железа и болтов для строительства какого-то нового моста, — и опять сотни, сотни товарных вагонов — груженые, запертые, с меловыми отметинами на стенках. Мужчины — потные и сердитые — ползали под тысячами колес, около них и между ними. Они стремительно перелезали через будку 007, стоило ему на минуту остановиться, потом усаживались на каукетчер, когда 007 трогался с места, и забирались в тендер, когда он давал задний ход. И целые отряды бегали по крышам товарных вагонов, проверяли тормоза, махали руками и выкрикивали весьма занятные слова.

007 то толкали вперед на один фут, то откатывали назад на четверть мили так стремительно, что его ведущие колеса гремели и дребезжали. Потом резко переводили на стрелку (а стрелки

на сортировке очень короткие и неудобные). Прицепляли то один, то другой товарный состав, а 007, не имея понятия об этом, не сразу мог сдвинуться с места. И так без конца. Едва он набирал скорость, как кто-то отцеплял несколько вагонов. 007 делал рывок, но тут же натыкался на тормоз и сбавлял ход, икая от натуги. Потом несколько минут переводил дух, ослепленный пляской фонарей, оглушенный бренчанием колокольчиков, одуревший от мелькания нескончаемых составов. Тормозной насос выжимал сорок ударов в минуту, переднее сцепление свешивалось с каукетчера, как язык уставшей собаки, а весь его корпус покрывала полусгоревшая сажа.

— С тендером тяжело маневрировать, — заметил его малорослый приятель по депо, рысью пролетая мимо, — но ты держишься молодцом. Видал когда-нибудь маневровый скорый? Нет? Так посмотри на меня.

Коротыш тащил двенадцать тяжелых платформ. Вдруг с резким джиком оторвался от них. Впереди в полумраке замаячила стрелка. Он покроличьи шмыгнул к ней, что-то сзади щелкнуло, и двенадцатифутовая цепь платформ, доверху нагруженных бревнами, угодила в объятия тяжелого товарного локомотива, который протяжным

гудком расписался в получении груза.

— На всей сортировке один мой хозяин умеет такие трюки отмачивать, — вернувшись, сказал Коротыш. — Когда какой-нибудь другой дурак за это дело берется, меня прямо колотит, как в лихорадке. Вот что значит короткая колесная база! Тебе такое не с руки — живо оторвет тендер.

007 не испытывал подобных честолюбивых желаний и так прямо и сказал Коротышу.

— Не хочешь? Конечно, дело это тебе несподручное, но разве не интересно? Начальника сортировки видал? Самый главный человек на земле, не забывай об этом! Когда кончим, спрашиваешь? Да никогда, братец. Так днем и ночью, всю неделю, и в будни и в праздник работаешь. Видишь, вон состав из тридцати вагонов по четвертому, нет, по пятому пути катит? Каких там только грузов нет! Сюда его пригнали, чтобы рассортировать вагоны и составить потом прямые поезда. Вот мы и отцепляем по одному вагону.

Сказав так, Коротыш с силой подтолкнул платформу западного следования и, слегка фыркнув от удивления, отпрянул назад, потому что платформа оказалась его старой приятельницей.

— Лопни мои сцепления, если это не беспризорница Кэт! Ты что же своих друзей забросила? Тут

за тобой сорок гонцов уже было с твоей дороги. Кто теперь тебя заполучил?

— Сама бы узнать не прочь, — захныкала беспризорница Кэт. — Хозяева мои из Топеки, сама побывала и в Седэр Репидз, и в Виннипеге, и в Ньюпорт Ньюз, исколесила всю старую Атланту и Вест Пойнт и Буффало не обошла. Сейчас, наверно, застряну в Гаверстро. Каких-нибудь десять месяцев дома не была, а уж так стосковалась по своим — ужас как тянет вернуться.

— Давай в Чикаго, Кэти, — сказал маневровый, и старая, облезлая платформа, грохоча и подпрыгивая, лениво покатила по рельсам.

— Хочу поспеть в Канзас ко времени, когда подсолнухи зацветут.

— Таких беспризорниц Кэт да бродяг Уилли на сортировке хоть пруд пруди, — растолковывал маневровый номеру 007, — я знал старую платформу из Фитчбурга, которая дома не была целых семнадцать месяцев. А одна из наших вернулась сюда только через пятнадцать месяцев. Прямо ума не приложу, как наши хозяева это устраивают. Наверное, меняют нас местами. Я-то свое дело сделал. Теперь Кэти на пути в Канзас через Чикаго. Но держу пари на месячный запас угля — она обязательно застрянет в Чикаго, будет на

побегушках у грузополучателя, а осенью ее к нам опять с пшеницей пригонят.

В эту минуту мимо них прошел «Консолидейшн», таща за собой двенадцать вагонов.

— Домой еду, — гордо заявил он.

— Да ты не разместишь столько вагонов на пароме! Возьми их в два приема, хвастунишка! — крикнул ему вслед Коротыш.

Но тут 007 подогнали к шести последним вагонам, и он чуть не взорвался от удивления, обнаружив, что толкает их прямиком к огромному парому. До сих пор 007 видел вокруг себя только твердую почву, а тут оторопел, когда паром отчалил и колеса его на шесть дюймов погрузились в черную, маслянистую воду.

Потом 007 быстро погнали к пакгаузам, где он увидел начальника сортировки — приземистого белолицего человека в рубашке, брюках и стоптанных башмаках. Он поглядывал на море тележек, толпу горланящих грузчиков и эскадроны лошадей, которые пятились, поворачивались, выбивали копытами искры.

— Это с тележек товар перебрасывают в контейнеры, — благоговейно заметил маневровый, — но главный-то на грузчиков ноль внимания. Пускай чертыхаются. Он тут сам царь и бог — хозяин!

Стоит ему сказать: «Будьте так любезны», — как они ему в ноги падают и молятся. Несколько составов успеют нагрузить, прежде чем он обратит на них внимание. Стоит ему рукой махнуть, и дело само начинает делаться.

Нагруженный состав отходил по одному пути, а по другому ему на смену прибывал порожний. Тюки, корзины, ящики, банки, бутыли, тростниковые плетенки, коробки, пакеты прямо прыгали в вагоны, точно те были магнитом, а грузы — железной стружкой.

— Ну как? — воскликнул Коротыш. — Разве не здорово?

Краснорожий грузчик протиснулся к начальнику сортировки и потряс кулаком у него под носом. Тот даже не оторвал глаз от накладных. Только слегка согнул указательный палец, и молодой верзила в красной рубахе, который околачивался возле, ударил грузчика в левое ухо, да так, что тот, застонав и крякнув, рухнул на кипу сена.

— Одиннадцать, семь, девяносто семь, четырнадцать ноль ноль три; девятнадцать тринадцать; один один четыре; семнадцать ноль двадцать один и десять западного направления. Все прямо до станции назначения, кроме двух последних. Их на узловую. Порядок. Отгоните состав.

Начальник сортировки кроткими синими глазами глянул поверх горланящих грузчиков, остановил взгляд на залитой луною водной глади и замурлыкал:

Земную твердь прекрасную,
И дух людской, и плоть,
И злак, и тварь безгласную —
Все сотворил господь.
[112]

007 откатил вагоны и передал их обычному товарному локомотиву. Никогда в жизни он не казался себе таким ничтожным!

— Занятно? — спросил Коротыш, попыхивая на соседнем пути. — Ведь попадись начальник нам под буфера, осталась бы от него красная лужица, а мы даже и не заметили бы. Смотри, как он весь внутри кипит, а вида не подает.

— Что тут говорить, — ответил 007. — У меня при нем точно огонь в топке глохнет и пар весь выходит. Да, он самый главный человек на земле.

К тому времени они уже стояли в дальнем, северном конце сортировки, у будки стрелочника,

---

[112] notes: 112
Стихи в переводе Э. Линецкой.

и глядели на четырехколейное железнодорожное полотно. Состав, приведенный 007-м, был передан бостонской даме «Компаунд», и ей предстояло теперь тащить его по не очень исправному полотну до узловой станции, и она весьма сокрушалась из-за девяностошестифунтовых рельсов.

— Вы так молоды, так молоды, — откашливалась она. — Вы не сознаете всей вашей ответственности.

— Всё он сознает, — отрезал Коротыш, — только не плачется, как некоторые. — Он выбросил вбок струю пара, точно сплюнул. — Грузу у нее тысяч на пятнадцать, а кряхтит, будто его на все сто, — такая воображала, вроде «Могола». Простите, мадам, но путь для вас открыт… Сейчас опять застрянет, как мертвая, куда уж ей!

Переползая с колеи на колею, машина «Компаунд» медленно двигалась по длинному уклону, тяжко охала на каждой стрелке, переваливаясь, как корова в сугробах. Когда потом ее буферные фонари пропали из виду, на сортировке наступила краткая пауза. Стрелки, щелкнув, перевелись и словно замерли в ожидании.

— А теперь я покажу тебе удивительную штуку, — сказал Коротыш. — Если «Багряноносец» хоть на минуту опоздает, значит, пора менять нашу

конституцию. Как только пробьет двенадцать…

— Бум! — ухнули часы на большой башне сортировки, и издалека до 007 донеслось ритмичное и гулкое «ай-яй-яй». Звездой блеснул на горизонте головной фонарь, сверкание его все разгоралось, а приглушенная музыка колес перерастала в торжественную песнь летящего великана:

Тише, мыши, кот на крыше! Ай-яй-яй!
Айн-цвай-драй, мамаша наша! Ай-яй-яй!
Увидала пасть вокзала,
Всех на свете распугала,
Распевала «кот на крыше». Ай-яй-яй.

Последние звуки с вызовом раскатились в полутора милях от пассажирской станции, но краешком фонаря 007 разглядел горделивый, о шести ведущих колесах, сверхскорый локомотив, гордость, и славу железной дороги — первоклассный «Багряноносец», южный экспресс миллионеров, отмахивающий мили с той же легкостью, с какой рубанок гуляет по мягкой доске. Весь он был словно туманное темно-эмалевое пятно, оживленное полосой белого электрического света в окнах и мерцанием никелированных перил на площадке заднего вагона.

— Ну и ну! — вырвалось у 007.

— Семьдесят пять миль в час делает. Говорят, есть ванные, парикмахерская, телеграфный аппарат, библиотека — всего и не перечесть. Да, сэр, семьдесят пять в час! А в депо будет с тобой разговаривать запросто, совсем как я. Но — черт подери мои колеса — выжми я хоть половину его скорости, тут мне была бы и крышка! Он магистр нашего ордена. Всегда у нас в депо в порядок себя приводит. Я тебя с ним познакомлю. Стоит того. Не многие, знаешь ли, поют такую песню.

От волнения 007 даже ответить не смог и не услышал, как зазвонил телефон в будке и высунувшийся из нее стрелочник спросил у машиниста 007:

— Пару хватит?

— Да уж миль на сто, думаю, отъедем от этой мышеловки, — отозвался машинист, который был докой по части длинных перегонов и ненавидел сортировки.

— Тогда давай быстрей. Тут в милях сорока товарный экспресс под откос ушел, метров на пятьсот участок из строя выбыл. Нет, жертв не было, но оба пути блокированы. Слава богу, деррик-кран и ремонтный вагон на месте. Сейчас ремонтники подойдут. Ты не мешкай! Путь открыт.

— И зачем я таким плюгавым уродился! Прямо зло берет! — вздохнул Коротыш, а 007 одним рывком прицепили к мрачному, закопченному, похожему на тормозной вагону, который был набит инструментами; за ним стояли платформа и деррик-кран.

— Знаешь, бригада бригаде рознь. Но тебе, братец, повезло! Дают ремонтный вагон. Ты только не робей! Колесная база сдюжит, да и крутых поворотов почти нет. Да, чуть не забыл! «Коменчи» тут говорил, что есть участок, где рельсы кое-как уложены, — там тебя малость потрясет. В милях пятнадцати с половиной после подъема у Джексонова разъезда. Да ты это место сразу узнаешь: там ферма, ветряная мельница и пять кленов во дворе перед домом. Мельница к западу от кленов. А посередке перегона железный мост восьмидесятифутовый, без перил. Ну пока! Удачи тебе!

Не успел 007 прийти в себя, как уже мчался по рельсам в глухую темень. И тут на него напали ночные страхи. Припомнились рассказы об оползнях, о выкорчеванных ливнем валунах, о поваленных деревьях, о заблудившейся скотине, все разглагольствования бостонской дамы «Компаунд» об ответственности и в придачу все, что породила его собственная фантазия. У первого

в его жизни железнодорожного переезда (а это событие в биографии паровоза) он дал не в меру дрожащий гудок, а при виде испуганной лошадки и позеленевшего господина в пролетке, оголтело летящей в каких-нибудь двух ярдах от правых колес, нервы 007 напряглись до предела. Он не сомневался, что сейчас сойдет с рельсов; чувствовал, как на поворотах борт колесного бандажа на дюйм подымался над рельсами; знал, что на первом же подъеме испустит дух, как «Коменчи» у Ньютонса. Он стремительно летел под уклон к Джексонову разъезду, — мелькнула ветряная мельница чуть западнее кленов, потом колеса запрыгали по плохо уложенным рельсам, и крупные капли пота выступили у него на паровом котле. При каждом резком толчке 007 боялся, что не выдержит какая-нибудь ось.

Восьмидесятифутовый мост без перил он проскочил, как кошка, улепетывающая по забору от собаки. К стеклу головного фонаря прилип мокрый лист, его тень мчалась по рельсам, и 007, решив, что это прыгает какой-то мягонький зверек, испугался, как бы на него не наехать (все мягкое пугает локомотив так же, как слона). Но люди, едущие на 007, были совершенно спокойны. Бригада безбоязненно перебралась из

ремонтного вагона в тендер и теперь перебрасывалась шутками с машинистом. 007 слышал шарканье ног по слою угля и обрывки песни, что-то вроде:

«Голубой скороход» подождет, не помрет,
И придется «Стреле» отстояться,
Потому что экспресс в речку с насыпи слез, —
Эй, дорогу ремонтникам, братцы!
Путь зеленый ремонтникам, братцы!

— Да, Юстес в грязь лицом не ударил. Машина хоть куда. И новехонькая.

— Кха-кха! Что верно, то верно. Даже краска еще…

И тут правое заднее колесо 007 пронзила жгучая боль — нестерпимая, стреляющая.

«Вот, — подумалось ему на ходу, — вот и у меня загорелись буксы. Теперь понял, что это такое. Разорвет меня вдребезги, не иначе. И в первый же рейс!»

— Кажись, что-то неладно, — отважился заметить кочегар машинисту.

— Ничего, сдюжит, если понадобится. Мы почти на месте. А парням лучше бы сидеть у себя в вагоне, — сказал машинист, держа руку на тормозе. — У меня на глазах людей сносило…

Ремонтники, хохоча, убрались к себе. Кому была охота лететь вверх тормашками на рельсы? Машинист сделал круговое движение кистью, и 007 почувствовал, как что-то пригвоздило к рельсам его ведущие колеса.

— Ну и ну! — взвыл 007 и проехался юзом, как на полозьях. В первую секунду ему показалось, что он отрывается от собственных осей.

«Должно быть, это и есть тот стоп-кран, которым Коротыш дразнил меня в депо, — еле переводя дух, думал 007, — «Загорелись буксы», «Стоп-кран». И то и другое ужас как больно! Зато в депо всем расскажу об этом».

Пыша жаром, 007 остановился в нескольких шагах от того, что врачи назвали бы сложно переломанным вагоном. Машинист на коленях принялся возиться с чем-то между колесами 007, но не называл его арабским скакуном и не сюсюкал над ним, как это бывает с машинистами на страницах «Еженедельника». Он по-всякому ругал 007, вытаскивал ярды обугленной пакли из букс и приговаривал, что обязательно поймает того болвана, кто так по-дурацки ее туда запихал. Никто не помогал ему, потому что Ивенс, машинист «Могола», только слегка расшибший голову, но тем не менее очень сердитый, показывал при

свете фонаря небольшую изувеченную и посиневшую свинью.

— Добро бы нормальная свинья была, — бормотал он, — а то ведь ососок.

— Страшные твари, что и говорить, — заметил кто-то из бригады, — лезут под каукетчер, а потом отправляют вас под откос.

— Под откос! — загремел рыжеголовый Эванс, родом из Уэльса. — Послушать вас, так я через день лечу в канавы из-за какого-нибудь борова, будто возжаюсь со всеми треклятыми свиными недоносками штата Нью-Йорк. Я их знать не знаю, кроме этого черта, — посмотрите, что натворил.

Для одного заплутавшегося ночью поросенка сработано было недурно. Товарный экспресс, очевидно, летел на всех парах, поскольку «Могола» приподняло на рельсах и он по диагонали промчался несколько сот футов справа налево, прихватив с собой те вагоны, которые того пожелали. Некоторые воздержались. Порвали сцепки и остановились, а задние вагоны взгромоздились на них. В этой чехарде они разворотили и сильно искромсали рельсы по левой стороне. Сам «Могол» угодил в пшеничное поле и пал на колени; причудливые зеленые гирлянды намотались ему

на шкворни, тяжелые комья земли облепили каукетчер, которому по-пьяному кивали колосья. Огонь в топке был заглушен грязью (это сделал Эванс, как только очнулся), в разбитый головной фонарь набились полусгоревшие ночные мотыльки. «Могол», весь обсыпанный углем из тендера, напоминал шалого буйвола, вторгшегося в универсальный магазин: всюду, как попало, валялись вылетевшие из разбитых вагонов пишущие и швейные машины, велосипеды в деревянных клетках, партия импортной, отделанной серебром упряжи, французские перчатки и платья, десяток великолепно обработанных дубовых каминных досок, пятнадцатифутовая моторная лодка, в которую въехала массивная кровать с медными украшениями, ящик с телескопами и микроскопами, два гроба, ящик первосортных леденцов, превосходные сыры, масло и яйца уже в виде омлета, разбитая коробка с дорогими игрушками и сотни прочих предметов роскоши. Неизвестно откуда поспешно возникли какие-то бродяги и великодушно устремились на подмогу ремонтной бригаде. Поэтому тормозные кондуктора, вооружившись шкворнями, прохаживались по одной стороне, а по другой, засунув руки в карманы, ходили

патрулем проводники вкупе с кочегаром. Из дома за пшеничным полем выскочил длиннобородый мужчина и крикнул Ивенсу, что, случись это несчастье под осень, сгорел бы весь его хлеб, и все по вине непутевого Ивенса. Потом он кинулся бежать без оглядки, потому что Ивенс с воплем: «Все из-за его свиньи, его свиньи, пустите, я убью его, убью!» — кинулся на бородача. Ремонтники хохотали, а фермер, высунувшись из окна, сказал, что Ивенс не джентльмен.

Но 007 было не до смеха. Ему еще не случалось видеть крушение, и оно очень напугало его. Ремонтники смеялись, но и дело не забывали, и когда 007 увидел, как они орудуют с «Моголом», ужас его сменился изумлением. «Могола» окопали лопатами, под колеса подвели шпалы, а под него самого — домкраты; они обвили его цепью деррик-крана и щекотали стальными ломами. А 007 прицепили к полуразбитым вагонам, и он все пятился, пока клубок вагонов не распутался и, покатившись по рельсам, они не расчистили путь. К рассвету человек тридцать — сорок уже подносили и укладывали новые шпалы, проверяли колею и крепили рельсы. К утру все способные двигаться вагоны оказались уже на попечении другого локомотива. Путь был расчищен, и 007

дюйм за дюймом начал втаскивать «Могола» по короткому настилу из шпал. Наконец его реборды коснулись рельсов, и старик с лязгом водворился на место. Однако он был глубоко подавлен, и вся его бодрость улетучилась.

— Добро бы свинья была, — печально повторял он, — а то ведь подсвинок. И в довершение, тебе — не кому-нибудь, а именно тебе — пришлось вызволять меня из беды.

— Но как такая штука могла стрястись? — шипя от любопытства, спросил 007.

— Стрястись? Да она вовсе не стряслась, а подвернулась. Выехал из-за поворота и прямо наскочил на нее. Думаю, скунс под колесами. Такая она махонькая была. Даже не пискнула, прямо под каукетчер угодила, а я вдруг чувствую — передние колеса поднялись, на рельсы попасть не могу; в общем, дело дрянь. Меня повернуло, как на оси. Потом чувствую — под левым ведущим колесом что-то жирное бьется, и — лопни мой котел! — я сорвался под откос. Только шпалы под ребордами затрещали, думаю — конец мне, и очутился в хлебах. Тендер выплюнул уголь через будку, а прямо передо мной — старик Ивенс, весь в крови и без движения. И меня тряхануло. Все заклепки, гайки и болты повыскакивали.

— Да! — протянул 007. — А сколько, думаете, в вас весу?

— Без этой грязи сто тысяч фунтов будет.

— А в поросенке?

— Восемьдесят фунтов. Не больше ста. И цена-то ему четыре с половиной доллара. Как тут не расстроиться? Впору и нервами заболеть, прямо колеса отнимаются. Подумать только, не успел я выехать из-за поворота... — затянул опять свою песню «Могол», потрясенный до самого основания.

— Так уж заведено на свете, — утешал его 007. — К тому же в хлеба падать, наверное, не так больно.

— Будь это шестидесятифутовый мост и свались я в воду, взорвись, отправь на тот свет машиниста с кочегаром, как другие делают, не так обидно было бы, но из-за подсвинка свалиться в хлеба, да еще чтобы ты меня вытягивал! И вдобавок этот старик, вонючий фермер в своей ночной рубахе, так меня честил, будто я больная кляча... Нет, это ужасно! Не зови меня больше «Моголом». Я просто швейная машина. Меня теперь до смерти засмеют на сортировке.

И 007, охладивший за ночь свои буксы и изрядно повзрослевший, неторопливо потащил

товарный локомотив в депо.

— Привет, старина. Видно, всю ночь трудился? — крикнул «Моголу» неугомонный Коротыш, возвращавшийся домой с работы. — Вид у вас, прямо скажем… Эх вы, грузы ценные, грузы бьющиеся! Отправляйтесь-ка в мастерские, снимите лавры с вашей гривы да умойте будку.

— Не приставай, Коротыш, — строго сказал 007, подошедший к поворотному кругу, — а не то я…

— Я и не знал, братец, что этот старый кипятильник — твой закадычный дружок. Последний раз он не больно-то вежливо с тобой разговаривал.

— Верно. Но с тех пор я видел крушение и от страха чуть весь не облез. Теперь, покуда не выпущу пар, никогда не стану насмехаться над новичками, которые дела не знают и хотят научиться. А над стариком «Моголом» и подавно, хотя и видал, как у него из трубы колосья торчали. Представляешь себе, Коротыш, все из-за подсвинка, не свиньи, а просто поросенка. Сам с кусок антрацита — своими глазами видел, — а какую заваруху устроил. И я понял, что с каждым такое случиться может.

— Вы уже это поняли? Для начала отлично, — вмешался в разговор «Багряноносец», сверкаю-

щий зеркальными стеклами высокой элегантной будки и весь выложенный внутри зелеными бархатными подушками; в депо он ожидал чистки перед следующим рейсом.

— Позвольте вас, господа, познакомить, — сказал Коротыш. — Это наш «Багряноносец». Ты им, братец, вчера восхищался и, пожалуй, даже завидовал. А это, уважаемый сэр, новый член нашего братства, у которого все мили еще впереди, но за которого, как старший товарищ, я ручаюсь.

— Рад нашему знакомству, — сказал «Багряноносец», окидывая взглядом переполненное депо. — По-моему, нас тут достаточно, чтобы открыть собрание. Гмм, благодаря полномочиям, которыми и облечен в качестве начальника железной дороги, я отныне объявляю 007 полноправным членом Объединенного братства локомотивов и в качестве такового пользующегося всеми правами и привилегиями касательно мастерских, депо, водокачек и железнодорожных путей. Согласно предоставленному мне праву я возвожу 007 в степень скоростного локомотива, ибо, как мне сообщили из достоверных источников, наш новый товарищ прошел сорок одну милю за тридцать девять с половиной минут, спеша на помощь пострадавшему. В свое время я сообщу гимн и

сигнал, присвоенные локомотивам этой степени, по которым вас узнают в самую глухую темень… Добро пожаловать, новоявленный член нашего братства локомотивов!

* * *

И вот, если в самую глухую темень (как выразился «Багряноносец») вы остановитесь на мосту над товарной станцией и окинете взглядом четырехколейное полотно, ровно в два тридцать ночи — не раньше и не позже, — когда «Белый мотылек», приняв пассажиров, не попавших на «Багряноносец», мчит на юг семерку своих молочно-кремовых спальных вагонов, вы услышите вместе с боем часов, как вдали забасит виолончель, а потом разберете слова:

Тише, мыши, кот на крыше! Ай-яй-яй!
Айн-цвай-драй, мамаша наша! Ай-яй-яй!
Увидала пасть вокзала,
Всех на свете распугала,
Распевала «кот на крыше». Ай-яй-яй!

Это 007 покрывает сто пятьдесят шесть миль за двести двадцать одну минуту.

«ХЛЕБ, ОТПУЩЕННЫЙ ПО ВОДАМ»[113]

Перевод В. Хинкиса

Ежели вы не позабыли еще моего непутевого кореша Брагглсмита, то заодно помните, стало быть, и его кореша Макфи, старшего механика с «Бреслау», того самого, у которого Брагглсмит однажды ялик похитить пытался. Какие он потом себе оправдания выдумал, про это можно будет рассказать как-нибудь после, когда к слову придется; а нынче речь у нас про Макфи пойдет. Он никогда не принадлежал к механикам, которые гоняют машины на износ, и с особенной гордостью этим хвастал перед ребятами из Ливерпуля; но за плечами у него было тридцать два года опыта работы с корабельными двигателями, и он хорошо знал ихний норов. Одна щека у него была изуродована при взрыве манометра еще в те времена, когда люди знали меньше, чем в нынешние, и над этим уродством внушительно

[113] notes: 113

Впервые рассказ опубликован в 1896 г., вошел в сборник «Дневной труд». Название рассказа — слова из Библии (Екклезиаст, II, 1), означающие бескорыстное благодеяние

вздымался нос, как полицейская дубинка над толпой при уличных беспорядках. А вся его голова была в шрамах да шишках, и при разговоре он частенько хватал других за руку, проводил указательным пальцем по своим коротким, седоватым, со стальным отливом волосам и рассказывал, как заполучил эти отличительные знаки. У него были всякие свидетельства о самой высшей квалификации, а на дне ящика, где он хранил фотографии своей жены, было несколько медалей «Королевского общества помощи утопающим» за спасение на водах. По роду своей профессии — кроме тех случаев, когда обезумевшие пассажиры четвертого класса прыгали за борт, — по роду профессии Макфи не одобряет спасения на водах и часто говаривал мне, что новый ад уготован тем кочегарам и мотористам, которые при найме уверяют, будто они крепкие ребята, и требуют высокой платы, а на другой же день их укачивает, и они лежат в лежку да блюют от морской болезни. Он полагает, что очень полезно швырнуть сапогом в четвертого или пятого механика, ежели тот разбудит его среди ночи и скажет, что подшипник раскалился докрасна, только потому, что фонарь отсвечивает красным от вращающегося металла. Он полагает, что на

свете есть только два поэта: первый, само собой, это Роберт Бернс[114], а второй — Джералд Масси. Когда у него бывает досуг, чтоб читать романы, он открывает Уилки Коллинза или Чарлза Рида — предпочтительно последнего — и помнит наизусть целые страницы из «Тяжелых денег». В кают-компании его место за столом рядом с самим капитаном, и ежели его машина в работе, он не пьет ничего, кроме воды.

Когда мы с ним познакомились, он принял меня благосклонно, потому что я ни о чем не расспрашивал и верил, что Чарлз Рид предан постыдному забвению. Позднее он одобрил собственное мое творчество, состоявшее из одного проспекта в двадцать четыре страницы, который я написал для компании «Холдок, Стейнер и Чейс», владевшей нашей линией, когда они приобрели какой-то патент на вентилирующее оборудование и установили его в каютах

---

[114] notes: 114

…Роберт Бернс, Джералд Масси, Уилки Коллинз, Чарлз Рид, «Тяжелые деньги»… — Литературные вкусы механика Макфи определяются его национальностью и профессией. Он — шотландец и потому, естественно, для него на первом месте Роберт Бернс. Английский поэт Джералд Масси был сыном лодочника, а кроме того, стихи его не отличались особенной «пристойностью». Уилки Коллинз широко известен своими детективными романами. Популярный английский романист Чарлз Рид в романе «Тяжелые деньги» (1863) описал злоключения капитана, шедшего на корабле из Индии

«Бреслау», «Шпандау» и «Кольтцау». Шкипер с «Бреслау» рекомендовал меня секретарю Холдока, который подыскал мне место; и сам Холдок, методист, последователь Уэсли, пригласил меня к себе в дом, велел накормить вместе с гувернанткой, когда все остальные уже отобедали, и выдал мне чертежи и инструкции, после чего я написал этот самый проспект в тот же день. Назывался он «Комфортабельные каюты», и я получил за него семь фунтов и десять шиллингов вознаграждения наличными — целую кучу денег по тем временам; а гувернантка, которая учила этого щенка Джона Холдока арифметике, сказала мне, что миссис Холдок сказала ей, чтоб она хорошенько за мной смотрела, а то как бы я не удрал, прихватив с вешалки пальто и шубы. Макфи мой проспект понравился до чрезвычайности, потому как он был выдержан в причудливо-византийском стиле, со всякими вычурностями в духе барокко и рококо; вскорости он меня познакомил с миссис Макфи, которая заняла у меня в сердце место Дины; ведь Дина была за тридевять земель, а любить такую женщину, как Жанетта Макфи, пользительное и чистое дело. Жили они неподалеку от пароходства, в маленьком домике, который снимали за двенадцать фунтов. Когда Макфи уходил в рейс,

миссис Макфи читала морскую хронику в газетах и посещала супруг старших механиков, равных ей по общественному положению. Раз или два сама миссис Холдок посетила миссис Макфи, приезжала в двухместной коляске с пластиковой отделкой, и у меня есть основания полагать что, после того как она достаточно долго разыгрывала из себя хозяйскую супружницу, обе они вволю посплетничали промеж собой. Холдоки жили в старомодном особняке с большим садом, обнесенном кирпичной стеной, меньше чем в миле от домика Макфи, потому что они берегли свои деньги, а деньги берегли их; и в летнюю пору частенько можно было видеть, как ихняя коляска с важностью проезжала мимо заведений Тейдона Бойса или Лофтона. Но я был другом миссис Макфи, и она, бывало, позволяла мне сопровождать себя в западную часть города, в театры, где она плакала, или смеялась, или же дрожала по простоте душевной; она ввела меня в незнакомый мне прежде мир докторских и капитанских жен, чьи разговоры и мысли вертелись все вокруг да около каких-то неслыханных пароходов и пароходных линий. Были, оказывается, и парусники со стюардами и с каютами, отделанными красным деревом да кленовыми панелями, и ходили

они в торговые рейсы до самой Австралии, беря на борт груз чахоточных больных и запойных пьяниц, которым было предписано путешествие по морю; были и вонючие западноафриканские скорлупки, кишащие крысами и тараканами, там люди помирали где угодно, только не в своих койках; были бразильские суда, на которых каюты фрахтовались под товар, и плавали они до того перегруженные, что вода едва не заливала палубу; были пароходы с Занзибара и с острова Маврикия, и удивительные переоборудованные суда, что курсировали вплоть до дальнего берега Борнео. Всех их знали и любили, потому как на них мы зарабатывали свой хлеб насущный и немного масла в придачу, а большие атлантические корабли мы презирали и потешались над тихоокеанскими и восточными лайнерами, причем каждый хранил верность своему хозяину, будь тот методист, баптист или пресвитерианин, это уж как случится.

Я только недавно успел вернуться в Англию, как миссис Макфи пригласила меня к обеду в три часа пополудни, и почтовая бумага, на которой было написано ее письмо, чуть ли не годилась для свадебного приглашения, такая она была белая и надушенная. Дойдя до ихнего дома, я увидел

на окне новые занавески, которые стоили никак не меньше сорока пяти шиллингов пара; а когда миссис Макфи ввела меня в маленький холл, оклеенный обоями под мрамор, она поглядела на меня зорким взглядом и воскликнула:

— Неужто ты еще не слыхал? Что скажешь про эту вешалку?

А вешалка была из дуба — и стоила она самое меньшее тридцать шиллингов. Макфи спустился с лестницы трезвый, твердыми шагами — он ступает легко, как кошка, несмотря на свой немалый вес, когда он в море, — и пожал мне руку на новый, чудовищный манер — это он подражал замашкам старины Холдока, тот так прощается со своими капитанами. Я сразу смекнул, что Макфи получил какое-то наследство, но помалкивал, хотя миссис Макфи каждые полминуты упрашивала меня кушать побольше и без церемоний. Обед прошел, будто в сумасшедшем доме, потому что Макфи с женой держались за руки, как дети (они всегда так делают после его возвращения с моря), и кивали, и перемигивались, и давились, и булькали, и в рот почти ничего не брали.

Вошла горничная, которая подавала к столу; а ведь раньше миссис Макфи мне не раз говаривала, что никому не доверит у себя домашнюю

работу, покамест сама она жива и здорова. Но эта горничная была не какая-нибудь, а в крахмальной наколке, и я приметил, как миссис Макфи все больше раздувается под своим платьем маренового цвета. Надводная часть у Жанетты Макфи немалая, а мареновый цвет довольно броский. И в этой неожиданной обстановке, среди горделивой роскоши, я будто глядел фейерверк, понятия не имея, по случаю какого такого празднества его запустили. Горничная убрала скатерть и приволокла ананас, который в эту пору года стоит добрых полгинеи (только Макфи знает особый способ добывать такие вещи), кантонское фарфоровое блюдо, полное сушеных фиг, тарелку с консервированным имбирем и банку изумительных, поистине королевских маринованных овощей, аромат которых распространился по всей комнате. Макфи достает у одного голландца на Яве и, я думаю, приправляет спиртным. Но венцом всего была мадера, да такая, какую может раздобыть лишь тот, кто тонко разбирается в винах и в людях, которые ими торгуют. Маленькая, завернутая в маисовый лист пачка крученых мадейрских сигар была подана вместе с вином, и тут наступило молчание, пронизанное бледно-голубым дымом; Жанетта во всем своем

великолепии улыбалась нам обоим и похлопывала Макфи по руке.

— Давайте выпьем, — сказал Макфи, неторопливо поглаживая подбородок. — Да будет вечное проклятие Холдоку, Стейнеру и Чейсу.

Я, само собой, ответил: «Аминь», — хотя заработал в этой фирме семь фунтов и десять шиллингов. Враги Макфи были и моими врагами, да к тому же я пил его мадеру.

— Неужто ты и впрямь еще ничего не слыхал? — говорит мне Жанетта. — Ни словечка, ни шепотка?

— Ни словечка, ни шепотка. Это истинная правда, клянусь вам.

— Скажи ему, Мак, — говорит тогда Жанетта; и это лишнее подтверждение ее доброты и супружеской любви. Женщина помельче сразу же выболтала бы все сама, но Жанетта была выше этого, росту она имела пять футов и девять дюймов, ежели без туфель мерять.

— Мы разбогатели, — сказал Макфи.

Я пожал обоим руки.

— Чертовски разбогатели, — добавил он.

Я вторично пожал им руки.

— Больше не стану ходить в плаванье… разве только… как знать… может, на собственной ях-

те… с маленьким и удобным движком.

— Настолько у нас не хватит, — сказала Жанетта. — Конечно, мы богаты… верней, зажиточны, но не больше того. Новое платье, чтобы ходить в церковь, и еще одно для театра. Шить будем в западной части города, у самой лучшей портнихи.

— Сколько же у вас теперь? — спросил я.

— Двадцать пять тысяч фунтов. — Тут у меня дух захватило. — А ведь я зарабатывал двадцать пять, а то и двадцать в месяц!

Последние слова он проревел так, словно весь мир хотел заглушить его голос.

— Насилу-то я дождался, — сказал я. — Ничего не знаю с прошлого сентября. Эти деньги вам кто-то отказал в завещании?

Они разом захохотали.

— Отказал, уж точно, — говорил Макфи, задыхаясь от смеха. — Ну да, отказал. Распрекрасное дело. Конечно, отказал. Жанетта, ты слышишь? Отказал. Так вот, ежели б ты вставил это в свой проспект, получилась бы изрядная потеха. Отказал, было дело.

Он хлопнул себя по ляжкам и взревел так, что вино всколыхнулось в графине.

Шотландцы превосходные люди, но они имеют привычку слишком уж долго смаковать шутку,

в особенности ежели никто, кроме них, не знает, в чем тут соль.

— Когда буду переписывать проспект наново, Макфи, беспременно вставлю. Но спервa мне надобно узнать дело поподробней.

Макфи раздумывал, пока не выкурил сигару до половины, а Жанетта тем временем поймала мой взгляд и не отпускала, покуда я не осмотрел по очереди все новые вещи, которые были в комнате — новый ковер с вытканными на нем виноградными листьями, новые мраморные часы с боем между макетами парусников из Коломбо, новый инкрустированный буфет с жардиньеркой сиреневого граненого стекла, бронзовая, с позолотой, каминная решетка и, наконец, новые, черные с золотом, фортепьяна.

— В октябре прошлого года правление вышвырнуло меня вон, — начал Макфи. — В октябре прошлого года «Бреслау» стал в док на зимний ремонт. Он проплавал восемь месяцев — двести сорок суток, — и я уже три дня выправлял себе документы, когда его поставили в сухой док. И заметь, в общей сложности мне причиталось около трех сотен фунтов — точнее говоря, двести восемьдесят шесть фунтов и четыре шиллинга. Никто другой на всем белом свете не стал бы

нянчиться с «Бреслау» восемь месяцев за такие пустячные деньги. Нет уж, с меня хватит — ей-ей, хватит! Пускай хоть все ихние корабли потопнут, мое дело сторона.

— Это уж лишнее, — сказала Жанетта мягко. — Ведь мы покончили счеты с Холдоком, Стейнером и Чейсом.

— Но ведь обидно, Жанетта, понимаешь, обидно. Я был прав кругом, от начала и до конца, весь свет это знает, но… но простить им я не могу. Да, умные люди всегда правы; и всякий другой на моем месте стребовал бы с них восемь сотен. Капитаном у нас был Хэй — ты его знаешь. Его перевели на «Торгау», а мне велели управляться с «Бреслау» под началом у этого щенка Бэннистера. И заметь, в правление были новые выборы. Слыхал я, акции продавались направо и налево, а в правлении почти все были совсем новые для меня люди. Прежнее правление никогда не допустило бы этакого безобразия. Там мне доверяли. А вот новое правление только и думало про реорганизацию. Этот щенок Стейнер — сын старого Стейнера, — этот еврейчик, был заводилой, и они даже не соблаговолили дать мне знать. Первое, что я получил — а я был старший механик, — это предписание на зимний рейс, и «Бреслау» следо-

вало сделать весь этот рейс, от порта до порта, за шестнадцать дней! Да, за шестнадцать дней, брат ты мой! Это хорошее судно, но шестнадцать дней ему летом требуется, заметь это себе. А шестнадцать дней зимой — это вздор собачий и издевательство, я так прямо и сказал этому щенку Бэннистеру.

«Надо управиться, — говорит он. — Не зря же тебе три сотни фунтов уплатили».

«Они что же, думают, будто ихние пароходы по воздуху летать должны? — говорю я. — Видно, правление совсем спятило».

«Я им так и сказал, — говорит он. — Но я человек женатый и вскорости, жена говорит, у нас четвертый родится».

— Мальчик… рыженький мальчик, — вставила Жанетта.

У самой у нее были роскошные золотисто-рыжие волосы и нежное белое лицо.

— Верь слову, в тот день я здорово осерчал! Кроме того, что я любил эту старую посудину «Бреслау», думается, правление могло бы немного считаться со мной после двадцати лет беспорочной службы. В среду было заседание правления, и я провел ночь в трюме, около машины, делал подсчеты, чтоб доказать свою правоту. Ну-с, я

выложил им все как есть, напрямик. «Джентльмены, — говорю я им, — я управлялся с «Бреслау» восемь навигаций и уверен, что в моей работе не сыщется ни единой оплошки. Но ежели вы такое надумали, — тут я помахал перед ихним носом бумажкой, — а я об этом и понятия не имел, покуда не прочитал нынче за завтраком, то клянусь вам честью старого моряка, ваша посудина этого никак не может. Вернее сказать, может, но только до поры, до времени, а риск до того велик, что ни один человек, у которого есть голова на плечах, на него не пойдет».

«Какого черта, а за что, по-вашему, мы вам жалованье платим? — говорит старый Холдок. — Да мы, брат, выходит, денежки на ветер пускаем».

«Это уж пускай правление решает, мое дело сторона, — говорю, — ежели двести восемьдесят семь фунтов за восемь месяцев цена для вас высокая и несходная».

Но я понапрасну там распинался, потому как со времени последних выборов правление было новое, и они сидели там, проклятые судоторговцы, им, жадюгам, только дивиденды подавай, глухие, как аспиды, про которых в Писании сказано.

«Мы должны, — говорит этот щенок Стейнер, — поступать по совести с пассажирами».

«Тогда, — говорю, — поступайте по совести и с «Бреслау». Корабль послужил верой и правдой не только вам, но еще вашему папаше. А теперь ему надобно для начала хотя бы днище залатать, да поставить новые станины, да вычистить накипь из переднего котла, да перебрать все три цилиндра, да заново отшлифовать все шестерни. На это потребуется самое малое три месяца».

«И все потому, что один из наших служащих струсил? — говорит этот щенок Стейнер. — Может, нам лучше поместить в каюте старшего механика шарманку, она там будет больше на месте».

Я только смял шляпу в руках, но слава богу, у нас нет детей и мы сумели скопить немного денег.

«Поймите, джентльмены, — говорю я им. — Ежели «Бреслау» будет делать рейсы за шестнадцать дней, тогда ищите другого механика».

«Бэннистер против таких рейсов не возражает», — говорит Холдок.

«Я отвечаю только за себя, — говорю я. — У Бэннистера дети есть. — Тут терпение мое лопнуло. — Ежели вы уплатите лоцману, то можете отправить судно рейсом хоть в самое пекло и обратно, — говорю, — но отправляйте без меня, вот что».

«Возмутительная дерзость», — говорит этот щенок Стейнер.

«Как вам будет угодно», — говорю и поворачиваюсь, чтоб уйти.

«Считайте, что вы уволены. Мы требуем от своих служащих повиновения», — говорит старина Холдок и озирается, убедиться хочет, что правление его одобряет.

А они — прости, господи, — не смыслят ни бельмеса и кивают, соглашаются выгнать меня с линии, где я проработал двадцать лет… целых двадцать лет.

Я вышел за дверь и сел в привратницкой, чтоб собраться с мыслями. Кажется, я ругал правление последними словами. А потом старина Макриммон — из компании «Макнотен и Макриммон» — вышел из своего кабинета, который на том же этаже, поглядел на меня и почесал пальцем веко. Ты же знаешь, его прозвали Слепой Дьявол, хотя он кто угодно, но только не слепой и никакой не дьявол в обращении со мною — Макриммон с пароходной линии «Черная птица».

«Что тут такое происходит, мистер Макфи?» — спрашивает он.

А я к тому времени был, почитай, уже чуть не мертвец.

«Старшего механика прогнали взашей после двадцати лет работы только потому, что он не захотел рискнуть и вести «Бреслау» по новому расписанию, а теперь катитесь ко всем чертям, Макриммон», — говорю.

Старикан чмокнул губами и присвистнул.

«Эге, — говорит, — новое расписание. Понятно!»

Он поплелся в комнату правления, откуда я недавно вышел, а шотландский терьер, его собака-поводырь, остался подле меня. И это было само Провидение. Через какую-нибудь минуту он вернулся.

«Вы отпустили свой хлеб по водам, Макфи, дьявол вас побери, — говорит он. — Где мой пес? Ей-ей, он пристроился у вас на коленях! Право слово, пес прозорливее еврея. Что сделалось с вашим треклятым правлением, Макфи? Это им дорого обойдется».

«Еще дороже уплатят они за «Бреслау», — говорю. — А теперь пшла с моих колен, наглая псина».

«Котел перекалился? — говорит Макриммон. — Вот уж тридцать лет, как никто не смеет обругать меня в лицо. Было время, когда я за такие слова спустил бы тебя с лестницы».

«Простите великодушно! — говорю. Ему уж, насколько мне известно, под восемьдесят. — Я был неправ, Макриммон: но когда человеку указывают на дверь только за то, что он честно исполнял свои прямые обязанности, он не всегда способен блюсти вежливое обхождение».

«Оно конечно, — говорит Макриммон. — Скажите, а вы не прочь поработать на сухогрузе, который промышляет случайными фрахтами? Правда, получать будете всего-навсего пятнадцать фунтов в месяц, но, говорят, Слепой Дьявол обеспечивает своих служащих получше, чем некоторые. Этот сухогруз — мой «Воздушный змей». Зайдите ко мне. И благодарите моего терьера, так-то. Сам я не люблю благодарностей. А теперь выкладывайте, — говорит, — какой бес толкнул вас плюнуть на службу у Холдока?»

«Новое расписание, — говорю. — «Бреслау» этого не выдержать».

«Эхе-хе, — говорит он. — Могли бы нажимать помаленьку, ровно настолько, чтоб казалось, будто вы стараетесь выжать все, — и прийти на место с двухдневным опозданием. Ведь нет ничего легче, чем сказать, что вы сбились с курса, вот и вышла задержка, э? Все мои служащие так делают, и… я им верю».

«Макриммон, — говорю, — как по-вашему, дорога ли девушке ее девственность?»

Он сморщил свое черствое лицо и заерзал в кресле.

«Что за чертовщина! — говорит. — Господи, ну что за чертовщина! Ведь мы с вами уже далеко не молоды, так при чем тут девственность?»

«А вот при чем, — говорю. — Это единственное, чего всякий, кто уважает свое дело или свое ремесло, не сделает ни за что на свете. Когда я должен привести судно вовремя, я его приведу, ежели, конечно, шторм со всеми его опасностями не захватит меня в открытом море. Видит бог, на меньшем не помирюсь. И видит бог, на большее не замахиваюсь. Но в нашем деле нету таких тонкостей, которых я не знал бы…»

«Оно конечно», — говорит Макриммон, а лицо у него черствое, как сухарь.

«Но я взял себе за правило приходить в срок, для меня это, поймите, такое же святое дело, как сам господь в сиянии своей славы. А этакого позора не стерплю. Обхаживать слабосильные машины — долг всякого честного механика, но то, чего требует правление, это мошенничество, да к тому же оно сопряжено с риском для человеческих жизней. Заметьте, я свое дело знаю».

— Мы с ним потолковали еще малость, а через неделю я отплыл на борту «Воздушного змея», сухогруза водоизмещением в две с половиной тысячи тонн, с допотопной паровой машиной, собственности пароходства «Черная птица». Чем дальше уходили мы от берега, тем выше подымалось давление в котле. Я выжал целых одиннадцать, хотя норма была восемь и три десятых. Хорошие харчи сразу и еще лучше потом, жалованье выписано полностью, безо всяких там вычетов, самолучший уголь, новехонькие вспомогательные движки, а уж команда, как на подбор, что надо. Старикан позаботился решительно обо всем, кроме покраски. Тут-то как раз и была для него главная загвоздка. Легче было бы выдрать у него последний зуб, нежели краску. Он частенько заходил в док, где об его судах сплетничали по всему порту, а он знай себе скулил да жалился и утверждал, будто вид у них такой, что лучше и желать нельзя. У всякого судовладельца есть свой non plus ultra,[115] это я давно заприметил. Так вот, у Макриммона крайность была в смысле краски. Зато на его судах механик мог подходить к машинам без риска для жизни,

[115] notes: 115
Крайний предел (искаж. лат.).

и сам он, несмотря на свою слепоту, у меня на глазах прогнал одного за другим пятерых посредников, бессовестных вымогателей, стоило мне только кивнуть, а загоны для скота были у него оборудованы так, что зимние холода в Северной Атлантике оказались нипочем. Знаешь ли ты, что это значит? Макриммон из пароходства «Черная птица» — дай ему бог счастья.

Да, совсем позабыл тебе сказать, эта посудина была устойчива, неприхотлива и пыхтела себе со скоростью двадцать узлов, а при шторме в сорок пять баллов делала три с половиной узла, причем машина дышала ровно, как спящий младенец. Капитаном у нас был Белл; и хотя обычно команда и судовладелец друг дружку не больно жалуют, мы любили этого старикана, Слепого Дьявола с его псом, а он, думается мне, любил нас. Никто не променял бы его даже на два миллиона фунтов стерлингов, а уж на кого-нибудь из его друзей или даже кровных родичей — и подавно. Деньги ужас что делают — когда их такая куча, — в особенности с одиноким человеком.

Я водил его судно два рейса в оба конца, а потом стало известно, что с «Бреслау» случилась авария, как я и предсказывал. Механиком там работал Колдер — он не сумел бы и буксирное судно про-

вести через Солент, и у него машины сорвало с мест да раскидало так, что от них остались только груды обломков, вот чего я прослышал. И судно было затоплено от кормового кингстона до кормового свеса и дрейфовало, задрав бугшприт к ночному небу, а в кают-компании вопили семьдесят девять пассажиров, покуда «Камаральсаман» с линии «Рэмси и Гоулд, Картагена» не взял его на буксир за вознаграждение в пять тысяч семьсот сорок фунтов со взысканием убытков в Адмиралтейском суде. Сам понимаешь, деваться-то некуда, судну и самого слабого волнения было не выдержать. Пять тысяч семьсот сорок фунтов плюс издержки, не говоря уж о том, что пришлось ставить новые машины! Они поступили бы куда умней, ежели б оставили на месте меня — и сохранили прежнее расписание.

Но все одно новое правление стояло на своем и требовало экономить. Этот щенок Стейнер, жалкий еврейчик, был душой дела. Они увольняли направо и налево тех служащих, которые не желали сносить обиды от правления. Они сократили расходы на ремонт; они кормили матросов помоями и объедками; но, в отличие от Макриммона, они скрывали свои недостатки под краской и дешевой позолотой. Quern Deus vult perrdere

prrius dementat,[116] сам небось помнишь.

В январе мы поставили судно в сухой док, а в соседнем доке стоял «Гроткау», большой сухогруз, который в восемьдесят четвертом году назывался «Долабелла» и принадлежал тогда судовой компании «Пиган, Пиган и Уэлш», а построен был в Клайде, с плоским днищем, тупоносая, уродливая посудина водоизмещением в пять тысяч тонн, короче говоря, старая калоша, а не корабль, руля он будто и не замечал вовсе, пары подымать не желал, и остановить его там, где надо, не было никакой возможности. Бывало, правда, он послушается все же руля, бывало, и с грузом ходит недурно, бывало, стоит и чешется, а бывало — прется в док кормой вперед. Но Холдок и Стейнер купили эту посудину по дешевке и покрасили заново всю, как Вавилонскую блудню — мы ее для краткости так и прозвали промеж собой — «Блудня». (К слову сказать, Макфи называл ее так все время, покуда не кончил свой рассказ: ну и читайте, как есть, тут уж ничего не поделаешь.) Я пошел повидать этого щенка Бэннистера — ему приходилось довольствоваться жалованьем, какое положило правление, — его

[116] notes: 116
Кого Бог ррешает погубить, того он лишает рразума (лат.).

вместе с Колдером перевели с «Бреслау» на этот недоносок, — и когда мы с ним толковали, то зашли в док, где стояла несчастная посудина. Обшивка у нее была вся помятая, ребята крыли ее краской и снова краской, красили да смеялись. Но самое худшее я увидал напоследок. Здоровенный громоздкий железный двенадцатифутовый винт системы Трешера — для «Змея» винт делал Эйтчесон, — и аккурат на конце баллера, у самой муфты, жалостно зияла обляпанная красной краской трещина, да такая, что в нее легко можно было засунуть перочинный нож. Да, брат, ну и трещина, просто ужас!

«Когда ты баллер менять будешь?» — спрашиваю я у Бэннистера.

Он меня сразу понял.

«Э, — говорит, а сам смотрит в сторону, — ведь трещинка только на поверхности».

«На поверхности преисподней! — говорю. — Да ведь тебе и из дока не выйти, ежели принять в расчет этакий запас прочности».

«Нынче вечером, — говорит он, — ее зашпаклюют. Ведь я человек женатый, а правление наше… ну, сам понимаешь…»

Тогда я прямо высказал, чего было у меня в голове об ту пору. А ты знаешь, какое громкое эхо

в сухом доке. Я видел, что этот щенок Стейнер стоит наверху, прямо надо мной, и слушает, а потом, брат, он такого наговорил, что уж не было никакой возможности разойтись мирно. Я, видите ли, шпион, и никудышный работник, просто срам один, и к тому же разлагаю добродетельного Бэннистера, и он меня к суду притянет за клевету. Ну, я стал подыматься наверх, а он улепетывать что есть духу — я сбросил бы его в док, ежели б догнал, — и вдруг вижу Макриммона с терьером, который ведет старика на поводке промеж рельсовых путей.

«Макфи, — говорит он, — тебе не за то платят деньги, чтоб ты затевал войну с филиалом «Холдок, Стейнер, Чейс и компания» при всякой встрече. Чего вы тут не поделили?»

«Да ничего, просто баллер ни к черту негоден, он как гнилая капустная кочерыжка. Ради всего святого, Макриммон, подите да взгляните сами. Это же чистый цирк».

«Я боюсь этого болтливого еврея, — говорит он. — Где трещина и велика ли она?»

«Шириной дюймов в семь, аккурат у самой муфты. Никакие силы на свете не спасут винт — его сорвет».

«А когда?»

«Ну, этого, — говорю, — я не могу знать в точности».

«Само собой, само собой, — говорит Макриммон. — У всякого человека возможности ограничены. А ты уверен, что трещина есть?»

«Послушайте, да там целое ущелье, — говорю, потому что никакими другими словами описать это не было возможности. — А этот щенок Бэннистер утверждает, что трещинка только на поверхности».

«Ну, я полагаю, не наше дело соваться в чужое дело. Ежели у вас, Макфи, есть друзья там, на борту, почему бы не пригласить их скромненько отобедать в ресторане у Рэдли?»

«Вообще-то я собирался выпить чаю на камбузе, — говорю. — Механик с сухогруза, который промышляет случайными фрахтами, не может позволить себе ходить по ресторанам».

«Ни-ни! — говорит старикан брюзгливо. — Нечего тебе делать на камбузе. А люди ведь смеяться будут над моим «Змеем», потому что он не заляпан краской, как эта самая «Блудня». Пригласи их к Рэдли, Макфи, а счет пускай пришлют мне. И вот что, брат, ты терьера моего благодари. Сам-то я к благодарностям не привычен. — Тут он повернулся ко мне спиной. (А я как раз думал

про то же самое.) — Мистер Макфи, — говорит он, — поверьте, это не старческое слабоумие».

«Боже упаси! — говорю, а сам весь похолодел. — Я думал, вы просто устали, мистер Макриммон».

Господи, тут этого старого дьявола разобрал такой смех, что он чуть было не сел на своего терьера.

«Счет пускай пришлют мне, — говорит. — Я уже позабыл, когда пробовал шампанское, мне здоровье не позволяет, так завтра поутру хоть расскажете мне, каково оно на вкус».

Стало быть, мы с Беллом пригласили этого щенка Бэннистера, а заодно и Колдера отобедать у Рэдли. В зале неприличным считается громко смеяться и горланить песни, но мы потребовали отдельный кабинет — совсем как владельцы собственных яхт из Коуса.

Макфи весь расплылся в улыбке, откинулся на спинку стула и умолк в задумчивости.

— Ну а дальше? — спрашиваю я его.

— Мы не напились пьяны в истинном смысле этого слова, но ресторан Рэдли показался мне сборищем мертвецов. Мы выпили шесть бутылок сухого шампанского, по две кварты в каждой, да еще раздавили, кажется, бутылочку виски.

— Неужели вы хотите сказать, что выпили по

полторы бутылки шампанского на брата, да еще хлебнули виски в придачу? — спрашиваю я его.

Макфи снисходительно на меня воззрился.

— Ты пойми, мы были не в настроении, чтоб напиться, — сказал он. — Выпивка всего только привела нас в веселое настроение, шутки ради. Оно конечно, этот щенок Бэннистер уронил голову на стол и плакал, как младенец, а Колдер рвался нагрянуть к Стейнеру в два часа ночи и выкрасить его в ядовито-зеленый цвет, под стенку камбуза, но пили-то они цельный день. Господи боже, они там крыли на чем свет стоит и правление, и «Гроткау», и треснутый баллер, и машины, и вообще все! В тот вечер они и не заикались про то, что трещина лишь на поверхности. Говорю тебе, этот щенок Бэннистер и Колдер жали друг другу руки и клялись беспременно отомстить правлению любой мыслимой ценой, но только чтоб их не лишили дипломов. Вот видишь, как мнимая экономия губит дело. Правление выдавало им харчи хуже свиного пойла (уж кто-кто, а я это очень даже хорошо знаю), и я давно приметил за своими земляками, что ежели шотландцу ущемить брюхо, в нем сразу просыпается дьявол. Эти люди пересекут Атлантику на последнем дырявом корыте, ежели их кормить как следует,

и пришвартуются в любом месте обеих Америк; но ежели их кормить худо, они и работать будут худо, что, впрочем, относится ко всем людям, какие живут на свете.

Ну ладно, счет, стало быть, отослали Макриммону, и он не сказал мне больше ни единого слова всю неделю, до самой субботы, ну а в субботу я сам пришел к нему попросить еще краски, потому как мы прослышали, что «Змей» зафрахтован на рейс в Ливерпуль.

«Оставайтесь там, где вам велено, — сказал Слепой Дьявол. — Послушайте, купаетесь вы в шампанском, что ли? «Змей» не тронется с места, покуда я не дам команды, и... разве могу я себе позволить зазря тратить на него краску, ежели «Фонагнец» застрял в доке невесть на сколько времени, и все прочее?»

Это был наш многотонный сухогруз — механиком там работал Макинтайр, — и я знал, что не пройдет и трех месяцев, как судно выйдет из ремонта. В то же утро встречаю я случайно управляющего Макриммона — ты его не знаешь, — и он прямо локти себе от досады кусает.

«Старик наш вовсе с ума спятил, — говорит. — Он задерживает «Фонагнца».

«А может, у него есть соображения», — говорю.

«Соображения! Да он просто-напросто рехнулся!»

«Это он еще не рехнулся, ежели красить не начал», — говорю.

«В том-то и дело, что уже начал — хотя в Южной Америке сейчас такие фрахты, каких мы отродясь не видывали и не увидим до самой смерти. А он судно поставил в док и велел красить… красить… красить! — говорит этот бедняга управляющий и вертится, как бес на горячей сковородке. — Пять тысяч тонн предложенного фрахта гниет в сухом доке, брат ты мой; а он, как последний скряга, раздает краску из банок в четверть кварты каждая, ведь это надрывает ему сердце, хоть он и чокнутый. И «Гроткау» — да, именно «Гроткау» изо всех вообразимых корыт — забирает все денежки, до единого фунта, которые мы могли бы загрести в Ливерпуле!»

Меня прямо-таки потрясло этакое безумство — особливо ежели учесть, что обед у Рэдли тоже был затеян для этого самого.

— Прямо глаза лезут на лоб, Макфи, — говорит мне управляющий. — Есть машины, и есть бимсы, и железные мостики — а знаете ли, что фрахтов-то нету? — и фортепьяны есть, и дамские шляпки, и наилучшие товары из Бразилии так

и текут в «Гроткау» — в «Гроткау», эту собственность иерусалимской компании, — а «Фонагнца» все красят да красят!

Ей-пра, я уж думал, он сейчас хлопнется на землю да помрет в страшных судорогах.

Ну, я только и мог сказать: «Не хочешь быть в услужении, так помни хоть о повиновении», — но у себя на «Змее» мы порешили, что Макриммон спятил вконец; ну а Макинтайр с «Фонагнца» даже предлагал упечь его за решетку, притянув к суду по образцу какого-то процесса, который он отыскал в кодексе морского права. И всю неделю цены на фрахты из Южной Америки знай себе росли да росли. Это был просто срам!

Потом Белл получил приказ отвести «Змея» в Ливерпуль с водяным балластом, и Макриммон пришел его проводить и скулил и причитал об цельных цистернах краски, которые он извел на «Фонагнца».

«Одна надежда на вас, ведь надобно, чтоб краска не пропала зазря, — говорит. — Одна надежда на вас, а не то плакали мои денежки! Скажите мне, бога ради, почему работа по сю пору не кончена? Вы что же, нарочно бездельничаете там, в доке?»

«А что толку, мистер Макриммон? — говорит

Белл. — Как ни верти, а мы будем в Ливерпуле только на другой день после открытия ярмарки. И «Гроткау» уже заполучил все фрахты, какие могли бы достаться нам и «Фонагнцу».

Тут Макриммон ухмыльнулся и захихикал — ну, чистейший случай старческого слабоумия. И знаешь, брови у него при этом заползали вверх-вниз, грозно, как у гориллы.

«Вам даются приказы в запечатанных пакетах, — говорит он и радостно фыркает да почесывается. — Вот они — вскрыть в указанные сроки».

Когда старик съехал на берег, Белл говорит, перебирая эти самые пакеты:

«Пойдем потихоньку вдоль южного побережья, а там поглядим, какие будут приказы — и погода, кстати, скверная. А насчет старика теперь ясно — он совсем с ума спятил».

Ну, мы зашлепали на своем стареньком «Змее» — погода была хуже некуда — да слушались срочных приказов, которые для капитанов сущее наказание. Дошли наконец до Холихеда, и Белл вскрыл последний пакет, чтоб прочесть последнее предписание. Мы с ним оба были тогда в капитанской каюте, и вдруг он швыряет мне этот пакет и орет:

«Видал ты когда-нибудь такое, Мак?»

Я тебе не скажу, что там написал Макриммон, но только он, оказывается, был вовсе не сумасшедший. Когда мы вошли в устье Мерсея, с юго-запада уже надвигался крепкий штормяга, и холод с утра стоял собачий, а море было свинцовое и небо тоже свинцовое, — словом, самая что ни на есть ливерпульская погодка, как это принято называть; мы бросили якорь, и вся команда злобствовала и ругалась на чем свет стоит. Ведь на борту судна никаких секретов не утаишь. И к тому же все были уверены, что Макриммон рехнулся.

Вскорости мы увидели «Гроткау», который выходил в море, дождавшись прилива, и осадка у него была не просто глубокая, а глубокая вдвойне, труба свежевыкрашенная, и шлюпки свежевыкрашенные, и все прочее тоже. Вид у него потешный, под стать названию, и пыхтел он также потешно. Еще в ресторане у Рэдли Колдер мне рассказал, что там было с машинами, но я и на слух определил бы это за две мили по стуку. Ну, мы сделали поворот да зашлепали, зарываясь носом, у него в кильватере, а ветер бушевал, и все видели, что он еще будет крепчать. К шести часам так и вышло, ветер валил с ног, но небо очистилось, а перед ночной вахтой штормяга, ко-

торый надвигался с юго-запада, взыграл не шутя.

«При этаком ходе их, глядишь, выбросит на берег Ирландии», — говорит Белл.

Я стоял с ним рядом на мостике, и мы оба следили за левым бортовым огнем на «Гроткау». Зеленый огонь не то что красный, его издалека не видать, иначе нам пришлось бы держать с под-ветру. Пассажиров мы не брали, беспокоиться было не о ком, и (ведь все не спускали глаз с «Гроткау») мы чуть было не врезались в липерпульский лайнер, который возвращался в порт. Скажу напрямик, Белл ни много ни мало вырулил из-под самого его бушприта, и с обоих мостиков еще успели обменяться любезностями в довольно крепких выражениях. Но мы ведь не взяли ни одного пассажира, — тут Макфи бросил на меня благосклонный взгляд, — и некому было растрепать про это газетным писакам, добравшись до Таможенного управления. Мы следовали в кильватере у «Гроткау» всю ту ночь и еще целых двое суток — там сбавили ход, как я прикинул, до двух узлов, — и мы чуть не сдохли с тоски, покуда дотащились за ними до Фастнета.

— Но разве через Фастнет ходят в который-нибудь из южноамериканских портов? — спрашиваю я.

— Мы-то не ходим. Мы предпочитаем самый короткий и прямой путь, какой только можно выбрать. Но мы же плыли вслед за «Гроткау», а он не сунулся бы в такой шторм ни за какие деньги. Я помнил, что сделал сам для ихнего конфуза, и не мог попрекнуть этого щенка Бэннистера. Его ожидал бы зимний шторм в Северной Атлантике, а там мокрый снег, и туман, и смертоубийственный ветер. Эва, да прежде чем он успел бы что-нибудь сообразить, ему пришлось бы все равно как пройти над адской бездной по гребням высоченных волн. До тех пор они еще держались, но как только миновали Скеллингс, смазали пятки и пустились искать спасения за мысом Данмор. Ох, ну и валяло же их по волнам!

«Они возьмут курс на Смервик», — говорит Белл.

«В таком разе они попытались бы повернуть к Вентри», — говорю я.

«Ежели они будут идти этаким ходом, у них трубу снесет, — говорит Белл. — Почему Бэннистер не возьмет мористей?»

«Из-за баллера, вот почему. Пускай их сколько угодно с бортов по волнам валяет, все лучше, чем с этой трещиной на поверхности баллера отведать килевой качки. Настолько Колдер все-таки

смыслит», — говорю.

«Аховая работенка спасать пароход в этакую погоду», — говорит Белл.

У него самого борода и баки примерзли к штормовке, а с наветренной стороны все налетали белые хлопья. Ну, самая что ни на есть натуральная зимняя погодка, как и положено быть в Северной Атлантике!

Одну за другой волнами посмывало все три наши шлюпки, а шлюпбалки искорежило.

«Дело дрянь, — говорит мне Белл в конце концов. — Надобна хоть одна шлюпка, иначе никак не завести буксирный трос».

Белл человек очень сообразительный — ежели учесть, что он абердинец.

Сам я не таков, чтоб робеть перед неожиданностями, лишь бы с машинами все было в порядке, а потому я дождался, когда одна волна схлынула, а другая еще не накатила, и сбежал с мостика поглядеть, как и что у нас на «Змее». Ну, брат, изо всех судов своего класса, какие когда-либо сходили со стапелей в Клайде, наше оснащено наилучшим образом! Кинлох, мой помощник, знал это не хуже моего. Прихожу, а он сушит носки на парораспределителе да расчесывает баки гребенкой, которую Жанетта подарила мне в про-

шлом году, ей-ей, кроме шуток, будто мы в порту отстаиваемся. Ну, я заглянул в топку, пошуровал там малость, осмотрел все кривошипы, поплевал на балансир, как принято, на счастье, высказал свое благосклонное одобрение, прибрал носки Кинлоха и скорей обратно на мостик.

Там Белл передал мне руль, а сам ушел вниз погреться. Когда он возвернулся, у меня перчатки примерзли к штурвальным шпагам, а ресницы заледенели от стужи. Словом, натуральная зимняя погодка, как и положено быть в Северной Атлантике, про это я тебе уже толковал.

Но форменный штормяга разыгрался среди ночи, да мы уже легли в дрейф и притушили топки, а наш старина «Змей» трещал, как говорится, от киля до клотика. Я сбавил обороты до тридцати четырех — то бишь нет, до тридцати семи. А поутру налетел страшенный ураган и поволок «Гроткау» на запад.

«Эдак они до Рио доплывут, с баллером или без баллера», — говорит Белл.

«Нынешней ночью их здорово потрепало, — говорю. — А винт у них еще сорвет беспременно, помяни мое слово».

А были мы тогда милях в ста пятидесяти на вест-зюйд-вест от мыса Слайн, по грубому счис-

лению. На другой день мы покрыли сто тридцать — хоть шли, прошу заметить, не на гоночной яхте, — а еще через день оставили за кормой сто шестьдесят одну милю, и, когда определились, вышло восемнадцать с небольшим градусов западной долготы и пятьдесят один с небольшим северной широты, а стало быть, мы пересекли наискось все североатлантические линии, по каким лайнеры плавают, и притом не теряли из вида «Гроткау», который ночью рыскал по волнам, а утром, чуть засвежеет, уваливался под ветер. Когда шторм стихнул, наступили холода и очень темные ночи.

В ночь на пятницу я был у машин, только заступил вахту, как вдруг Белл скатывается ко мне по трапу.

«Готово дело!»

Я, конечно, сразу наверх.

«Гроткау» был от нас далеко к югу, но я увидел, как там раз за разом трижды вспыхнул красный огонь, — а этот сигнал означает, что судно потеряло управление.

«Ну вот, теперь нам есть чего взять на буксир, — говорит Белл и облизывается. — Это обойдется подороже, чем «Бреслау». Макфи, давай-ка спустимся к ним по ветру».

«Нет, ты обожди, — говорю я. — Здесь судов ходит многое множество».

«Ничего не пойму, — говорит Белл. — Сама судьба руку протягивает, как нищенка. А ты, брат, еще сомневаешься?»

«Пускай ждут до рассвета. Они ведь знают, что мы здесь. Ежели Бэннистеру подмога надобна, он может ракету пустить».

«Почем ты знаешь, чего Бэннистеру надобно? Мы дождемся, что его посудину перехватит какая-нибудь старая калоша да уволокет у нас из-под самого носа», — говорит он и перекладывает руль. А шли мы малым ходом.

«Бэннистер предпочел бы вернуться в порт на лайнере и столоваться в кают-компании. Помнишь, что они говорили о харчах, какие им скармливают Холдок и Стейнер, в тот вечер у Рэдли? Одерживай, брат, одерживай. Буксир он и есть всего-навсего буксир, а вот ежели судно брошено командой, вознаграждение за него платят изрядное».

«Э-эх! — говорит Белл. — Больно много ты хочешь, Мак. Но я люблю тебя, как родного брата. Останемся на месте да обождем до рассвета».

И стал одерживать.

Вскорости взлетела ракета с носа «Гроткау»,

еще две с мостика, а на корме загорелся синий фонарь. А малость погодя опять же на носу подожгли бочку со смолой.

«Топнут они, — говорит Белл. — Теперь все пропало, и получу я только бинокль для ночных обзерваций, за то что выловлю из воды этого щенка Бэннистера — дурака безмозглого».

«Сказано тебе, не спеши, — говорю я. — Они подают сигналы к югу от нас. Бэннистер не хуже моего знает, что довольно одной ракеты, и «Бреслау» подоспел бы на помощь, будь такая возможность. А тут целый фейерверк, это неспроста. Да еще звуковые сигналы каковы, ты послушай!»

«Гроткау» давал свисток за свистком целых пять минут кряду, а потом снова полетели ракеты — словом, настоящий спектакль.

«Это не для моряков, — говорит Белл. — Твоя правда, Мак. Это для пассажиров, которые там набились в кают-компанию».

Он прищурился и поглядел в бинокль на юг, где помаленьку густела мгла.

«Ну, что там, по-твоему?» — говорю я.

«Лайнер, — говорит. — Вон тоже пустил ракету. Ну да, ясно, разбудили капитана в золотых галунах и пассажиров разбудили. Гляди, элек-

тричество загорается, каюты осветились одна за другой. А вон и еще ракета! Поспешают на помощь терпящим бедствие в открытом море».

«Дай-ка мне бинокль, — говорю. Но Белл знай себе приплясывает на мостике, совсем сдурел. — Почтовый!.. почтовый!.. почтовый! — кричит он. — Контракт с правительством, бесперебойная доставка почты, а ежели такое дело, Мак, заметь, он может спасать утопающих, но не имеет права взять на буксир судно! Права не имеет взять на буксир! Вон его опознавательный огонь. Он подоспеет через какие-нибудь полчаса!»

«Этакая глупость! — говорю. — Ведь у нас горят все огни, какие только есть. Эх, Белл, тут ты и впрямь дурака свалял!»

Он сиганул с мостика и опрометью на нос, а я опрометью на корму, и в мгновение ока все наши огни погасли, мы задраили люк в машинное отделение и легли в дрейф, а вокруг тьма, хоть глаз выколи, и мы глядели, как огни лайнера, которому сигналили с «Гроткау», приблизились к месту бедствия. Лайнер шел со скоростью в двадцать узлов, все каюты были освещены, и вот уже шлюпки готовы к спуску. Это у них лихо получилось, и часу не прошло. Лайнер застопорил, как швейная машина миссис Холдок; живо спустили

трап, следом спустили и шлюпки, а через десять минут мы услышали, как пассажиры радостно закричали и отбыли.

«Теперь им до конца жизни будет об чем рассказывать, — говорит Белл. — Помощь терпящим бедствие в море среди ночи, такое хоть в театре показывай. Этот щенок Бэннистер с Колдером будут пьянствовать в кают-компании, а через полгода министерство торговли наградит капитана биноклем. Сплошное человеколюбие, да и только».

Мы лежали в дрейфе до рассвета — все глаза проглядели, покуда дождались приятного зрелища, — а неподалеку кое-как держался на плаву «Гроткау» с задранным носом и будто взирал прямо на нас. Ничего смешней я сроду не видал.

«Там явно течь в кормовом отсеке, — говорит Белл, — иначе с чего бы корме погружаться? Баллер продырявил днище, а у нас… у нас нету шлюпок. Вон триста тысяч фунтов стерлингов, по самому скромному подсчету, топнут у нас на глазах. Чего делать будем?»

С минуту он снова бурлил, как перегретый котел: человек он несдержанный.

«Подойди к этой посудине поближе, насколько можешь рискнуть, — говорю. — Давай мне спаса-

тельный жилет и леер, я доберусь вплавь».

Море было не больно ласковое, да и ветер холодный — даже очень холодный, но ведь они-то спустились в шлюпки по трапу, как пассажиры, этот щенок Бэннистер и Колдер, а трап-то остался висеть с подветру. Просто грешно было бы отказаться от такого удобства, когда само провидение его посылает. Мы были в пятидесяти ярдах, и Кинлох заляпал меня с ног до головы мазутом в закутке за камбузом, а когда мы поравнялись, я прыгнул за борт и поплыл к брошенному судну за вознаграждением в триста тысяч фунтов. Ну, брат, холод был лютый, но я свое дело сделал с умом, проплыл, цепляясь за кранцы, до нижней ступеньки трапа. И верь слову, никогда еще я так не удивлялся. Не успел я перевести дух, как обе коленки до крови ободрал об этот трап, но вскарабкался наверх, прежде чем накатила новая волна. Я накрепко привязал леер к планширу и бегом на корму, в каюту этого щенка Бэннистера, где обтерся всем, что сыскал у него на койке, да оснастился всяческим такелажем, какой попал под руку, и помаленьку кровь снова потекла у меня в жилах. Слышь, я нашел там три пары подштанников — для начала — и все натянул на себя. Была самая зверская стужа, такой я не

упомню за всю свою жизнь.

Потом я пошел в машинное отделение. «Гроткау», как говорится, уже и хвост поджал. Воды в машине было фута с четыре, а то и пять, — она переплескивалась и хлюпала, черная, маслянистая, — может, там набрались и все шесть футов. Двери кочегарки были задраены накрепко, а задрайки там тугие, и на минуту весь этот беспорядок в машине меня обманул. Но всего на одну минуту, да и то потому только, что мне, в некотором роде, изменило мое обычное спокойствие. Я глянул еще раз, чтоб уж больше не сомневаться. Черная трюмная вода, да и только, отработанная, скопилась, знаешь, сама собой.

«Макфи, я просто-напросто пассажир, — говорю я себе, — но ты никогда меня не убедишь, что шесть футов воды могут скопиться в машине сами собой».

«Да кто это, собственно, пытается тебя убедить, — отвечает Макфи. — Я лишь втолковываю тебе, как обстоит дело, а это факт — простой, обыкновенный факт. Шесть или семь футов отработанной воды в машине — зрелище очень печальное, в особенности ежели тебе сдается, что она будет прибывать, но, по-моему, такое навряд ли возможно, а стало быть, я, заметь, и

не печалюсь».

«Все это прекрасно, — говорю, — но я хотел бы знать, как все-таки обстоит дело с водой».

«Сказано тебе, очень просто. Тут ее футов шесть или больше, и на поверхности плавает фуражка Колдера».

«Откуда ж она взялась?»

«Ну, в суматохе, когда винт отвалился, а машины крутились на холостом ходу, и все прочее, вполне могло случиться, что Колдер потерял эту свою голову и уже не потрудился ее подобрать да водворить на место. Помнится, я видел на нем эту фуражку в Саутгемптоне».

«Фуражка меня не интересует. Я спрашиваю, откуда и зачем здесь вода и почему ты так уверен, Макфи, что течи нету?»

«По основательной причине — очень даже основательной».

«Тогда скажи мне, какая такая тут причина».

«Ну, собственно говоря, причина эта не только до меня имеет касательство, скажу напрямик, мое мнение такое, что она, вода эта, частью вытекает из оплошности совсем другого человека, который ошибся и рассудил плохо. Ошибиться ведь всякий может».

«Э, нет прошу прощения!»

Подымаюсь снова наверх, к планширу, и Белл меня окликает:

«Ну, как там?»

«Ничего, сойдет, — отвечаю. — Давай сюда буксирный трос и рулевого. Я его втащу на леере».

Я видел только головы, они прыгали и метались, да слышал несколько крепких словечек. Потом Белл говорит:

«Они на себя не надеются… только один… в такую воду… никто, кроме Кинлоха, а им я не могу рисковать».

«В таком разе, — говорю, — на мою долю больше вознаграждения достанется. Буду нести вахту соло».

Тогда один малый, береговая крыса, говорит:

«Думаешь, опасности нету?»

«Я тебе ничего в точности не могу посулить, — говорю, — кроме хорошей взбучки за то, что ты заставляешь меня дожидаться столько времени».

Тут он заскулил:

«На судне один-единственный спасательный пояс, да и тот найти не могут, иначе я давно был бы с тобой».

«Швыряйте его, пакостника шкодливого, силой», — говорю, потому как я уже потерял по-

следнее терпение.

И они схватили этого самого добровольца, он и сообразить не успел, что его ждет, да вывалили за борт, обмотав моим леером. Ну, я живо втащил его на этой петле, перехватывая леер, — очень даже полезный оказался новобранец, когда я вытряс из него соленую воду: он, к слову сказать, и плавать-то не умел.

Тут они срастили леер с двухдюймовым канатом, а канат — с тросом, я намотал канат на ворот носовой лебедки, после чего мы, обливаясь потом, выволокли трос на борт и накрепко затянули вокруг кнехта «Гроткау».

Белл подвел «Змея» так близко, что я испугался, как бы он при первой же волне не пробил обшивку «Гроткау». Белл перебросил мне второй леер и побежал на корму, а мы снова долго уродовались у лебедки, покуда не закрепили и этот трос. При всем том Белл был прав: предстоял долгий путь с буксиром, и хотя провидение до тех пор нам помогало, глупо было бы слишком полагаться и дальше на его милость. Когда мы закрепили второй трос, я весь взмок от пота и крикнул Беллу, чтоб он выбрал слабину да двигал домой, в порт. Помощничек мой пособлял работе все больше просьбами, чтоб ему дали выпить, но я велел

ему присматривать за снастями и стоять на руле, главное, стоять на руле, потому как сам хотел соснуть малость. И он стоял на руле, да, если это можно так назвать. По крайности, он вцепился в шпаги и крутил руль, только, сдается мне, на «Блудне» навряд ли заметили его усердие. А я ушел в каюту этого щенка Бэннистера, лег там на койку и уснул мертвецким сном. Проснулся я от голода, злой, как собака, а море ярилось вокруг, и «Змей» пыхтел, делая четыре узла; ну а «Гроткау» шлепал, и зарывался носом в волны, и покряхтывал, и рыскал, как вздумается. Такого паскудного судна никто еще не буксировал, срам, да и только. Но больше всего сраму вышло с провиантом. Я искал пожрать на полках, в камбузе, и в кладовке, и в лазарете, и во всех закоулках, но то, что нашлось, я не предложил бы последнему кардиффскому углекопу: а ты ведь знаешь, у нас поговорка такая есть — кардиффский углекоп и шлак слопает, лишь бы добро не пропадало. Да, скажу я тебе, это было паскудство! Матросы написали ихнее мнение по этому поводу на новой краске на полубаке, но со мною рядом не было даже приличного человека, чтоб ему пожалиться. И мне ничего не оставалось, кроме как следить за буксирными тросами да глядеть

на корму «Змея», которая с хлюпаньем окуналась в пену, когда корабль рассекал волну; потом я раскочегарил паровой насос на юте и откачал воду из машины. Нет никакого расчету оставлять воду на судне. Когда стало сухо, я спустился в шахту и увидал, что там всего-навсего маленькая течь через сальники, но своим ходом судно все одно не пойдет. Ведь винт сорвало, я-то давно знал, что так беспременно и будет, а Колдер только этого и дожидался, уже руку держал на рычаге. Он сам мне признался после, когда мы на берегу свиделись. Ничто не было сломано или покорежено. Винт просто-напросто погрузился на дно Атлантики так же легко, как человек помирает в назначенный час, — и ежели все взять в соображение, так это самим провидением было уготовано. Потом я осмотрел палубную оснастку «Гроткау». На шлюпбалках остались одни щепы заместо шлюпок, кое-где разломало фальшборт, сорвало несколько вентиляционных труб да от волн погнулись поручни на мостике; но люки были задраены плотно, и само судно не особо повреждено. Господи, я его возненавидел, как живую тварь, ведь я пробыл в море восемь тяжких дней, вымотался, чуть не подох с голоду — да, с голоду, — а всего в кабельтове от меня было

полно всякой жратвы. Целыми днями валялся я на койке, читал роман «Женоненавистник», самую замечательную книгу, какую написал Чарли Рид, и порой прикладывался к бутылке. Это было очень, очень тяжко. Да, брат, восемь дней провел я на «Гроткау» и ни разу не пожрал досыта. Оно и не диво, что команда отказалась его спасать. А тот, второй? Ну, его я заставлял вкалывать на совесть, чтоб он не мерзнул.

Когда мы бросали лот, дошло до драки, и пришлось мне самому следить за тросами, которые были намотаны на шпиль, ну я и стоял, дышал себе морским воздухом. Только вот еле живой был от холода и голода, ведь «Гроткау» тащился на буксире, как тяжело груженная баржа, и Белл выволакивал его из волн то вразрез, то лагом. А еще вышла неприятность, когда шли через Ла-Манш. Мы стали подходить к берегу, чтоб видней был огонь маяка, и чуть не долбанули два, то ли три рыбачьих суденышка, и с них нам крикнули, что мы этак врежемся в Фолмут. А потом нас самих едва не потопил груженный фруктами иностранец с пьяным рулевым, который заблудился промеж нами и берегом, и в ту ночь неприятности нас преследовали одна другой хуже, и я по буксирным тросам видел, что Белл не

знает, куда его занесло. Черт подери, мы узнали это поутру, потому что ветер сдунул туман, как чад со свечки, небо очистилось и взошло солнце. И так же верно, как то, что Макриммон выписал мне чек, тень Эддистоунской скалы легла поперек наших буксирных тросов! Мы были совсем рядом с нею — да, совсем рядом! Белл повернул «Змея» так круто, что от рывка на «Гроткау» чуть не снесло кнехты, и, право слово, я благодарил Создателя в каюте этого щенка Бэннистера, когда мы укрылись наконец за Плимутским молом.

Первым ко мне на борт поднялся Макриммон со своим терьером. Я, кажется, уже говорил тебе, что у нас был приказ доставить все, что мы добудем, в Плимут. Этот старый черт сам приехал туда только накануне вечером, он живо сообразил, что к чему, когда лайнер высадил на берег людей с «Гроткау» и Колдер ему рассказал все, как было. Он поспел к самому нашему приходу. Я крикнул Беллу, чтоб мне доставили чего-нибудь поесть, и он прислал провиант с той же шлюпкой, на которой приплыл Макриммон, а сам старик высадился и сразу ко мне. Покуда я ел, он ухмылялся и хлопал себя по бокам, и брови у него ползали то вверх, то вниз.

«Так какие же харчи получает команда у Хол-

дока, Стейнера и Чейса?» — говорит он.

«Сами можете видеть, — говорю я и откупориваю вторую бутылку пива. — Но я, мистер Макриммон, не нанимался с голоду помирать».

«И плавать в ледяной воде тоже не нанимался, — говорит он, потому что Белл ему уже рассказал, как я доставил леер. — Ладно, надеюсь, в накладе ты не останешься. Какой фрахт, который мы могли взять на «Фонагнце», сравнится с вознаграждением в четыреста тысяч фунтов за спасение судна — да еще вместе с грузом. Ну-с, Макфи? Теперь мы хорошенько выпотрошили этот самый филиальчик «Холдок, Стейнер, Чейс и компания». Ну-с, Макфи? Страдаю я после этого старческим слабоумием? Ну-с, Макфи? И рехнулся ли я, когда велел красить «Фонагнца»? Ну-с, Макфи? А ты, мой песик, можешь задрать лапу. Я их всех выставил на посмешище. Была вода в машинном отделении?»

«Ежели говорить по совести, — отвечаю я, — туда и впрямь натекло малость».

«Когда отвалился винт, они решили, что судно тонет. Оно наполнялось с удивительной быстротой. Колдер сказал, что ему и Бэннистеру было жаль его покидать».

Тут я припомнил обед у Рэдли и те харчи, какие

я ел эти восемь дней.

«Еще бы не жаль, прямо до смерти», — говорю.

«Но команда и слышать не хотела о том, чтоб остаться на борту и идти в порт под парусами. Теперь они всем и каждому твердят, что, прежде чем дойти, они передохли бы с голоду».

«И впрямь передохли бы, ежели б остались», — говорю.

«Я понял со слов Колдера, что они там чуть ли не бунт подняли».

«Вам лучше знать, мистер Макриммон, — говорю. — Но ежели рассудить по справедливости, коль скоро все мы одного поля ягоды, то кто же тогда открыл кингстон?»

«Ага, стало быть, вон что? — говорит старик, и я вижу, что он в удивлении. — Кингстон, говоришь?»

«Сдается мне, не иначе, как кингстон. Когда я поднялся на борт, все кингстоны были закрыты, но кто-то напустил в машину добрых восемь футов воды, а потом перекрыл струю разводным ключом уже снаружи, со шторм-трапа.

«Черт подери! — говорит Макриммон. — Просто поверить невозможно, что человек способен на такую черную неблагодарность. Но ежели дойдет до суда, Холдок, Стейнер и Чейс здорово

оскандалятся».

«Да ведь я не к тому, просто меня любопытство одолевает».

«Ну-ну, той же самой болезнью страдает и мой терьер. Ты, собачка, изживай любопытство, оно заводит бедных песиков во всякие ловушки и прочие неприятные места. Где был «Змей», когда тот крашеный лайнер подобрал команду с «Гроткау»?»

«Там и был или где-то поблизости», — говорю.

«И кто из вас двоих сообразил погасить огни?» — спрашивает он, подмигнув.

«Ну, песик, — говорю я терьеру, — нам обоим надобно изживать любопытство. Это дело неприбыльное. Много ли мы можем заполучить вознаграждения, а, песик?»

Старикан так хохотал, что чуть не задохся.

«Возьмете, сколько я дам, Макфи, и этого будет предостаточно, — говорит. — Господи, когда человек стареет, какую уйму времени растрачивает он понапрасну. А теперь поскорей отправляйтесь на борт «Змея». Я совсем позабыл, что в Лондоне по вас плачет назначение на рейс в Балтийское море. Думается мне, это будет ваше последнее плаванье, разве только захотите прогуляться для собственного удовольствия».

Стейнеровы люди уже подымались на борт, чтобы принять вахту и отбуксировать свое судно, и я, когда плыл на «Змея», разминулся со шлюпкой этого щенка Стейнера. Он потупил глаза, но тут Макриммон зычно кричит:

«Вот человек, который спас вам «Гроткау», извольте получить — но не задаром, Стейнер, не задаром! Позвольте представить вам мистера Макфи. Возможно, вы уже знакомы, да только не умеете вы, бедняги, удерживать у себя людей — и на берегу, и в море!»

Он засмеялся и засипел старой, иссохшей глоткой, а этот щенок Стейнер глядел на него с такой злобой, будто сожрать хотел заживо.

«Обождите радоваться, вы еще не получили вознаграждения», — говорит Стейнер.

«Ни-ни! — орет старик, да так визгливо и пронзительно, что в Хоу слышно. — Но у меня есть два миллиона фунтов стерлингов, а детей нет, и ежели ты, иудей Апелла, вздумаешь со мною тягаться, я выложу фунт против фунта, до последнего. Уж меня-то ты знаешь, Стейнер! Я Макриммон, директор компании «Макнотен и Макриммон»!

«Господи, — говорит старик сквозь зубы и откидывается назад в шлюпке, — четырнадцать лет

ждал я случая разорить эту еврейскую фирму и теперь, с божьей помощью, исполню это».

«Змей» был в Балтийском море, когда старик делал свое дело, но я знаю, что эксперты оценили «Гроткау» в общей сложности более чем в триста шестьдесят тысяч — перечень грузов был чистый клад, — и Макриммон получил треть этой суммы за спасение брошенного судна. Сам знаешь, одно дело взять на буксир судно с командой на борту и совсем другое — подобрать покинутое, тут разница большая — очень даже большая — в фунтах стерлингов. Но этого мало, две трети матросов с «Гроткау» горели желанием свидетельствовать перед судом о плохом провианте, а кроме того, Колдер еще раньше представил в правление рапорт о непригодности баллера, и это было бы сокрушительным ударом, ежели б дело дошло до суда. Но у них хватило ума не затевать тяжбы.

Вскорости «Змей» воротился из плаванья, и Макриммон уплатил мне и Беллу особо, а всей остальной команде pro rata[117] — так, кажись, это называется. На мою долю — то бишь на нашу долю, так верней сказать будет, — пришлось ровным счетом двадцать пять тысяч фунтов

---

[117] notes: 117
Соответственно (лат.).

стерлингов.

Тут Жанетта вскочила и чмокнула его в щеку.

— Да-с, двадцать пять тысяч фунтов стерлингов. Ну а сам я родом с Севера, а стало быть, не из тех, которые сорят деньгами очертя голову, но я отдал бы свое жалованье за полгода, только б узнать, кто это затопил машинное отделение на «Гроткау». Я очень даже хорошо знаю характер Макриммона и уверен, что не он приложил тут руку. И не Колдер, потому как я его про это спросил, а он чуть не в драку полез, до того обиделся. Это было бы в высшей степени недостойно моряка, ежели б Колдер так поступил — я не про драку, а про открытый кингстон, — но сперва я думал, это его работа. Да, я рассудил, что он мог бы сделать чего-нибудь в этом роде — ежели б не устоял перед искушением.

— И какая же ваша догадка? — спросил я.

— М-да, сдается мне, тут воля провидения, всякое иной раз бывает, дабы напомнить нам, что все мы под богом ходим.

— Но не мог же кингстон открыться и закрыться сам собой?

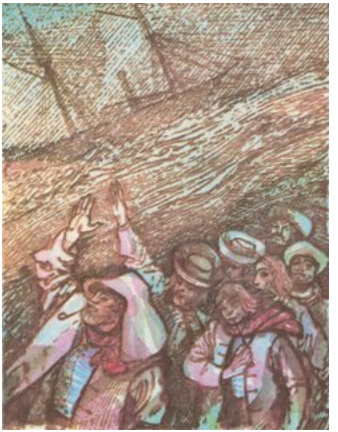
— Я не про это, но какой-нибудь голодный смазчик или, может, кочегар, вероятно, открыл его на время, чтоб наверняка покинуть «Гроткау».

Всякий упадет духом, ежели увидит, что машина затоплена после аварии, — и духом упадет, и на хитрость поддастся. Ну, этот малый своего добился, все они перешли на борт лайнера и кричали, что «Гроткау» тонет. Но любопытно, что дальше было. Сколько постижимо человеческому уму, он сейчас, сто чертей его подери, плавает на каком-нибудь другом сухогрузе, который промышляет, чем попало; а я вот имею в банке двадцать пять тысяч фунтов и твердо решил в жизни больше не выходить в море — воистину, по воле провидения, — ну, разве что пассажиром, ты, Жанетта, сама понимаешь.

* * *

Макфи сдержал слово. Они с Жанеттой отправились в плавание пассажирами в каюте первого класса. Уплатили за билеты семьдесят фунтов; и Жанетта отыскала во втором классе тяжело больную женщину и шестнадцать дней прожила на нижней палубе, болтала со стюардессами у трапа, поблизости от салона второго класса, покуда больная, за которой она ухаживала, спала. А Макфи плыл пассажиром ровнехонько двадцать четыре часа. Потом кубрик, где механики живут, — там столы заместо скатерти клеенкой покры-

ты, — с восторгом принял его в свое лоно, и до самого конца плаванья ихняя команда пополнилась, потому как на них бесплатно работал очень опытный дипломированный механик.



СЛОВАРЬ ИНДИЙСКИХ СЛОВ К РАССКАЗАМ Р. КИПЛИНГА

Айя — няня.
Баба — барчук.
Бабу — господин.
Бадмаш — злодей.
Бангала — жилище.
Баха дур — великан, богатырь.
Балаит — Англия.
Бурра сахиб — большой господин.
Гонды — индийская народность.
Гхарри — повозка.
Гхат — место сожжения.
Карайт — вид змеи.
Кос — мера длины, около 1,8 км.
Махаут — погонщик слонов.
Мем-сахиб — госпожа.
Нума — вид дерева.
Пагал — дурачок.
Пайса — мелкая монета.
Пакка — переносно: хороший, достойный (буквально: «зрелый»).
Салам — привет.

Сахиб — господин.
Сурти — индийская народность.
Суур — свинья.
Хамал — водонос.
Хубши — негр.
Чандухана — курильня опиума.
Чапатти — лепешка.
Шикар — охота.